

Эндрю
Майкл Хёрли

Бриджет
Коллинз

Однажды тёмной зимней ночью...

Перевод Елены Лалаян
и Ирины Бадьяровой

Имоджен
Гермес
Гауэр

Элизабет
Макнил

Лора
Перселл

Наташа
Поли

Джекс
Кидд



18+

МИОО

The Haunting Season

Ghostly Tales for Long Winter Nights

STONE HEDGE

Истории долгой зимы

Бриджет Коллинз, Лора Перселл,
Имоджен Гермес Гауэр, Наташа Полли,
Джесс Кидд, Эндрю Майкл Хёрли,
Киран Милвуд Харгрейв, Элизабет Макнил

ОДНАЖДЫ ТЁМНОЙ ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ...

Перевод с английского Елены Лалаян
и Ирины Бадьяровой

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2023

STONE HEDGE

УДК 82-32
ББК 84(4Вел)6-449
О-43

Original title:

**The Haunting Season: Eight Ghostly Tales for Long Winter Nights
by Bridget Collins, Imogen Hermes Gowar, Kiran Millwood Hargrave, Andrew
Michael Hurley, Jess Kidd, Elizabeth Macneal, Natasha Pulley, Laura Purcell**

На русском языке публикуется впервые

Перевод *Елены Лалаян* («Обитатели дома Твейтов», «Поющие болота», «Лили Уилт», «На Солеварной ферме», «В карминной комнате», «Завр Криспа») и *Ирины Бадьяровой* («Этюд в черно-белых тонах», «Кресло Чиллингема»)

О-43 Однажды темной зимней ночью... / Бриджет Коллинз, Лора Перселл, Имоджен Гермес Гауэр и др.; пер. с англ. И. Бадьяровой, Е. Лалаян. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 320 с. — (Истории долгой зимы).

ISBN 978-5-00195-755-3

УДК 82-32
ББК 84(4Вел)6-449

В этом сборнике мистических историй в лучших традициях Чарльза Диккенса и Генри Джеймса герои бродят по таинственным поместьям и сумрачным болотам, где им придется столкнуться с чем-то поистине неведомым и зловещим — и посмотреть в глаза своим страхам.

Все права защищены.
Никакая часть данной книги
не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было форме
без письменного разрешения
владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-00195-755-3

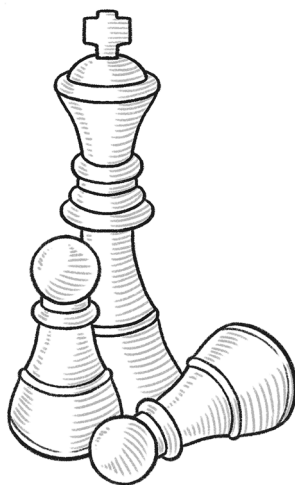
Copyright in the contribution as follows:
'A Study in Black and White' © Bridget Collins 2021
'Thwaite's Tenant' © Imogen Hermes Gowar 2021
'The Eel Singers' © Natasha Pulley 2021.
The characters Keita Mori, Thaniel Steepleton and a girl called Six are from the Watchmaker and Pepperharrow series published by Bloomsbury Publishing Plc.
'Lily Wilt' © Jess Kidd 2021
'The Chillingham Chair' © Laura Purcell 2021
'The Hanging of the Greens' © Andrew Michael Hurley 2021
'Confinement' © Kiran Millwood Hargrave 2021
'Monster' © Elizabeth Macneal
First published in the United Kingdom in the English language in 2021 by Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group.

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2023

STONE HEDGE

ЭТЮД В ЧЕРНО-БЕЛЫХ ТОНАХ

Бриджет Коллинз



STONE HEDGE

STONE HEDGE



Не остановись Мортон на том самом месте вытереть пот со лба, он не заметил бы черно-белого дома. А так он как раз поправил фуражку и перекинул ногу через велосипедную раму, когда заметил в стене ворота из кованого железа, а за ними — буквально на миг — нечто черно-белое. Видение было таким мимолетным, что Мортон едва осознал, что именно перед ним, — только то, что увиденное заставило привстать в седле, податься в сторону и заглянуть за металлические прутья. Сквозь пар своего дыхания он увидел дом: старый, деревянно-кирпичный, окруженный негусто засаженным садом-парком. Вид напоминал набросок перьевой ручкой: узкий брус в стенах дома, побелевшая от инея подъездная дорожка, симметрия обрезанных тисов и их длинных теней... Мортон встречал и другие дома вроде этого, но все ветхие, со скособоченными или наклоненными вперед щипцами, провисшими под тяжестью веков. Этот же стоял прямо, сохранив четкие линии и правильные углы. Однако, по всей видимости, новым он не был.

Мортон внимательно его рассматривал. Ему нравились порядок, правила, дисциплина, а этот дом с его отказом от компромисса, очевидным превосходством над силами



времени и тяготения заслуживал его одобрения. Мортон долго стоял, глядя сквозь прутья ограды. Тишина была необычная. Сад что-то ему напоминал, но что именно, он понял, лишь когда наконец сорвался с места и отъехал чуть дальше по дороге, да и то потому, что, обернувшись, увидел дом с другого ракурса — между рядами стриженных тисов, стоящих по разные стороны от широкой лужайки. Деревьям придали сложную, хорошо знакомую форму ладей, коней, слонов, короля и королевы, перед ними тянулись длинные ряды пешек. Летним днем картинка показалась бы забавной, но сейчас, в морозном безмолвии, она была завораживающе мрачной. Мортон качнулся на велосипеде и, сворачивая за угол, не без труда вернул себе равновесие. Дом напомнил ему набор для игры в шахматы: фигуры, доску, монохромный узор мороза и тени. По чистой случайности Мортон сделал такой вывод, еще не увидев топиария, если владелец сада именно к этому не стремился и не разбил сад именно с этим умыслом. Или все-таки нет — Мортон подумал, что мог разглядеть деревья за оградой и бессознательно провести аналогию. Вне сомнений, так оно и было.

Мортон согнулся над рулем и сильнее стал крутить педали, борясь с желанием повернуть назад. Поначалу казалось, что дом отдаляется, хотя каждый поворот колес требовал дополнительных усилий, но потом попался крутой холм, и пришлось выкладываться так, что других мыслей в голове просто не осталось. Солнце поднялось выше и стало светить Мортону в глаза из-за деревьев. Он почувствовал приятное тепло, а затем и голод. Маршрут по восьмерке привел его обратно в деревню, где он





планировал остановиться на ланч в известном старом трактире. Однако возвращался он другой дорогой и, когда наконец спешился у «Лебеда», думал лишь о пинте местного пива и порции кроличьего рагу или почек с приправами. Мортон вошел в трактир и, сняв фуражку и перчатки, сел у огня.

Лишь когда его одолела приятная усталость, перед мысленным взором снова встал дом. Мортон увидел стриженные тисы, выстроившиеся напротив друг друга через бледную лужайку. В своем воображении он легонько подтолкнул королевскую пешку, двигая ее вперед. Мортон любил шахматы и с удовольствием вспоминал победы над кузенами и сестрой, которая однажды в слезах швырнула доску через всю комнату и с тех пор отказывалась играть. Мало что доставляло ему такое удовольствие, как объявлять шах и мат или наблюдать, как палец противника в негодовании опрокидывает короля, признавая поражение. Мортон до сих пор грела мысль о победе в школьном матче: он играл с капитаном шахматного клуба, который вяло, с ненавистью пожал ему руку, прежде чем ретироваться поджав хвост. Мортону это очень понравилось.

— Что закажете, сэр? — спросил женский голос.

Захлопав глазами, Мортон заказал пинту пива, затем, после некоторого размышления, каре барашка. Еда, когда ее принесли, оказалась на удивление хороша. Полчаса спустя Мортон сидел в том же кресле, чувствуя себя сытым и довольным впервые за последнее время — с тех пор как внезапно покинул свое предыдущее место жительства после всплытия неких неприятных фактов. Обратного



в ипсвичский пансион было ехать миль пятнадцать, но Мортон удобнее устроился на стуле и попросил еще пинту пива. Когда служанка поставила перед ним стакан, Мортон, наблюдая, как отблески каминного пламени играют в янтарной жидкости, спросил:

— Вы, случайно, не знаете дом к востоку отсюда с топиком в виде шахматных фигур?

Служанка замялась. Удивленный, Мортон поднял глаза и как раз успел заметить настороженность в ее взгляде.

— Вы о черно-белом доме, сэр?

— Да, именно, — ответил Мортон. Разумеется, это описание подошло бы сотням домов, но почему-то он не сомневался: служанка понимает, о каком здании речь.

— Да, я его знаю, — отозвалась она и, воспользовавшись паузой, отвернулась.

Вот это дерзость!

— Кто им владеет? — спросил Мортон, подаваясь вперед, чтобы задержать служанку, но при виде его вытянутой руки она вздрогнула и замерла.

— Никто из местных. Старик был последним.

— Но ведь такой дом наверняка кому-то принадлежит, — заметил Мортон, и служанка пожала плечами. — Тогда кто там живет?

— В данный момент — никто. — Служанка наклонилась, чтобы вытереть соседний столик и спрятаться от его взгляда.

В груди у Мортоня встрепенулось что-то странное.

— Так он пустует?

Девушка не ответила, и Мортон сделал глубокий вдох, сдерживая раздражение. В этих краях явно не привыкли



к образованной публике; похоже, куда чаще здесь обслуживают фермеров и крестьян.

— Мне очень хотелось бы посмотреть тот сад. Зайти, стало быть, на территорию и посмотреть.

— Думаю, ворота там закрыты.

— Да, я знаю об этом. Я просто подумал, что... Ладно, неважно! — Мортон откинулся на спинку стула и махнул рукой, отсылая служанку прочь. Та удалилась, не извинившись и не обернувшись.

— Дом сдается внаем.

Мортон вздрогнул. Голос — шелестящий, вкрадчивый — доносился из полутемного угла трактира, который сперва показался ему пустым. Сейчас Мортон увидел там сидящего за маленьким столиком человека.

— Что, простите? — спросил Мортон, подаваясь вперед.

— Я о черно-белом доме, — ответил незнакомец, не шелохнувшись, так что его лицо осталось во мраке. Лишь в тот момент Мортон понял, что зимнее солнце в трактир больше не проникает и день клонится к вечеру. — Извините, — продолжал он, — но не подслушать я не смог. Дом очень красивый, верно?

— Да, впечатление он производит, — отозвался Мортон.

— Если хотите его посмотреть, думаю, маклер вам поможет. Леттерман из комиссионерской конторы на площади. — Незнакомец неловко махнул рукой. Двигался он резко и судорожно, словно его тело удерживала веревка — иначе рассыплется. — Контора неподалеку от ратуши. Вам стоит поспешить: зимой они закрываются рано.

— Ясно. Да, ясно. — Неожиданно для себя Мортон поднялся, хотя буквально минуту назад, разморенный и сытый,





едва мог шевельнуться, а стакан с пивом был полон больше чем наполовину. Разумеется, он радовался новой информации и хотел навести справки в комиссионерской конторе; его спешка никак не относилась к блестящим глазам незнакомца и к тому, как роились и клубились тени у него за спиной. — Спасибо, — поблагодарил он.

— Не за что.

— Всего доброго. — Мортон потянулся за фуражкой и перчатками, уронил одну на пол, а наклонившись, чтобы поднять, увидел, что незнакомец сидит за шахматной доской. — А-а-а, вы тоже любитель, — проговорил он, понимая, что торопливые сборы выглядели неподобающе.

— Ну да-а, можно и так сказать, — с улыбкой отозвался незнакомец.

Возникла короткая пауза. При иных обстоятельствах Мортон задержался бы чуть дольше, чтобы со знанием дела поболтать, скажем, об относительных преимуществах дебюта королевской и ферзевой пешки. Вместо этого он снова сказал «спасибо» и поспешил на улицу, обрадовавшись, когда дверь закрылась и лицо обдул холодный ветерок.

Маклер — коротышка в очках и с потертым воротником — не мог скрыть, что удивлен вопросом Мортон, но, справившись с первым шоком, проговорил:

— Да-да, конечно. — Он с готовностью достал ключ. — Черно-белый дом... Конечно, да, он сдается внаем за разумные деньги. Весьма разумные. Вы что-нибудь еще у нас тут смотрели?

Мортон пояснил, что снял комнату в ипсвичском пансионе и до этого дня не хотел — даже не думал — арендовать дом. Он ожидал дальнейших вопросов — такое пояснение



рациональным не назовешь, — но маклер, разок вскинув брови, сказал:

— Да-да, конечно, — затем потянулся за шляпой и добавил: — Думаю, вам хочется его посмотреть.

Дом оказался ближе, чем думал Мортон, — на окраине деревни. Но когда маклер открывал ворота, солнце успело сесть за деревья, и сад погрузился в тень. В сгущающихся сумерках топиарий казался массивно-монолитным, будто из черного камня. Мортон замер, медленно оглядывая ряды по разные стороны от него. «Черные против черных», — подумал он, и волосы у него на затылке встали дыбом.

— Мистер Мортон! — позвал ожидающий у двери маклер. — Пойдемте!

Мортон встряхнулся.

— Извините, — проговорил он и поспешил вперед, чтобы прислонить велосипед к стене.

— Как видите, дом полностью меблирован, — сказал маклер. — Насколько я понимаю, нынешнего владельца он не интересует, поэтому все осталось так, как было при старом хозяине. Обстановка слегка старомодная, зато въезжать можно немедленно. При желании — хоть сегодня вечером! — Маклер визгливо хохотнул. — Сюда, пожалуйста...

В доме оказалось темно, потолки — низкие, мебель — старомодная, но не слегка — занимала столько места, что Мортону, следующему за агентом, пришлось ее огибать. Комнаты были длинные; широкие, многочастные окна в сумраке источали синеватый свет. Они прошли узкий коридор и поднялись по лестнице.

— На этом этаже жилые комнаты, — объявил маклер. Теперь он двигался быстро, не давая Мортону времени





осмотреться как следует. — Час уже поздний. Здесь мрачно. Не хочу вас торопить, но...

— Газ в доме есть?

— Нет, боюсь, только лампы. И свечи, конечно же. Если пользоваться газом, пропадет очарование старины, верно? — тон маклера не соответствовал словам; мужчина развернулся, протиснулся мимо Мортон и быстро спустился по лестнице. — Вы увидели достаточно?

Мортон замялся, осматривая сквозь приоткрытую дверь комнату, в которой стояли кровать с балдахином, зеркало, стол на витых ножках и подсвечники с оплывшими, полубогоревшими свечами. Но его внимание привлек вид на улице — длинные ряды шахматных фигур, ожидающих на лужайке. Оторвать от них взгляд было сложно.

— Да, — ответил он, — вполне достаточно.

— О, что ж, тогда, может быть, мы... — Маклер вяло махнул рукой. — Такой дом подойдет не каждому. Это понятно. Дома с историей зимой могут показаться угнетающими.

— Я снимаю дом.

— Ну и, конечно... — Маклер осекся. — Что, простите?

— Я снимаю дом, — повторил Мортон. Почему местные с таким трудом понимают простейшие предложения? — Вещи я получу к завтрашнему утру. Нам нужно вернуться к вам в контору? Я ведь должен что-то подписать?

— О, нет-нет, времени предостаточно. Сперва устройтесь... — запинаясь, ответил агент. — Мне... я рад, что дом вам подходит. Детали найма обсудим, когда вам будет удобно.

Мортон кивнул. Возникла небольшая заминка, потом, к некоторому своему недоумению, Мортон сообразил: маклер ждет его, чтобы вместе уйти.



— Я останусь здесь, — сказал он. — Ехать обратно к себе уже поздно. Я, наверное, могу поужинать в «Лебеде»?

— Разумеется, но...

— Вы ведь говорили, что при желании я мог бы въехать сегодня вечером.

— Да, говорил. — Маклер откашлялся. — Решать, конечно же, вам. Если заселиться не терпится... — Маклер протянул ключ. — Тогда до завтрашнего утра. Вы знаете, где меня найти. А если... — Маклер переступил с ноги на ногу и добавил: — А если за ночь вы передумаете... то к этому вопросу мы возвращаться не будем.

— Я уверен, что справлюсь, — заверил Мортон. — В гостиной растоплю камин.

— Хорошо. Ну, тогда спокойной ночи. — Маклер кивнул и исчез.

По коридору застучали его торопливые шаги, тяжело захлопнулась парадная дверь. Мортон подождал, давая маклеру время по подъездной дорожке выйти на главную дорогу. Потом он глубоко, с удовлетворением вздохнул: приятно чувствовать себя собственником. Как неожиданно, как удивительно! Мортон едва не рассмеялся, вспомнив, как увидел этот дом с дороги — неужели это было сегодня утром? — и вот он принадлежит ему, можно исследовать, подчинять себе...

За последние несколько секунд почти совсем стемнело, поэтому Мортон взял со стола подсвечник и зажег свечи. С ним Мортон стал обходить одну комнату за другой, огибая стулья с ножками в форме звериных лап и пыльные портьеры. Он брал книги с полок, открывал шкафчики и ящики столов. Маклер назвал дом «полностью меблированным»,





но Мортону, скорее, чудилось, что его оставили нетронутым, бросили в одно мгновение. В идеальном порядке была лишь одна комната в глубине дома — детская с аккуратным рядом игрушек, маленькой крикетной битой в углу, миниатюрной шахматной доской на банкетке и стопкой книг. Мортон замер на пороге, потом захлопнул дверь сильнее, чем следовало, и двинулся дальше.

Каждая вторая комната хранила следы старого хозяина: ничего столь очевидного, как недоеденная пища или недокуренная трубка на приставном столике, но были свечи, мыло на умывальнике, полотенце на перекладине... В гостиной обнаружился раскрытый номер журнала «Чесс плеерс кроникл»*, оставленный на диванном подлокотнике, словно читавший хотел отметить нужную страницу. Перед диваном, в затененном углу комнаты, стоял набор шахматных фигур, готовый к началу игры. Фигуры были каменные или из гагата и слоновой кости? Мортон взял пешку, ощутил ее масляную гладкость и аккуратно поставил на то же место перед ферзем. Потом, наверное, он найдет в «Кроникл» шахматную задачу и будет решать ее, пока сонливость не заставит отправиться на боковую. Задачи всегда давались Мортону легче, когда перед глазами у него были фигуры на настоящей доске. Он поправил пешку кончиком пальца, чтобы она встала точно в центр клетки, и отвернулся. Когда Мортон выходил из гостиной, у него вдруг возникло нелогичное чувство, что он забыл что-то сделать или совершил ошибку: оставил стакан там,

* «Чесс плеерс кроникл» — английский шахматный журнал, издававшийся в 1841—1862 годах (с перерывами) в Лондоне. *Здесь и далее, если не указано иное, примечания редактора и переводчика.*





где его легко уронить, задев по неосторожности, или не закрыл окно перед грозой. Уже в кухне, просматривая бакалею в буфетах, он понял, криво улыбаясь собственной причуде, что, как вежливый шахматист, должен был сказать: «Жадуб»*.

У Мортонa зуб на зуб не попадал. Первой задачей было притупить остроту холода. Глядя на огромную нерастопленную печь, Мортон был вынужден признать, что здесь не лучшее место для ночлега. Но потом он вспомнил, что по дороге сюда маклер упоминал приходящую служанку — вне сомнений, ее трудами объяснялось отсутствие пыли и паутины. Завтра он договорится о том, чтобы она привела дом в порядок, ну а пока Мортон даже наслаждался одиночеством и поисками в буфетах нужных вещей. Однажды в детстве после какой-то шалости он прятался несколько часов, с нарастающим удовольствием слушая, как в голосе матери появляется беспокойство, переходящее в страх. Он заставил маму звать его много раз, потом наконец вылез, упиваясь собственной властью. Неизвестно почему сейчас вспомнился тот случай, но на его лице появилась нехарактерная для него сухая гримаса, пока он разыскивал старые газеты на растопку, а затем опустился на колени, чтобы разжечь огромный камин в гостиной. Когда огонь разгорелся, Мортон сел на колени и глубоко, с удовлетворением вздохнул. Изначально он собирался поужинать в «Лебеде», но понял, что не проголодался, и сейчас, разведя огонь, не испытывал желания выходить

* «Жадуб» — транскрипция французского j'adoube, что в переводе означает «Я поправляю». Ритуальная фраза в шахматах, которую произносят, чтобы не попасть под правило «взялся — ходи». *Прим. авт.*



из дома в студеную ночь. Мортон поднялся, стряхнул пепел с брюк и подошел к окну. Раздвигая шторы, он замер, завороженный видом сада. Взошла луна, сделав лужайку серебристой, а деревья и их тени — глубоко-черными; под ее ледяным сиянием весь мир превратился в жемчуг и черное дерево. Пейзаж казался потусторонним, сверхъестественным — Мортон в жизни не видел ничего прекраснее.

Впрочем, он был не из тех, кто соблазняется чем-то столь неосязаемым, как красота. Шторы Мортон задвинул так резко, что закашлялся в облачке пыли и отвернулся от окна. Взгляд упал на графин с бренди, стоящий на серванте. Он принялся к напитку, сперва опасливо, потом с восторгом, и налил щедрую порцию в оказавшийся рядом стакан. Потом он устроился у камина — откинулся на спинку дивана и поднял подошвы ботинок к огню. Мортон поздравил себя: снять такой дом за минимальную плату... Бренди оказался превосходным, огонь нагревал воздух — после физической нагрузки утром и неожиданных событий днем закружилась голова. Тепло обвевало лодыжки, растекалось по гостиной, треску пламени вторили стон старых греющихся стен и гул воздуха в трубе. Потолочные балки зашептались: тепло добралось и до них. У Мортон уже смыкались веки, как вдруг он уловил длинную цепочку ударов о пол, которые звучали все ближе и ближе. Сердце чуть не выскочило из груди — Мортон мгновенно сел прямо, ожидая кого-то увидеть. Зрение сфокусировалось не сразу, и на миг Мортону почудился темный силуэт, который проплыл мимо и испарился, не успев он и глазом моргнуть. Душа ушла в пятки, но,



разумеется, в гостиной никого не было. Наверное, это двигались доски в местах стыков; Мортон слышал, что старые дома порой издают звуки, до жути напоминающие шаги или голоса. Мортон расслабился, попробовал усмехнуться, снова опустил голову на угол дивана. В этот самый момент кожаное кресло, стоявшее напротив него, по другую сторону шахматной доски, негромко скрипнуло, словно в него кто-то опустился.

Это объяснялось просто — даже проще, чем стук половиц: воздух в обивке расширился, потом сжался согласно законам циркуляции согретого газа. Впрочем, Мортон не мог не смотреть на кресло, хоть и прищурившись, с глупо и бешено бьющимся сердцем. Ничего не двигалось. Кожаное сиденье приняло форму тела — тела мужчины, как подумалось Мортону, тощего, узкобедрого, привыкшего класть локти на мягкие подлокотники, — и на миг Мортон почти увидел его в кресле среди сгущающихся теней от языков пламени. Заморгав, он отогнал наваждение и снова глотнул бренди. Горячая сладость уняла дрожь в затылке. Наудачу он сделал глоток побольше, уселся поудобнее и попробовал вернуть умиротворение, которое испытывал буквально секунды назад. Взгляд упал на шахматную доску.

Белая пешка была не на месте.

Мортон замер. Вместо того чтобы ждать в стройном ряду, пешка выдвинулась и теперь стояла отдельно от остальных, как при дебюте ферзевых пешек. Невероятно! Он ведь вернул ее на место, разве он не сказал про себя «жадуб»?

Но нет. Пешку он явно сдвинул. Он поднял ее, чтобы почувствовать вес, потом снова поставил, но, вероятно, не



на ту клетку, которую запомнил, только и всего. Это же совершенно естественно — поставить пешку на новое место, начать игру машинально, настолько машинально, что в памяти не отложилось, а сейчас смотреть на нее в ступоре и замешательстве... Мортон протянул руку, но она замерла над доской, словно врезавшись в лист стекла. Касаться пешки он не хотел. Вспомнились вес фигуры на ладони, легкая маслянистость, наведшая на мысль, что она из слоновой кости, а не каменная.

Мортон отдернул руку. Некий инстинкт заставил снова поднять глаза на затененное кресло: оно оказалось пустым, контуры сиденья — безликими, как у обычного старого кресла, обмятого за много лет использования. Электрический заряд, вибрировавший в позвоночнике Мортон, исчез, осталась только усталость. Так сказывались физическая перегрузка, возбуждение и — глянув на стакан, Мортон заметил, что выпил почти весь бренди, — неумеренность. Проглотив последние капли, он поставил стакан рядом с шахматной доской. Пора спать.

Спал Мортон тревожно. В спальне царил адский холод, а он, не пожелав залезть под одеяла, вместо этого лег на перину полностью одетым и накрылся своим пальто. Поэтому, наверное, неудивительно, что во сне он вернулся в дортуар своей школы-интерната и наполовину вспоминал, наполовину придумывал бесконечные шалости и проказы, которыми донимал своих одноклассников. Когда проснулся — и сообразил, где находится, ибо яркие отголоски сна несколько минут застилали глаза как туман, — он подумал о кофе, горячей воде для бритья и веселом огне в камине утренней столовой его пансиона. Мортон выругался.





Какой черт дернул его здесь остаться — хуже того, согласиться арендовать этот дом? Он неловко слез с кровати, заковылял по коридору и спустился по лестнице, издавая стоны.

Но когда он прошел мимо окна в холле второго этажа, настроение улучшилось. День выдался ясным, как алмаз; в лучах зари сад был серебристо-зеленым, топиарий казался чудом симметрии. В конце концов, обжиться в доме будет не так сложно. Растопленные каминные, чистые простыни, свежие продукты, порядочная служанка, и все — Мортон улыбнулся — его мечты осуществляются... Он торопливо спустился по лестнице, вышел на свежий, бодрящий воздух, минуту спустя ехал на велосипеде по подъездной дорожке, то и дело ныряя в тень деревьев, потом выбрался на дорогу, ведущую в деревню.

Утро сложилось весьма удачно. Если маклера и ошеломило, что Мортон не передумал снять черно-белый дом, то он замечательно это скрыл, а документы оформил так быстро, что Мортон не провел у него в конторе и четверти часа. Маклер даже дал Мортону адрес служанки, которая раз в неделю-другую протирает пыль в комнатах. Та, алчно сверкая глазами, согласилась готовить еду, которую Мортон мог разогревать, стирать, гладить и по мере необходимости заниматься другой хозяйственной работой. От ее дома Мортон покатила по Хай-стрит, радостно насвистывая. В этих краях он собирался поселиться временно, самое большее — на несколько месяцев, пока не улягутся страсти дома. Но, возможно, он останется подольше, а то и навсегда... Мортон заскочил на почту, чтобы отправить в пансион распоряжение: пусть перешлют его вещи сюда,





затем поехал завтракать в трактир. На сей раз он намеренно сел в другой стороне зала из-за непостижимого нежелания столкнуться с джентльменом, говорившим с ним накануне. Но день был ярмарочный, трактир кишмя кишел торговцами и фермерами, а когда толпа рассеялась и открыла Мортону обзор темного закутка в другом конце помещения, он увидел, что там пусто. Убрали даже стул и шахматную доску, предположительно, чтобы вместить больше людей.

На обратном пути к дому Мортон сделал большой крик, наслаждаясь физической нагрузкой и свежим ветерком на лице. Приехав, он обнаружил, что сын служанки, как и договаривались, оставил на крыльце мясной пирог и миску со сладко пахнущим пудингом. Мортон отнес еду в кухню и после долгих сражений растопил печь, торжественно присвистнув, когда закопченная громадина наконец покорила его воле. Чуть позднее у него появилась горячая вода. Запоздалые процедуры омовения он провел максимально качественно: полуокаменевшим куском старого мыла он воспользовался, а чужой бритвой не стал; потом, довольный тем, что домашние дела сделаны, прошел в библиотеку, разжег камин и начал исследовать книжные полки. Страстным книгоцелем прошлый хозяин явно не был: Мортон снимал с полок книгу за книгой — сплошь красивые издания классики — и обнаруживал, что страницы не разделены. Мортон ставил их обратно, пока не наткнулся на небольшое издание в тканевом переплете. Это была скорее брошюра, чем книга, посвященная краеведению. Мортон переворачивал страницы, полные аккуратных зарисовок наиболее примечательных построек: церкви, ратуши и — ага! — самого черно-белого дома.



«Построен в конце семнадцатого века сэром Джеремией Чаяном, о котором не известно практически ничего, за исключением того, что соседи, подшучивая над фамилией, прозвали его Отчаяном... Позднее дом стал привлекать внимание благодаря саду паркового типа с изысканным топиарием, созданным его нынешним обитателем, мистером И. И. Чаяном, магистром гуманитарных наук Кембриджского университета, в память о сыне, который, унаследовав его страсть к шахматам, считался гением этой игры, но трагически погиб в юном возрасте...»

Мортон зевнул, перевернул страницу, но о доме дальше писалось мало, и в целом ничего интересного не было. Он устроился в кресле-лежаке, брошюра соскользнула на пол. После беспокойной ночи, поездки на велосипеде и свершений наступившего дня у него смыкались веки — Мортон задремал. Наконец он пробудился с ясной головой и желанием поужинать. Поднимаясь, он уже думал о мясном пироге и едва заметил брошюру на полу. Потом он вышел в коридор, закрыл дверь в библиотеку и забыл о ней окончательно.

После ужина, сытного, хоть и не особо вкусного, Мортон отправился в гостиную. Он вычистил колосник в камине, но довольно неловко, просыпав пепел на брюки, и решил: когда придет служанка, он велит ей развести огонь во всех комнатах. Затем он налил себе очередную порцию бренди, зажег свечи, потому что сгущались сумерки, и сел на то же место, что накануне вечером. Лишь тогда Мортон вспомнил краеведческую брошюрку и подумал, стоит ли идти за ней по продуваемому насквозь коридору. Пожалуй, нет, рядом же были «Чесс плеерс кроникл» и готовая



к игре шахматная доска. Наверное, если он задержится здесь надолго, нужно составить план, как коротать одинокие часы: за чтением или написанием писем. А прямо сейчас в «Кроникл» найдутся интересные задачи, которые займут его до тех пор, пока не сморит усталость. Мортон взял журнал, который случайно открылся на странице с задачами, полной клетчатых квадратов и условных знаков. «Автор: Р. Б. Уорлмолд, бакалавр гуманитарных наук, Лондон. Белые начинают и выигрывают в три хода». При беглом взгляде Мортон приметил соблазнительный вариант атаки: слон бьет ладью, но на последней горизонтали стояла пешка, которая одним ходом превращалась в ферзя. Мортон придвинул к себе доску, чтобы приступить к решению задачи и... Сердце екнуло.

С места сдвинули еще одну фигуру.

Мортон машинально кивнул: разыгрывалась голландская защита. Слоновая пешка выдвигалась на две клетки, кардинально меняя расстановку сил на доске, — такой ход считался агрессивным, но опасным из-за ослабления позиции короля... Однако это все так, к слову. Ни малейшей возможности, что он передвинул черную пешку сам, не существовало. Прошлой ночью он мог сослаться на забывчивость, даже на опьянение, но сейчас Мортон был предельно, до тошноты уверен, что черную фигуру не трогал. Тем не менее она выдвинулась. Две пешки смотрели друг на друга через горизонтали. Ответный ход. Словно незримый противник...

Мортон поднял взгляд на кресло. Затылок онемел, словно Мортон приготовился к шоку, но, разумеется, кресло пустовало. Перед ним было просто кожаное сиденье



с впадинами и складками — напоминанием о локтях и пальцах. Пустота. Мортон таращился на него, не желая моргнуть. Свет от камина мерцал, колебался, по стенам скользили тени, дерево блестело, гладкое, как стекло, незапыленное...

Мортон резко выдохнул. Здесь наверняка побывала служанка. Это она сдвинула черную фигуру. Или ее сын, когда принес еду. Да, скорее, это сын: служанка стара и невежественна, такие редко играют в шахматы. В любом случае это дерзость, клятая дерзость. Мортон вскользь подумал, что служанка могла толкнуть пешку тряпкой, когда протирала пыль. Нет, ход сделали обдуманно — в ответ на его дебютный ход, — такое вряд ли случилось по совпадению. Пешку явно сдвинули намеренно, и отличился явно мальчишка. Начатки образования у него наверняка имелись. Мортон стиснул зубы. Он ни на секунду не верил, что тот мальчишка хотел сыграть в шахматы почестному; мальчишки — маленькие негодяи. Нет, сын служанки хотел его разозлить. Как он смеет?! Мортону вспомнилась подобная затея в школе, которая прошла успешно, слишком успешно. Сейчас он на подобное не поведется.

Посмотрев на доску еще секунду, Мортон быстрым движением поставил королевскую пешку на клетку рядом с ее подругой. Гамбит Стаунтона: принесение в жертву пешки ради развертывания атаки на черного короля. Это покажет маленькому хулигану, что он не испугался. Мортон откинулся на спинку кресла и потер ладони о бедра, представляя разочарование на лице мальчишки, когда тот поймет, что противник не дал себя запугать.



Однако удовлетворение было мимолетным — едва почувствовав его, Мортон поднялся, подошел сначала к серванту, потом к окну. Он раздвинул шторы, но облака заслонили луну и звезды, поэтому виднелись лишь черные расплывчатые пятна деревьев на фоне хмурого неба. Сделав ответный ход пешкой, он лишь поощрит мальчишку, а Мортону этого совершенно не хотелось. Задумавшись, Мортон постучал ногтями по стеклу, но в тиши гостиной стук звучал странно, поэтому секундой позже он опустил руку. Самым достойным ответом было бы поставить фигуры на место или, еще лучше, убрать их с глаз долой. Мальчишка вряд ли спросит, что с ними случилось, так ведь? Самому Мортону решать шахматные задачи расхотелось, от присутствия доски мороз пробирал по коже, как от угрожающего взгляда. Мортон повернулся к доске. Нелепость полная, но он искренне пожалел, что сделал ответный ход.

Свечи догорали. Самая короткая вспыхнула, язычок пламени судорожно вытянулся. На глазах у Мортоня тени в углу прожорливо подались вперед, пламя сжалось в крохотную синюю точку и погасло. На секунду, пока глаза приспособлялись, ему показалось, что отметины на кресле стали заметнее — будто сосуд наполнился дымом, — и беглому наблюдателю могло померещиться, что там кто-то сидит. Внутри у Мортоня что-то сжалось; с внезапной решимостью он подошел к шахматной доске, потянулся к ящику и беспорядочно покидал в него фигуры. Отделений было два, для черных и для белых, однако Мортон их проигнорировал: он давил и давил на крышку, пока что-то не сломалось — это у слона голова отлетела? — и крышка не захлопнулась. Хлопок эхом отразился от стен. Никогда



в жизни Мортон не бросал начатую игру, никогда не просил пощады, никогда не признавал слабости. А вот сейчас, да-ром что был один, он чувствовал непонятную смесь стыда, непокорности и — чуть глубже — нарастающую тревогу. Еще одна свеча накренилась — вот-вот оплывет. Мортон вздрогнул. Сидеть здесь одному среди трепещущих отблесков каминного пламени было невыносимо. Судорожно схватив подсвечник, он вышел в коридор. По спине бежали мурашки, но оглянуться он не осмелился.

* * *

Заснуть долго не удавалось. Мортон презирал тех, кто без нужды размышляет о прошлом. Но почему-то перед мысленным взором снова и снова мелькали воспоминания о школе. Вспоминался мальчишка, которого до оторопи пугали их выходки, — Симмс Майнор или, как его там, Симмонс? — вспоминались его круглые от ужаса глаза; ночь, когда он просил Мортон о помощи... Мальчишка был слабак... С насмешками хулиганов ему следовало обходиться так же, как Мортон обошелся с шахматными фигурами, — отметить с презрением. Именно это к лицу мужчине. То несчастье — вряд ли оно случилось по вине Мортон. Тем не менее Мортон чувствовал себя очень неуютно — ворочался и метался по перине, плотнее заворачиваясь в пальто.

Однако сон его сморил-таки, потому что позже он проснулся. Тишина стояла необычная — такая же, какая поразила его, когда он впервые увидел дом за прутьями ограды.



Казалось, прислушивается сам мир. Мортону почудилось, что разбудили его некий звук, теперь исчезнувший, или движение в комнате, словно в паре футов от кровати прошел человек. Второе объяснение не годилось, потому что, сев в кровати, Мортон убедился, что определенно был один. Луна вышла из-за облаков и светила в окна, рисуя на полу черно-белые квадраты.

Мортон плотнее запахнул пальто на плечах и свесил ноги с кровати. Босым ступням пол показался ледяным, но Мортон встал и бесшумно подкрался к окну. Там он застыл, дожидаясь, когда звук раздастся снова. Но не было ничего, даже крика совы или шороха сквозняка, проникающего в щели оконных рам. Неужели бездонная тишина пробудила его ото сна? Нет, он был уверен, почти уверен, что услышал какой-то звук. Мортон попробовал описать его себе как негромкий скрежет, как резкий скрип, что-то среднее между камнем и деревом. Глядя сверху вниз на тисы, он чувствовал пространственную дезориентацию, со страхом не связанную. Призрачный свет, четкость очертаний, густота теней... Пространство сжалось, и на полную дурноты секунду шахматные фигуры стали одновременно большими и маленькими, по размеру его ладони. Мортон закрыл глаза, но голова закружилась так, что он поспешно открыл их. В бледном свете луны тени снова затрепетали, будто шевелясь.

Мортон схватился за оконную раму. Ему показалось, буквально на миг почудилось... Нет, нет, ничего не сдвинулось. Тисы стояли стройными рядами, как им и следовало, и это должно было успокоить, но у Мортоня сильно, до звона, заложило уши. Если бы он заметил, что один





из тисов выдвинулся вперед — скажем, пешка скользнула по серебристой глади травы, — то понял бы, что галлюцинирует, и испытал бы чуть ли не облегчение. Но это ожидание, эта тяжесть воздуха, эти неподвижные деревья, эта начатая игра были невыносимы, пугающи или того хуже. Мортон не мог отвернуться.

Он не знал, сколько простоял так, глядя на фигуры, в ожидании неслучившегося. Наконец он почувствовал, что луна села за дом, в трубе шумит ветерок, а ноги окоченели. Он доковылял до кровати и уснул неожиданно быстро, словно устав от упорной борьбы.

Разбудил Мортон стук. Сонный, он спустился по лестнице, протирая глаза, прошагал по коридору и распахнул парадную дверь. На пороге стоял мальчик с формой для пудинга и коричневым свертком в руках. Мальчишка протянул свою ношу Мортону.

— Пустую посуду, — буркнул он.

— Что?

— Мама велела забрать пустую посуду.

— Завтра заберешь, — сказал Мортон и стал закрывать дверь.

— Завтра вас снегом занесет.

Мортон замер. Открыв в полусонной спешке дверь, он мало что заметил, но ветер действительно стал сырым, а низкие облака висели ровным слоем.

— Ладно, — проговорил Мортон. — Жди здесь. — Вскоре он вернулся с пустой миской и блюдом из-под пирога и протянул их мальчишке.

Тот переминался с ноги на ногу, словно хотел в туалет, потом схватил грязную посуду, сунул в заплечный мешок





и, не сказав больше ни слова, развернулся, чтобы уйти. Его спешка, хоть и не была дерзкой, задела Мортон за живое: в конце концов, он же платит матери этого мальчика, верно?

— Эй, куда так спешишь? — остановил его Мортон. — Это ты в гостиной нахулиганил? Ничего у тебя не выйдет, прекращай.

Мальчишка уставился на него.

— Я в доме не был, — проговорил он после паузы.

— Значит, твоя мать. Я же не идиот. — Мортон свирепо взглянул на мальчика, но тот выдержал его взгляд с совершенно непроницаемым видом. — Передай ей, пусть ничего без разрешения не трогает. И как вчера не делает. Просто пусть чужих вещей не касается, ладно?

— Вчера мама в дом не заходила. Она убирается только по воскресеньям. По воскресеньям здесь ничто не движется.

— Что?! — воскликнул Мортон, но мальчишка не ответил. Он поднял плечи, затем снова опустил. — Тогда это садовник. Здесь ведь есть садовник?

— У него даже ключа нет. Он только деревья стрижет.

— Ну, тогда кто бы это ни был, — продолжил Мортон. — Если поймаю их...

Мальчишка все таращился на него, кусая губу. Наконец, словно Мортон упустил какой-то шанс, он отвернулся, прошел по подъездной дорожке, вперив глаза в землю, а за последним рядом тисов бросился наутек.

Мортон наблюдал за мальчишкой, пока тот не захлопнул ворота и не исчез из вида на дороге. Потом, задрожав, Мортон повернул к дому. Теперь, когда спешки не было, он почувствовал металлический запах снега. Возможно,



оставаться здесь глупо; наверняка комната в «Лебеде» была бы веселее... Но это означало бы поражение. Мортон вернулся в гостиную, хлопая себя руками, пытаясь согреться, и опустился на колени перед камином, чтобы развести огонь. Голова болела, руки окоченели, Мортон долго возился со спичками и обрывками газет, прежде чем огонь занялся. Он без сил опустился на диван. Похоже, у него начиналась какая-то болезнь: ни есть, ни пить не хотелось, хотя, взглянув на часы, Мортон выяснил, что долго спал, потому что давно перевалило за полдень.

За окном пролетела одинокая снежинка, бледная на фоне серого неба. Мортон хлопал глазами, гадая, не шалит ли зрение, но вот мелькнула еще одна, потом еще, и вот уже вихрящаяся пелена скрыла низкие облака. Понемногу Мортон расслабился. Так уютно сидеть у огня, потрескивающего в камине, пока на улице бушует неслышная тебе буря. Мортон впал в какой-то транс, наблюдая за белым танцем метели, за тем, как клубятся за окнами почти материальные фигуры. На этот раз — вероятно, потому, что на улице было холоднее, чем прежде, — стон и ропот тепла, растекающегося по комнате, звучали громче и отчетливее. Скрипели петли, по половицам стучало нечто, очень похожее на шаги, скрипело кресло... Мортон машинально повернул голову, хотя знал, что в кресле никого не окажется.

На столе стояли шахматы.

В ушах загудело. Мортон сделал судорожный вдох. У него, конечно же, галлюцинации, но нет, фигуры совершенно явственно стояли на доске: вот слон со сколом на шее, появившимся, когда Мортон слишком небрежно засунул его в коробку. Вон четыре пешки, стоящие не на месте: две



белые, две черные. Кто-то старательно расставил фигуры и сделал очередной ход. Кто-то, побывавший в доме. Кто-то, но не служанка, не ее сын и не садовник.

А ведь когда Мортон опустился на колени, чтобы разве-сти огонь, доски с фигурами не было.

Мортон сидел словно окаменев. Хотелось зарыдать или выбежать из комнаты, но ни то, ни другое не получалось. Долгую, ужасную секунду он думал, что не шевельнется никогда. Потом наконец ощутил прилив гнева, достаточно сильный, чтобы прогнать парализовавший его страх. Мортон бросился к доске, дрожащими руками сгреб фигуры в ящик, нагнулся за укатившейся на пол пешкой. На коленях доползши до камина, он бросил в огонь ящик со всем его содержимым. Под новым весом пламя пригнулось, и испугавшийся Мортон потянулся за кочергой. Но вот оно взметнулось снова, заплясало вокруг ящика, впиваясь в углы и лежащие сверху фигуры. Темные короны, башни, лошадиные головы замелькали на фоне красно-золотого зарева. Потом фигуры окутало пламя, их силуэты исчезли, гостиную заполнил мерцающий свет от камина. Радость победы захлестнула Мортон. Тяжело дыша, он опустился на диван, потом посмотрел в угол, и у него перехватило дыхание.

В кресле сидел старик.

Злобный, нетерпеливый, голодный старик, сотканный из теней и пустот; присутствующий и отсутствующий, сморщенный, тощий, но грозный, желающий одного — выиграть...

Мортон не понял, ни как поднялся, ни как пробрался к двери гостиной, потом в коридор, затем ощупью к парадной двери и за порог. Он не знал, как выполз на снег, звал



ли на помощь, преследовал ли его жуткий, призрачный старик. Мортон осознавал лишь собственное бессилие и страшную, отчаянную панику, лишь чудовищный груз своих ошибок и невозможность исправить их ни сейчас, ни когда-либо.

* * *

Мало кого удивило, что Мортон не захотел жить в черно-белом доме; охотников и прежде не находилось. После смерти старого хозяина лишь несколько человек задержались под крышей этого дома дольше чем на пару часов; все исчезли, никого не предупредив, и не вернулись. Местные жители сошлись во мнении, что Мортон, как и другие, счел атмосферу дома неприятной, собрал вещи и отправился восвояси. Те, кто с радостью игнорировал существование дома, с неменьшей радостью проигнорировали исчезновение Мортон. Если бы не снег, никто, даже маклер, не вспомнил бы о нем лишний раз. Так вышло, что о судьбе Мортон беспокоился лишь Робби, сын служанки; мальчик выдал такую чудную историю, что мать строго-настрого велела ему держать язык за зубами.

Судя по всему, наутро, когда метель стихла и взошло солнце, Робби выбрался из дома поиграть. Окружающий мир был ослепительно-белым, небо — сине-золотым в лучах зимнего солнца, поэтому Робби забрел далеко, бесцельно бросая снежки и продираясь сквозь сугробы. Наконец, повернув обратно, мальчик оказался у задних ворот черно-белого дома. Дрожа, он остановился, чтобы заглянуть



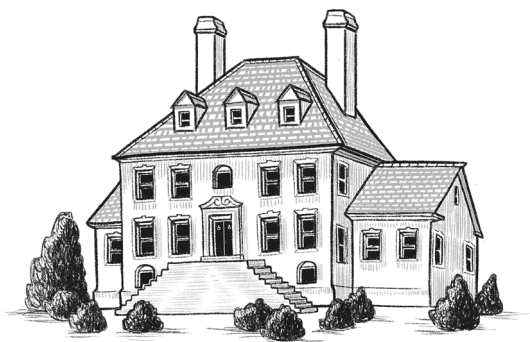


за прутья ограды, и увидел... нечто. В итоге любопытство пересилило привычную опаску по отношению к этому месту, и мальчишка пробрался на ослепительно-белую территорию, чтобы посмотреть поближе.

Робби увидел следы человека, тянущиеся от парадной двери: смазанные ветром и припорошенные снегом, но легко узнаваемые. Мортон шел — скорее всего, бежал — по прямой, пока не оказался среди рядов тисов, а потом... Потом, по словам Робби, следы менялись; прямая превратилась в ломаную, в зигзаг, словно Мортон петлял, подобно угодившему в лабиринт, то и дело падал и с трудом поднимался. Если его преследовали, то преследователь следов на снегу не оставил. Самым странным Робби показалось, что следы обрывались у высокой туи, будто Мортон безвозвратно исчез, съеденный черным королем.

ОБИТАТЕЛИ ДОМА ТВЕЙТОВ

Имоджен Гермес Гауэр



STONE HEDGE

STONE HEDGE



Мы подъезжали к месту под проливным дождем, к тому же разыгралась жуткая буря, от которой пугались наши лошади. Ночь выдалась темная, дождь ручьями сбегал по окнам кареты, и я говорила себе: «Потоп этот ниспослан смыть нас всех прочь» — и крепче прижимала к груди малыша Стэнли, но он крепко спал и даже не пошевелился. «Это мне кара», — подумала я, но не заплакала, ведь если отец и соизволит заметить мои слезы, то скажет только: «Все себя жалеешь?»

Первую часть пути мы преодолели довольно быстро, а потом зарядил дождь, карета замедлила ход, закачалась и заскользила в раскисшей грязи. Отец все чаще высовывал голову в окно справиться у кучера, как там дорога, а когда втягивал голову назад в карету, вода струями стекала с его носа и бороды. Кучер не переводя духа то проклинал лошадей на чем свет стоит, то нежно ворковал с ними, но перепуганные животные жались друг к другу, раскачивая карету; голова Стэнли моталась туда-сюда у меня на плече, а сама я сидела ни жива ни мертва от страха. У развилки мы совсем остановились и больше не двинулись с места.



— Ну что там? — крикнул отец кучеру. Тот что-то прокричал в ответ, но слов я не разобрала. — Черт знает что, — пробурчал отец и спрыгнул на землю, подняв фонтаны грязи, его сапоги по самые голенища ушли в жижу.

Вода бежала под колесами кареты сплошным потоком, дорога превратилась в бурную реку, а я осталась в одиночестве, если не считать моего мальчика, но он по-прежнему спал, прижимаясь щечкой к моей руке.

— Плохи дела, дальше придется идти пешком, — сказал подошедший отец.

— Как? Это далеко?

Он что-то спросил у кучера.

— Мили две. Или чуть больше.

— Но я дама и у меня на руках маленький ребенок! — воскликнула я. — От нас нельзя требовать...

— Не глупи! Если двинемся дальше, лошади поскользнутся и перевернут карету, ты этого хочешь? Видно, опасность тебе милее, чем неудобство.

«Будь оно так, — могла бы я возразить, — я бы сейчас была дома». Но прикусила язык и вместо пререканий попробовала разбудить Стэнли, который еще глубже зарылся личиком в мою накидку и переплел свои пальчики с моими.

— Нам надо идти, — заговорила я. — Сможешь?

— Нет, мам!

— Я сам понесу его, — вмешался отец. — А ты возьми саквояж с самым необходимым. Багаж пока придется оставить здесь.

Мои дорожные кофры высились до самой крыши кареты, и я в отчаянии заламывала руки, представляя, как их





содержимое — мои платья, эгретки, заколки, носовые платки, игрушки и книжки Стэнли — мотается из стороны в сторону; дождевая вода в углах и сквозь швы просачивается внутрь, замарывая грязью все, что мило и дорого сердцу.

Я схватила Стэнли и, как ни цеплялся он за меня, передала на руки отцу; от страха бедняжка расплакался, но я не находила слов успокоить его. Из кареты мне пришлось выбираться самой, ибо не нашлось мужской руки, чтобы поддержать меня, я прыгнула точно в бездну и заскользила, оказавшись на земле. Мне показалось, что дождь в одно мгновение промочил меня, но лишь когда карета уже растворилась в плотной пелене дождя, а мы брели все дальше по отходившей от развилки дороге — узкой, немощеной, забиравшей вверх, — я поняла, что такое вымокнуть до последней нитки. Вода заливалась мне под капор и текла по волосам, сбегала между лопаток, образовывая ручейки между косточками моего корсета, а вдоль тела ощущимо перекатывались воздушные пузыри. Промокшие юбки липли к ногам, и при каждом шаге я дрожала от страха потерять твердую почву и свалиться; в туфлях хлюпала вода, а в голове крутилась мысль: «Вот все и рухнуло».

Почти ослепшая, оглохшая, онемевшая, я плелась за темным силуэтом отца, пока тот, спотыкаясь, шел вперед, неся на руках маленького Стэнли. И я дала волю слезам, но оплакивала не себя, а своего маленького сынишку, который не просил ничего подобного, который и так жил мирно и счастливо там, где обитал, рядом со своими игрушками, с любимым «лазательным» деревом, собакой Разбегайкой и даже — прости меня, Господи! — со своим папой. Какое право



я имела отрывать сына от его дома, тащить в эту глушь, если наши с мужем раздоры никак его не касались?.. Была ли я и правда такой эгоисткой, какой считал меня мой отец?

Когда мы достигли дома, я уже вся дрожала от холода. Сначала мы вышли на узкую подъездную дорожку между высоких стен, затем поднялись по каменным ступеням, они все были разной высоты, на каждой я рисковала поскользнуться и потерять равновесие. Отец догадался прикрыть Стэнли полами своего непромокаемого плаща, но я видела обвившиеся вокруг его шеи тоненькие бледные ручки и доверчиво склоненную на плечо белокурую головку. «Боже, что я наделала?»

Старинный дом Твейтов, куда мы прибыли, для меня и моей сестры издавна имел дурную славу. Сами мы никогда в нем не бывали, зато сюда заезжал отец, и, на наш с сестрой взгляд, куда чаще, чем требовалось. Он мог целый год, а то и больше, не заглядывать в дом Твейтов, но если объявлял, что приглашен кое-куда «в окрестностях Скиптона» или едет «по делам в Бредфорд», мы с Марианной понимающе переглядывались, зная, что дом Твейтов как раз в тех краях. По молодости наш отец был весьма хорош собой — он и поныне оставался видным мужчиной, — так что нам казалось очевидным, каким занятиям он там предается. Я воображала себе пышное убранство дома: крикливо-роскошную мебель, устланные толстыми коврами полы, занавешенные тяжелыми гардинами окна, набитые экзотическими напитками горки, легкий шелест новых нарядов — поэтому мне простителен легкий всплеск любопытства, с каким я ожидала, пока отец отпирал дверь.





Внутри не обнаружилось ничего, даже отдаленно напоминающего мои грезы. В тесном холле горела единственная свеча, обшарпанные серые стены источали запах нежилой кислятины, как будто в доме давно никто не жил; за холлом виднелась темная гостиная, скудно обставленная в уродливо-старомодном духе. Воистину никакой любовнице не пришлась бы по вкусу *такая* обстановка. Отец опустил Стэнли на кушетку в гостиной, а я все стояла в холле, охваченная страхом и унынием. Вода стекала с носа, капора, манжет. Я сняла накидку и повесила на спинку старинного черного стула, изогнутого по безобразной моде двухсотлетней давности.

— Ну вот что, мисс, — произнес отец. «Мисс» он выговорил жестким, повелительным тоном, как если бы обращался к кому-то, посягнувшему на его любимое место в купе поезда, — теперь я вас оставляю.

— Куда же вы в такую непогоду? — взмолилась я. Меня до смерти пугала перспектива остаться вдвоем со Стэнли в этом мрачном, неприветливом доме. — Оставайтесь. Умоляю. Здесь для вас наверняка найдется комната.

— Нет, я в гостиницу, надо посмотреть, как там наша карета, если она, конечно, добралась туда. А если нет, стало быть, нужна моя помощь, чтобы вытащить ее из грязи. — Он вздохнул, и его вздох ясно говорил: конечно, Люсинда, *ты* уже можешь отдыхать, у *тебя-то* других дел, конечно, нет.

— Но, папочка, — снова воззвала я к нему. Я обвела взглядом каменные полы и холл, такой унылый и голый, цветов и то не поставили, чтобы как-то оживить это жилище к моему приезду. Все убранство холла ограничивалось лишь побуревшей литографией со зловещей картины





«Плот “Медузы”»* в черной рамке. — Вы и правда оставите нас здесь? Совсем одних?

Отец молчал.

— Папочка, — повторила я, разражаясь рыданиями. Он не выносил моих слез, но я не имела другого способа разжалобить его. Единственное, что мне оставалось, — беспомощные мольбы, вот единственное оружие, каким я располагала. — Неужели вы не поможете мне?

— Девочка моя, — молвил он, — в этом *и состоит* помощь.

* * *

Стэнли весь дрожал, когда я подняла его с кушетки, мокрые волосы облепили голову и источали трогательный запах беззащитного зверенка, сразу напомнивший мне о его младенчестве. Он стоял молчаливый и безучастный, не испытывал ни малейшего любопытства, не порывался изучить новое место, как в том милом отельчике в Скарборо, куда я вывезла его на отдых, назвав это каникулами, или в доме Марианны, где нам пришлось искать прибежища, когда у меня кончились деньги. Я всегда принимала это радостное возбуждение от нового места за его естественное свойство, думала, что, куда бы ни привезла Стэнли, он везде будет

* «Плот “Медузы”» (1818–1819) — картина французского художника Теодора Жерико (1791–1824). Поводом для картины послужила катастрофа французского фрегата «Медуза» в июле 1816 года; часть пассажиров и членов экипажа спасались на плоту, но при нехватке воды и провианта между отчаявшимися людьми разгорелась смертоубийственная борьба за выживание, многие были убиты, слабых и больных сбрасывали за борт. История глубоко потрясла общество.



достаточно весел и счастлив, но в этом доме его жизнерадостность исчезла без следа. Мы отважились подняться по лестнице и обнаружили две спальни. Первая, просторная, но странно неприветливая, была обшита по стенам потемневшими панелями. Сначала мне даже показалось, что в ней нет окна, и только потом я заметила, что прежде широкий оконный проем тоже почти весь забран стенными панелями, лишь на самом верху оставался узенький просвет. Вторая спальня помещалась этажом выше, вверху лестницы, и размерами была поменьше, но более приветливой.

— Здесь и будет твоя спальня, — сказала я Стэнли. Он снова не произнес ни слова, а только засунул в рот большой палец.

Вода в тазу для умывания до костей пробирала холодом, но с этим я ничего поделать не могла. Я раздела Стэнли, и, пока обтирала его губкой, скрестив его ручки на маленькой белой грудке, он дрожал и хныкал.

— Не надо, мамочка! — кричал он, отбиваясь от меня, но я крепко держала его, наверное, чересчур грубо, но единственно из желания побыстрее покончить с мытьем. И тогда он оттолкнул меня с силой. — Нет!

— Да как ты смеешь? — прикрикнула на него я. Глаза у меня загорелись, как и кожа на плечах там, куда уперлись его маленькие ладошки.

— Я хочу домой! — его голосок срывался. Я с трудом выносила эту сцену. — Зачем мы сюда приехали?

Я сгребла его за плечи, но он пронзительно взвизгнул и вывернулся из моих рук.

— Ты как себя ведешь?! — воскликнула я, а он снова закричал.



Его маленькие ступни зашлепали по плиткам пола, когда он отбежал от меня, встал поодаль, пригнувшись и широко расставив ручки и ножки, и прожег меня пронзительным, полным ярости взглядом, точно голенький белый дикаренок. Не в первый раз после его рождения я спросила себя: «Кого же я родила? Почему и как все это случилось?» Хорошо, что я сообразила забрать из багажа его теплую фланелевую ночную рубашку, и, по счастью, она не так отсырела, как остальные вещи. Но, когда я протянула ее сыну, он наотрез отказался надевать ее, и я гонялась за ним по спальне, пока он пронзительно не завизжал, впад в полное исступление, и у меня не погасла свеча.

— Ладно, значит, будешь спать как есть, — крикнула я и захлопнула дверь.

Снаружи на двери имелся засов, и я быстро задвинула его. Стэнли замолотил по двери кулачками, а я стояла на площадке лестницы и слушала, как его гнев уступает место страху.

— Мама! — закричал он. И еще раз: — Мама! — теперь дрожащим голосом.

Я хотела было смягчиться, но он снова разъярился. Тогда я повернулась и ушла.

Спустившись в гостиную, я кое-как стащила с себя мокрое платье, потом нижние юбки, свалила все это прямо на пол, и вокруг тут же натекли лужицы грязи. Зато корсет я снимала бережно за неимением при себе сменного; правда, в моем багаже были другие корсеты, но они, скорее всего, окончательно испорчены и навеки для меня потеряны. Корсет я аккуратно разложила на кушетке, но сорочка под ним тоже была вся мокрая. Туфли сплошь облепляла грязь, и я разнесла ее по дому, пока ходила вверх и вниз



по лестнице. Промокший подол юбки полинял, испятнав мои чулки потеками краски. Я присела у камина, дрожа и стуча зубами от холода, пока мои заледеневшие руки не уклюже возились со спичками.

— Ну же, давай, — под нос бормотала я, поднося очередную спичку к кучке растопки, но хворост отсырел, и огонек, едва занявшись, тут же гас. — Давай же, давай.

Прошло бог знает сколько времени, прежде чем хворост поддался на мои уговоры и кое-как разгорелся: хилые огоньки завились было слабыми колечками, зачадили, задымили и зачахли. Я прокляла все на свете.

Сидя в крошечной тьме, я подтянула колени к груди. Без корсета мое тело ощущалось неприятно рыхлым, как будто расползавшимся: там выпирают кости, тут выступает слишком дряблая плоть, а мои груди, обмякшие и ледяные, свисали непривычно низко и противно липли к коже сырой внутренней стороной. Холод до костей пробирал мое тело, и волоски на голых руках и ногах вставали дыбом; я таращилась в темноту гостиной, размышляя, подкрадывается ли ко мне безумие или оно уже некоторое время владеет мной. Еще недавно я служила украшением мужниного дома. Не скажу, что эффектным, но определенно *элегантным* и *ухаженым*, что я принимала за присущие мне свойства, так же как Стэнли было присуще ощущение счастья. И что же? За какие-то недели я превратилась в драную кошку, в жалкую, потрепанную жизнью бродяжку! Нечего сказать, прежде ухоженная, вальжная Люсинда Лайль, теперь лишившаяся денег и друзей, бедует одна-одинешенька, проклиная все на свете, в зашарпанной крошечной гостиной, пока ее сын в одиночестве стонет и плачет наверху.





Очнувшись, я схватила со спинки стула плед и набросила себе на плечи, ожидая, когда придет блаженное тепло. В уме я уже составляла письмо сестре Марианне, но при мысли о ней всякий раз вспоминала ее лицо и как изменилось его выражение, когда я призналась, что бросила мужа. Сначала на нем отобразилась тревога, затем — недоверие, и вдруг оно опустело, утратило всякое выражение, точно дверь захлопнулась у меня перед носом. «Почему ты отвернулась от меня? Как ты могла, зная, что мне пришлось пережить?» — хотела написать я.

Бух, бух, бух.

Страх парализовал меня. А глухой звук повторился. *Бух, бух, бух.* Да это же шаги, кто-то топает наверху! Шаги тяжелые, мужские, и раздаются они с верхней площадки лестницы.

Пусть я понимала, что такое невозможно, но все же решила поначалу: «Это Лайль нашел нас. Он явился за нами, он здесь!».

И снова *бух, бух, бух.* Я вскочила на ноги. Боже милосердный, если это не мой муж, тогда кто?! Кто-то — *неизвестно кто* — топал наверху, там, где мой маленький мальчик, а меня, его матери, рядом с ним нет. Я взбежала по лестнице с пледом через плечо, точно шотландский горец, но едва достигла верхней площадки, как сразу поняла, что там никого нет. Ведь присутствие другого человека поблизости от тебя всегда ощущаешь кожей. А я знала, что я здесь одна.

Такой дикий ужас обуял меня, что никакими словами не описать. В череп будто вонзились тысячи иголок; руки затряслись так, что пришлось их крепко сжать, иначе дрожь не унималась. «Ну вот, — подумала я, — теперь все ясно. Разум покидает меня».



Из-за двери Стэнли не доносилось ни звука. Наверное, заснул. Я отодвинула засов и спросила в приоткрытую дверь:

— Ты сейчас здесь бегал?

— Нет, мама. — Он сидел съежившись на полу перед дверью с большим пальцем во рту.

— Надеюсь, ты не станешь лгать мне.

— Да нет же. Я сидел здесь. Я сильно испугался.

Он протянул ко мне ручонки, и я тут же бросилась к нему. Лицо его горело и было мокро от слез, а вскоре и я заплакала. Когда он был совсем маленький, я обычно целыми днями лежала с ним на руках, пела ему песенки и беспрестанно целовала его личико. Я поняла тогда, что раз я ему мать, то должна быть для него всем на свете, что мы двое образуем собственную маленькую республику любви и доброты, куда заказан вход посторонним. Расстояние между нами возникло, когда он дорос до брюк, ему остригли его миленькие детские локоны и он — как и полагается мальчикам — потянулся к отцу и стал больше папиным сыном, чем моим.

— Все хорошо, — сказала я. — А теперь марш в постель. Но он крепко вцепился в меня и не желал отпускать.

— Мне здесь не нравится, здесь страшно.

Что на это сказал бы ему Лайль? Известно что: «Будь мужчиной, Стэнли!» В другие времена я тоже бы так сказала, но сейчас прошептала ему:

— Утро вечера мудренее. Ты увидишь завтра, что здесь не так уж плохо.

— Мама, ну пожалуйста. Не уходи.

— И не уйду. — В самом деле, я совершенно выбилась из сил, к тому же меня страшно напугало недавнее





происшествие. «Я не могу позволить себе сойти с ума, — подумала я. — Я просто не имею на это права».

Я натянула ночную рубашку и помогла Стэнли надеть его. На сей раз он смиренно подчинился. Мы вдвоем забрались в тесную детскую кроватку, и, хотя я сначала заколебалась, стоит ли укрываться тяжелыми влажными одеялами, в которых мало ли какие паразиты, холод взял свое. Стэнли сначала всхлипывал и беспокойно ворочался, но вскоре пригрелся и затих у меня под боком. А я лежала без сна, слушая его дыхание, и думала, насколько же меньше хлопот доставляет спящий ребенок и проще любить его.

* * *

Но иногда спящие дети тоже доставляют уйму неприятностей.

Мне снилось, что я снова в Скарборо и сижу на террасе, а Стэнли бегаёт по песку у берега. Солнце уже садится, до горизонта окрашивая море розовым плавленым золотом. При всей благодати этой картинке неодолимее всего зачаровывало не столько само место, сколько разлитое в нем чувство: радужные мечты о будущем, каковые, как я думала, естественным ходом вещей развеиваются вместе с порой нежного девичества, чтобы никогда больше не проблеснуть в тенетах брака. Больше всего в этом сне о Скарборо меня радовало упоительное сознание, что мое будущее еще не предопределено и расстилается передо мной белым листом, на котором мне только предстоит начертать свою





судьбу, и от этого еще больше хотелось жить. В первые две недели, проведенные вдали от Лайля, я пребывала в убеждении, что все худшее осталось позади и теперь, когда мы скрылись от него, наши дни будут такими же, как когда-то в Скарборо: долгими и беззаботными, озаренными ласковым предвечерним солнцем. Но во сне я держала в руке листок розовой бумаги, на котором рукой сестры было написано:

Нечего строить из себя такую уж безвинную жертву.

Могла бы и получше стараться.

А я умываю руки.

Подняв глаза от листка, я увидела, что море стало свинцово-серым и катит свои волны на берег. Я в панике заозиралась, но Стэнли нигде не увидела, и, прежде чем ринулась искать его, морские воды настигли меня и ожгли щиколотки ледяным холодом, а потом поднимались все выше, пока я металась и заплеталась в облепивших ноги юбках, до костей промокшая, беззвучно крича и высматривая драгоценную сердцу белокурую головку, но уже зная, что навеки потеряла своего малыша.

Я проснулась оттого, что мне не хватало воздуха. Простыни подо мной были все мокрые, в нос ударил густой сладковатый запах. Было еще темно, я какое-то время лежала, не понимая, что к чему, во мне поднимался памятный еще с детства ужас, когда я шевелила ногами, чувствуя, как липнут к ним одеяла и какой странно мертвой тяжестью давит набитый в них гагачий пух, и подумала было, что это со мной случился детский грех. Но быстро





сообразила, что это Стэнли, и мигом выскочила из кровати. Моя ночная сорочка пропиталась его мочой.

— Стэнли! — я потрясла его за плечо. — Проснись, Стэнли! Давай, давай, мой хороший, выбирайся из кровати.

Сначала он не желал поддаваться на мои призывы, а когда проснулся, разом и окончательно, расплакался от смещения, поняв, что случилось.

— Мамочка, я нечаянно!

— Ах, какая теперь разница? — Мне было не до того, я лихорадочно сдирала с постели простыни, а когда дело дошло до наматрасника из грубой овечьей шерсти, мной овладела сумасшедшая надежда на чудо, что вся эта пакость не просочилась в матрас. Увы, чуда не случилось: матрас был испорчен. — Ох, Стэнли, и как в тебе помещалось столько жидкости? — возопила я, а он стоял и плакал, пока я силилась вытащить матрас из кровати. Жесткий и неудобный, он, видимо, был туго набит конским волосом, и, когда обвис у меня в руках, я невольно вспомнила картинку, увиденную в «Иллюстрированных новостях»*, — «Погребение на море», — на которой моряки выпихивали за борт такое же бесформенное нечто.

— Что же ты не воспользовался горшком? — отдуваясь, простонала я, когда матрас шмякнулся на пол.

Бедное дитя, он закрыл личико руками, и плечи его содрогались. В проникавшем через окно чахлом лунном свете его ноги поблескивали влагой.

— Мне было страшно, — всхлипнул он.

* «Иллюстрированные лондонские новости» — первая в мире иллюстрированная еженедельная газета (позднее журнал), ставшая самой популярной в викторианской Англии. Издавалась в Лондоне с 1842 по 2003 год.





— Ну полно тебе, Стэнли, полно, не плачь. Ничего страшного не случилось, — постаралась успокоить его я. — Мы пойдем спать в другую комнату.

— Я не хочу выходить туда, мама!

— Это еще почему? — вскинулась я, а внутри у меня все сжалось. Слышал ли он те же звуки, что и я? И что хуже: что он слышал их или что не слышал? Бедное дитя! Либо за дверью спальни бродит непрошенный гость, либо в спальне с ним спятившая мамаша; в обоих случаях дела его плохи, не позавидуешь.

— Там темно.

— Ничего там страшного нет. Пойдем со мной.

Я зажгла свечу и повела его на лестничную площадку, правда, моя рука на дверной ручке в нерешительности дрогнула. Пока мы спускались в нижнюю спальню, у меня тряслись поджилки: при каждом шаге я ожидала, что чьи-то невидимые пальцы вцепятся мне в руку или на меня налетит чье-то невидимое тело, но я все равно шла, ведя за собой Стэнли, и держала себя в узде, ни за что не желая показать ему, что умираю от страха.

При повторном взгляде спальня внизу произвела на меня такое же гнетущее впечатление, что и при первом. Древние стенные панели, казалось, поглощали весь свет от моей свечи, по углам клубилась густая, хоть глаз выколи, тьма, а узенькая полоска окна, расположенная слишком высоко, чтобы дать хоть какой-то обзор, добавляла комнате больше мрачности. Я тут же решила, что оставлю свечу гореть всю ночь. И все же обрадовалась, когда в большом платяном шкафу нашла стопку аккуратно сложенных женских ночных сорочек: пускай они пролежали там невесть сколько





времени, но явно знавали тщательную утюжку. То был первый из найденных мною в этом дома следов присутствия женщин моего отца, и меня всю передергивало, когда я помогала Стэнли через голову натянуть одну из тех сорочек. Однако нам, можно считать, повезло, что мы заполучили хоть какую-то одежду.

— Вот видишь? — зашептала я Стэнли, когда мы улеглись в кровати. — Все ведь обошлось, правда? Нам ничто не угрожает, и здесь довольно-таки тепло. Ты рядом со мной, и никто не причинит тебе зла.

Хотя говорила я с большей уверенностью, чем ощущала в себе, но Стэнли мои слова, кажется, успокоили. Я обхватила его, лежащего на боку спиной ко мне, и покрепче прижала к себе, а он вложил свою ручку в мою, и, пока он засыпал, я слушала, как бьется в его тоненьком запястье пульс. Какую острую жалость я испытывала к нему сейчас, когда вырвала его из дома, где он был счастлив и в полной безопасности. Если уж быть до конца честной, то Лайль хоть и обращался со мной жестоко, нашему сыну ничего плохого никогда не сделал. Жизнь Стэнли состояла из одних только приятностей и удовольствий, к тому же домашние наперебой баловали его. Но что вызывало во мне протест, так это то, что при всем внешнем благополучии такая жизнь не несла сыну *добра*: мало-помалу он переймет от Лайля его чванство, развязность, манеру запугивать и браниться, насмехаться и унижать ближнего, обходиться с людьми грубо и жестоко. Что я могла противопоставить этому? Я была всего лишь матерью и не имела никаких прав диктовать сыну, каким мужчиной ему вырасти. Ведь они все на один покрой, разве нет?



Бух, бух, бух.

Я подскочила как ужаленная и села в кровати, прижимая к груди руки. Снова эти шаги! «Бух, бух, бух» — доносилось снаружи, взад-вперед по лестничной площадке перед нашей дверью, а теперь, похоже, к звуку шагов прибавились и удары тростью по стойкам перил. То были шаги расшившего мужчину, который кипел злобой и вознамерился запугать меня. А у меня было много причин бояться его. Я сидела ни жива ни мертва.

Боже, каким ужасом для меня было осознавать, что еще хуже, чем *присутствие* за дверью кого-то неведомого, стало бы *отсутствие там кого бы то ни было*. А ведь за дверью никого *не было*, никого, состоящего из плоти и крови, никого, чей взгляд я могла бы поймать, от чьих ударов могла бы увернуться. Никогошеньки там не было, но меня не покидала уверенность, что против меня замышляется что-то очень недоброе, жуткое.

Шаги за дверью ускорились, точно подгоняемые спешкой; сапоги, тяжелые и злобные, затопали по площадке перед нашей дверью, потом вниз по лестнице, точно в поисках чего-то, затем загрохотали по всему дому, точно их обладатель желал привлечь к себе внимание и не стеснялся дать волю своему злобному норову. Вихрем пронесся в гостиную и из нее, к задней двери, затем к парадной двери, но всякий раз возвращался на площадку перед спальней, топтался на ее каменных плитах.

— Лайль? — не иначе как по глупости прошептала я, когда шаги снова остановились у двери.

Бух, бух, бух.

— Поди прочь, — прошипела я.





Стэнли мирно спал, воздух с тихим свистом выходил из его носа. Ни за что не позволю, чтобы его разбудили; я положила руку ему на спинку, и его умиротворенность передалась мне. Между тем топот продолжался: вверх по лестнице, вниз по лестнице. Иногда он удалялся на верхнюю площадку, и у меня вспыхивала надежда, что зловещий визитер уходит; время от времени шаги замирали, и я ликovala про себя: «Ну вот! Наконец-то кончилось!». Но топот неизменно возобновлялся.

Таким же манером по дому метался Лайль, когда бывал сильно не в духе. Я спешила спрятаться от него где-нибудь в уголке, едва заслышав, что его шаги участились и приобрели целеустремленность, а он, расхристанный — полы сюртука раздуваются парусами, сорочка расстегнулась — вихрем врывается в одну комнату за другой, хлопал дверями, отдергивал гардины, пока не находил меня. Он хватал меня за запястья и приближал ко мне красную, пышущую злобой физиономию, желая прямо мне в лицо излить свою ярость. Если я отдергивала руки, бывало только хуже.

Так вот, я оставалась в постели и слушала, как мой неведомый сосед кругами мечется по дому. И как меня угораздило сбежать от одного злобного субъекта туда, где меня поджидал не менее злобный другой? Неужели таково ниспосланное мне наказание, размышляла я, наблюдая, как постепенно бледнеет узкая полоска окна, возвещающая о наступлении рассвета. Неужели я приговорена вечно тащить этот камень на шее?

Постепенно откуда-то с ближних холмов стали доноситься блеяние овец и прощальные уханья совы. Затем, точно добрая сиделка у моей постели уняла мои страхи, я отдалась на волю мыслей о мирных утренних сценках: вот



с каминной решетки сгребают побелевшую золу; в кастрюльке на огне греется молоко; голова склоняется к обтрепанному молитвеннику. То были сценки из благородного мира, доброго и обыденного для меня, который, как мне верилось, я когда-нибудь снова обрету. И когда утро вступило в свои права, я наконец уплыла в беспокойную дрему. К тому времени, когда проснувшийся Стэнли зашевелился и обвил ручонками мою шею, зловещие шаги за дверью уже стихли.

* * *

Я молилась про себя, чтобы в доме нашлась какая-нибудь еда, потому что выглядела более чем нелепо в ночной сорочке с чужого плеча; Стэнли же в своей совсем утопал, рукава были безмерно длинны ему, и, пока мы пересекали лестничную площадку, он в попытках выпростать из рукавов свои маленькие ручки то и дело производил ими нечто вроде месмерических пассов. Голова у меня гудела от недосыпа, однако в свете дня дом едва ли выглядел прибежищем потусторонних сил, зловещими готическими развалинами; скорее, он был запущенным и обтрепанным, а худшие его изъяны легко бы устранились несколькими рулонами веселеньких обоев. Спускаясь по лестнице, я бросила взгляд на черный гнутый стульчик в холле, куда накануне повесила свою накидку. Плитки пола под его ножками темнели грязными лужицами стекшей с нее дождевой воды, а вот самой накидки на стуле не было.

Я схватила Стэнли за руку, прикинувшись, что хочу поддержать его, чтобы не оступился.





— А здесь кто-то побывал, — сказала я, стараясь, чтобы голос излучал спокойствие и беспечность, хотя сердце бешено колотилось в груди, а в ушах стучала кровь.

У подножия лестницы я украдкой бросила взгляд в гостиную и снова увидела на плитках пола темные пятна высохших лужиц там, где побросала свою одежду: она тоже исчезла. Престранное чувство пронзило меня, все тело бросило в жар и тут же в ледящий холод, я одновременно вспотела и задрожала. Кто-то побывал в доме и без моего ведома ходил по этим комнатам. Чья-то неведомая рука выжала мои промокшие чулки; чужак вывернул наизнанку фланелевые панталоны, совсем недавно прилегавшие к моей голой коже! Эти жалкие пожитки, напоминание о самой жуткой ночи в моей жизни, — вот все, что у меня осталось! И их трогали чужие руки, перекладывали, обыскивали, выворачивали!

Я не могла вздохнуть и была уже на грани обморока, когда открылась задняя дверь и вошла женщина средних лет с ведром в руках. На ее круглом лице застыло выражение усталого недовольства, и я сразу поняла, кто прибрал оставленные мною вещи. Выражение ее лица ничуть не изменилось, когда она увидела меня, хотя моего мальчика разглядывала с удивлением.

— Доброе утро, — поздоровалась я. И, взяв Стэнли за плечи, выдвинула его перед собой, но вопреки моему маневру она, боюсь, успела заметить, как бесформенно обвисло под сорочкой мое тело. Она не поздоровалась в ответ, а только поставила на пол ведро и уставилась на меня, как будто ждала каких-то слов.

В конце концов она проворчала:

— Так это *вы* развели здесь свинарник?



— Я миссис Лайль, — заговорила я уверенно, старательно удерживая на лице широкую улыбку. — А это мой сын Стэнли.

Она метнула в моего мальчика острый, понимающий взгляд и слегка кивнула.

— Вы были наверху? — спросила я.

— А то как же, и уж насмотрелась, чего вы *там* натворили.

Я крепче сжала плечи сына.

— Такого больше не повторится, — сказала я.

Лайль рассказывал мне, что, когда в возрасте Стэнли нечаянно мочился в постель, его наказывали поркой и издевательствами. И я еще тогда подумала, что есть другие способы держать ребенка в повиновении, нежели прилюдно срамить его, — при условии что к нему вообще следует проявлять подобную жесткость.

— Ну и ладушки, — сказала она. — Я миссис Фаррер, приборкой тут занимаюсь. Надолго вас не беспокою.

— Как же это? — проямлила я. — Здесь что, не будет экономки, горничной и гувернантки?

Миссис Фаррер, казалось, сейчас рассмеется мне в лицо.

— И на всех них одна эта комнатуха?

Я так опешила, что лишилась дара речи. Никогда в жизни я не опускалась до обязанностей домработницы! То было занятие для жен мелких клерков, женщин низкого достатка, довольствующихся взятой напрокат мебелировкой, но не лишенных кое-каких претензий. О чем только думал мой отец? Прежде чем я опомнилась, слезы подступили к моим глазам, и так обильно, что застили мне зрение. Еще чуть-чуть — и я зарыдала бы в три ручья, а пока силилась





взять себя в руки, предательская краснота уже проступала на моей шее, и я не могла скрыть ее, как и унять дергающуюся жилку на щеке.

— Мистер Стэнли передал вам сухую одежду, — помолчав, сказала миссис Фаррер уже мягче. — Здесь еще молоко с хлебом для мальчика, а чаю пейте сколько душе угодно. Это он так сказал.

Я молча кивнула, и слезы потоками хлынули из моих глаз. Одна капнула мне на руку возле самого уха Стэнли, но он даже не заметил.

— Да не стойте, — сказала миссис Фаррер. — У меня дел полон рот. А вы ступайте и покормите мальчонку.

Кухней служила каморка в задней части дома, обставленная так же незатейливо и просто, как и другие комнаты, и все же она чем-то неуловимо отличалась от них. Если лестничная клетка отталкивала своей мрачностью, то кухонька вся излучала гостеприимство и сейчас же вызвала у меня прилив такого же умиротворения, какое снизошло на меня под утро. Должно быть, здесь обитал заботливый друг, кому все эти кастрюльки, баночки и книжки служили горячо любимыми компаньонами, кто за этим широким выщербленным столом предложил бы вам горячее питье и добрый совет в придачу. Пока Стэнли ел размоченный в молоке хлеб, я сидела подле него в молчании, уткнувшись остановившимся взглядом в свою чашку чая, и старалась припомнить, что знаю о Твейтах. Они приходились родней моей бабушке, размышляла я, и в памяти всплыло мимолетное воспоминание о чем-то с ними связанном, не то чтобы несколько неприличном, а, скорее, постыдном, как будто они в чем-то повели себя не совсем так, как того требовало





их положение. Но воспоминание тут же ускользнуло от меня. Тогда я встала и отправилась на поиски миссис Фаррер.

Я нашла ее на заднем дворе, склонившуюся над испорченным матрасом. Засучив до локтей рукава, она колотила по нему, вытряхивая конский волос. От ее энергичных усилий задний двор заволокло клубами пыли, застилавшими вид на ближний холм. Так что я не смогла разглядеть ни окружающего пейзажа, ни лошадей на выгоне, ни неба, как будто она стояла на фоне пустого театрального задника.

— При мне был багаж, — обратилась к ней. — Что с ним?

— Так он в гостинице, в «Нью-Инн». — Она разогнулась и уперла руку в поясицу. Двор был весь завален клоками стриженного серого волоса. — Да только переправу затопило. По мосточкам еще куда ни шло, я вон прошла, а карета как пить дать завязнет.

— И сколько еще ждать, пока переправа наладится?

Она покосилась на небо, хотя мало что могла разглядеть сквозь тучи пыли.

— Если распогодится, так несколько деньков. А коли дожди зарядят, так, — она надула щеки и шумно выдохнула, — кто ж его знает?

Меня взяла злость, что я рискую еще долго не получить своего туалетного набора, а мне так его не хватает. Миссис Фаррер между тем принялась сосредоточенно рыться в кармане, пока не извлекла на свет божий жестяную коробочку размерами не больше табакерки.

— Я так полагаю, леди, вам понадобится вот это, — сказала она.

Я не задумываясь протянула руку. Внутри коробочки что-то перекатывалось.



— Что это? — удивилась я.

Она украдкой глянула на меня, точно мы стояли среди толпы и обе боялись привлечь внимание.

— Так пилюли женские. На мяте болотной*. А не подействуют, так мистер Стэнли знает одного доктора. Дите-то у вас еще не зашевелилось, нет?

И снова я лишилась дара речи. Я почти отшатнулась и выронила коробочку, она упала, и пилюли раскатились по плитняку двора. Боже, какой же я была наивной дурехой, когда воображала, что отец держит этот дом для любовных утех! Вовсе не приютом страсти он был и не для греховных удовольствий предназначался. Уединенный, лишенный тепла, мрачный и жестокий, он был местом, где любовные романы отца не начинались, а получали завершение.

— Нет! — вдруг охрипнув, запротестовала я. — Вы, миссис Фаррер, неправильно все истолковали. Совсем не за этим я сюда приехала. Я добропорядочная дама в несколько затруднительном положении, не более того.

— Ах, мадам, — жалостливо промолвила она, — они тоже все *так* говорили.

* * *

Шли дни. Мы со Стэнли, более-менее пристойно одетые, хотя и в безобразные одежды с чужого плеча, каких я сама никогда бы не купила, большую часть дня проводили

* Болотная мята в народной медицине применяется среди прочего как абортивное средство.





в уютной кухоньке, где в очаге всегда горел огонь и в чайнике булькала закипающая вода. Из наших коротеньких, несмелых, не дальше окончания подъездной дорожки, вылазок я уяснила себе, где мы оказались: места и правда были глухие и отдаленные. Дом сидел на гребне торфяного холма, с трех сторон окруженный пустошами, и чаще всего над ним зависали облака. К востоку лежала долина, открывая — если позволяла погода — вид, простиравшийся вдаль от высокой трубы свинцового рудника и вниз к маленькой мельнице в речной долине, где раскинулась деревня. Луга были сплошь подтоплены, у берегов реки плескались мутные заводи, и, глядя на их, я поняла, как ненадежна, должно быть, здешняя дорога там, где ныряет в затопленные поля.

Я затаивалась в уголке под широкими сводами крыльца, а Стэнли носился взад-вперед по дорожке или в маленьком садике и высоким жалобным голоском упрашивал меня поглядеть, что он нашел, или поиграть с ним в новую игру, а сам постепенно приближал ко мне пространство своих игр. Кончалось тем, что мы сидели с ним бок о бок на утлой скамеечке, глядя на заунывный дождь.

Там же, на крыльце, мы сидели одним особенно хмурым днем неделю спустя после приезда, и Стэнли все старался вскарабкаться ко мне на колени, невзирая на то что я, склонившись над книгой, читала.

— Мама, мама, что мы сейчас будем делать?

— Давай-ка чуть-чуть посидим спокойно.

В доме нашлась кучка дешевых душещипательных романов, и я никак не могла сосредоточиться на их примитивных сюжетах, даже если Стэнли не дергал меня, а больше гадала, кто и при каких обстоятельствах надумал привезти сюда эти



книжки. Томились ли они такой же скукой, как я? Скукой и таким же страхом? Слышали ли они те же зловещие ночные шаги?

Потому что шаги каждую ночь возвращались. Стук трости, тяжелая поступь, скрип перил. Теперь я с усталой покорностью узнавала чинимые им помехи. Я назвала его мистер Твейт. Своим топотом и стуками он беспрестанно лишал меня покоя, и каждый вечер, преклоняя голову, я ожидала не отдохновения, а ужаса, и во мне росла уверенность, что снова не будет ни покоя, ни отдыха. А днем глаза мои щипало от недостатка сна, и в голове поселилась неизбывная тяжесть. Я стала нервной, издерганной, слишком вспыльчивой, уязвленной, чтобы быть хотя бы отдаленно подходящим компаньоном для игр моего сына, а он сейчас взял меня ручками за подбородок и приподнял мое лицо от книги, желая заглянуть мне в глаза, его пальцы упирались мне в щеки. Его глаза сияли чистой небесной голубизной. Я ощущала на лице его дыхание.

— Отпусти меня, Стэнли, — сказала я.

— Поиграй со мной! — Он приподнял мне уголки рта, изображая на моем лице улыбку.

— Прекрати сейчас же. — Я отвела его руки, и он скатился с моих колен.

— Противная мама!

Я тоже вскочила с криком: «Я этого не потерплю!», а он рывком забросил руки назад и пронзительно завопил, выплескивая мне в лицо чистейшей воды ярость, что вскипала в нем. В этот миг я видела перед собой не капризного несмышленища, а его отца, чей гнев умел ранить меня, чья нежность в любой момент грозила перерасти в жестокость.



Мои щеки загорелись. Книжка до сих пор была у меня в руках, и, не помня себя, я схватила сына за шкирку и с силой шлепнула книжкой пониже спины — раз, потом другой. На мгновение воцарилась ужасная тишина. Мы со Стэнли в немом оцепенении взирали друг на друга. Потом он разразился слезами, а я, задыхаясь, зачатила:

— Нет, Стэнли, Стэнли, я не хотела...

Внезапно раздался мужской голос:

— Так вот до чего дошел твой, с позволения сказать, эксперимент?

От неожиданности я пронзительно вскрикнула, сгребла Стэнли в охапку и лихорадочно заозиралась в поисках обладателя голоса. А вдруг это мистер Твейт? Он что, теперь способен преследовать меня даже вне нашей спальни?

Но, конечно же, это был мой отец. Он стоял у подножия ведущей к крыльцу лестницы и наблюдал за нами из-под полей низко надвинутой шляпы. Я отпустила Стэнли и во все глаза глядела на него, сконфуженная, вся красная, нервно комкая пальцами свои юбки. Стэнли перестал плакать, он утер хлюпающий нос рукавом и прирос к месту, потирая носком ноги икру другой.

От жгучего стыда я почти онемела, а отец неспешно поднялся по ступенькам, подобрал книжку, брошенную мной, на грязном крыльце и вручил ее Стэнли.

— Ступайте в дом, молодой человек, поставьте книгу на полку и побудьте пока с миссис Фаррер. Люсинда, а мы с тобой немного пройдемся.

С болью в сердце я провожала глазами Стэнли, пока он не исчез в доме. Как это плохо и неправильно — отсылать от себя сына таким несчастным; я всей душой желала снова



быть с ним, прижимать его к себе, но вместо этого повернулась и побрела вслед за отцом вниз по подъездной дорожке. Не иначе как он прибыл с новостями — надо полагать, с планом, чем еще он надумал нам помочь.

Дорожка раскисла и превратилась в грязное месиво, из которого там и тут торчали камни, делая ее малоприспособленной для проезда кареты. Мы с отцом ушли куда дальше наших со Стэнли вылазок, за ворота, где начиналась огибающая гребень холма дорожка, которую чьи-то одинокие героические руки выложили известняковой плиткой. И как только мы вышли на открытое место, ветер забрался мне под поля капора и заметался внутри пойманной мухой. Я плотнее обернулась шалью и ускорила шаг, чтобы догнать отца.

— Вы не думайте, я никогда его и пальцем не тронула, — залепетала я, когда мы отошли на порядочное расстояние. — Только в этот раз.

— Ты слишком обожаешь его, — сказал отец.

Я промолчала. Туча прямо над нами, густая, как свалывающаяся овечья шерсть, пролилась дождем, косые струи секли мне лицо точно ледяными иголками.

— Слишком много ты с ним нянчишься, — между тем продолжал отец. — Какой мужчина может вырасти из него, когда ты так цепляешься за него?

— Во всяком случае, получше, чем его отец.

Он вперил в меня угрюмый изучающий взгляд.

— Ты сейчас расстроена, и я прощаю тебе твои слова. Но они же и показывают, насколько ты не подходишь — насколько не подходит любая женщина, — чтобы вырастить сына достойным мужчиной. Тобой владеют эмоции, ты





взбалмошна, инфантильна. Вспомни, в каком состоянии я тебя сегодня застал.

— Но я никогда раньше не оставалась с ним одна! Он здесь тоскует, ему здесь плохо. А я научусь — я уже учусь. И буду лучше...

— Нет, Люсинда. Его место рядом с Лайлем, как и твое.

— Я не подпущу этого человека к моему сыну.

— К *его* сыну. Непозволительно относиться к заветам брака так, точно они — пустая прихоть. Не так я тебя воспитывал.

Мой отец произносил эти слова на фоне того самого дома, в котором избавлялся от последствий собственных нарушений брачных заветов. Отвращение поднялось в моей душе, но я усилием воли подавила его и тихо сказала:

— Это Лайль попрал заветы. *Он* прелюбодействовал, он распутник, он...

Произнести последнее слово у меня язык не повернулся. Душа восставала даже против мысли об этом слове, вызывая во мне дурноту. Я схватилась за отцовскую руку в перчатке и собралась с духом.

— Он дурно обращался со мной, — прошипела я. — Он делал со мной *такое*...

Отец взглянул на свою руку, зажатую в моей, а потом на меня.

— Он имеет право, — холодно сказал он.

К глазам прилили обильные слезы и снова застлали мне зрение, как раньше, когда я стояла перед миссис Фаррер, а щеки жгло от стыда.

Отец пошел вперед, как будто не замечал меня, словно я была пустым местом. А я подумала, что, наверное, так и останусь стоять здесь навеки, застывшая соляным столбом, как





жена Лота, неподвижная, как Мирра*, из ног которой заветвились корни, вращаясь в землю: кожа от стыда и горя иссохла и огрубела, руки и ноги затвердели, превратившись в стонущие под ветром ветви. Сдаться было бы даже отрадно, подумалось мне, стоять бы и стоять себе на холме, пока ветер не сдует с меня все, что есть во мне человеческого, и тогда, бесчувственная, я навечно останусь торчать здесь одиноким стволом, сухим и бесплодным.

— Я дал тебе передышку, — через плечо бросил отец. — Теперь ты должна вернуться домой.

Я похолодела от ужаса.

— Я желаю развода, — дерзко крикнула я ему в спину, захлебнувшись порывом ветра. И, догнав отца, продолжила: — *Это разрешается*. Его прелюбодеяния общеизвестны.

Он покачал головой.

— Этого недостаточно.

— Тогда я расскажу, что он выделял со мной.

— Все мужчины делают это со своими женами. И ты потащишь свою семью в Высокий суд только потому, что не сумела вытерпеть того, что терпят другие женщины, и притом вдесятеро больше? Ты разве в чем-то нуждаешься? Пускай он поколачивает тебя, но не так уж и часто, пускай изменяет, но от тебя от этого вряд ли убудет, ты-то не приветствуешь знаки его внимания. Живешь в праздности, удовольствиях, ухоженная, прекрасно одетая. — Он с сожалением покачал головой. — У тебя нет оправданий.

* В древнегреческой мифологии Мирра (Смирна) — дочь царя Кипра и мать Адониса. Отец хотел убить ее за кровосмесительный грех, но она убежала и впоследствии превратилась в мирровое дерево.





— Но я...

— Сама-то ты осознаешь, что уже лишилась своего права? Ты *могла бы* держать при себе Стэнли, пока ему не исполнится семь лет, но после твоей выходки... — Он замолк и потер переносицу, устало прикрыв глаза. А когда снова открыл, в них светилась печаль. — Ты же обманом похитила ребенка, Люсинда. Ни один суд не признает тебя подобающей матерью.

Я зашаталась как пьяная, меня затрясло, я была на грани истерики, ужас тугими кольцами сжимал меня. Я звывала к своему рассудку в поисках веских доводов, но сама знала, что ушла в этом не дальше неразумного дитяти, только и способного выплескивать свои чувства, что только подлило бы воды на отцову мельницу. Так что я подавила эмоции и прикусила язык.

— Вода спадает, — заметил отец. — И теперь можно не рискуя отправляться домой, а этот прискорбный эпизод мы вообще вспоминать не будем, ни одним словом. Будем считать, что вы дольше задержались в Скарборо, чем рассчитывали. И покончим на этом.

Смеркалось, и дорожка, по которой мы шли, широкой дугой огибавшая наш дом, снова приблизила нас к нему. Я взглянула на окна в надежде высмотреть за стеклом Стэнли, но мой взгляд случайно упал на оконный переплет этажом выше, изнутри забранный стенными панелями. Я увидела нечто необычное. Сначала я не поняла, в чем дело, а потом четко увидела: к стеклу всей пятерней прижималась человеческая рука.

Меня пробрал холод, но я не позволила себе спотыкаться и продолжала идти мерным шагом, разглядывая руку





в окне и не веря своим глазам. Кто был в моей комнате? И возможно ли это? Нет, решительно *невозможно*: какой бы то ни было доступ к оконному стеклу отсутствовал, оно же заколочено! Между оконным стеклом и панелями не смог бы уместиться даже кто-то ростом и комплекцией со Стэнли. Тем не менее рука четко выделялась на темном фоне, бледная, с растопыренными пальцами, точно вызывающая о помощи. Отец тем временем продолжал говорить. Марианна даже словом не обмолвится, а Лайль давно простил мне мою глупость — но я молчала. Заговорить с ним о привидениях и предрассудках — такое же безумие, как о разводе и материнской любви. Глаза засадило, и, желая унять боль, я прижала к глазницам холодные пальцы. Я столько дней мучилась без сна.

— Отец, — позвала я, — как случилось, что вы стали владельцем этого дома?

— Твейты приходились мне родней со стороны матери. Эмили Твейт — последняя миссис Твейт — была ее старшей сестрой. *Она* покинула своего мужа.

Ах вот оно что.

— Видимо, у нее имелись на то веские причины, — заметила я.

— Она бросила своих детей, — возразил отец. — И их куда-то услали; отец едва ли смог бы в одиночку вырастить их. Он не дожил до старости, как, боюсь, не дожили и они. Ты, вероятно, думаешь, что жены не так уж и важны, но десятка, знаешь ли, обрушит карточный домик с такой же легкостью, как туз.

— А что случилось с *ней самой*? — настойчиво допытывалась я.



— Кто знает? В Париж подалась, а может, в Лондон — туда, где кончают все падшие создания. Нисколько не удивлюсь, если она околачивается под арками Адельфи*.

Мы поравнялись с высокой садовой стеной и прошли в калитку. Я снова взглянула на окно, но рука исчезла, а там, где она была, я теперь четко видела стенные панели, как всегда, темные.

— Я знаю, что здесь происходит, в этом доме, — тихо сказала я. — С теми женщинами.

Он застыл на месте и какое-то время молча смотрел на меня.

— И?

— Если все это выйдет наружу...

Он рассмеялся.

— Ты только поставишь себя в глупое положение. Есть большая разница между секретами и вещами, о которых никто не желает слышать. Вздумаешь учинить на этой почве скандал, в конечном счете пострадаешь больше, чем я.

В тот вечер сумерки подступали незаметно. Не было длинных теней, закатное солнце не золотило небосвода; дневной свет постепенно угасал, и напознала темнота, неотвратимая, как приливные воды. Когда мы подошли к крыльцу, отец сжал мою руку.

— Я знаю, что ты хорошая девочка. Завтра я приеду забрать тебя и Стэнли.

* Арки Адельфи образовывали арочный мост Ватерлоо через Темзу (старый, построенный в 1817 году). Поскольку в викторианском Лондоне набережной не существовало, арки Адельфи, когда не затоплялись водой, служили прибежищем для всякого сброда.





Тем вечером, как и во все предыдущие, Стэнли, пока я читала книжку, заснул на кушетке в гостиной. Не было и речи о том, чтобы он спал наверху в одиночестве: я не вынесла бы мысли, что какое-то жуткое потустороннее создание преграждает мне дорогу к моему сыну. Я все сидела, погрузившись в горестное уныние. Я-то думала, что отец на моей стороне и привез нас сюда, чтобы защитить от Лайля, а он, оказывается, все это время был на стороне мужа. Развод, которого я страстно желала, был невозможен, и даже если отец позволит мне остаться здесь, мистер Твейт не даст мне покоя. Я взглянула на Стэнли, мирно посапывавшего рядом со мной на кушетке, и поняла, что если он должен возвратиться к Лайлю, то я обязана поехать вместе с ним. Даже если это означало, что он станет свидетелем моих страданий; даже если он со временем начнет презирать меня, даже если вырастет человеком, которого я буду бояться. Как бы все ни обернулось, мое место рядом с сыном.

Я тихо поднялась и пошла собрать наши немногочисленные пожитки. Потом взяла Стэнли на руки. Он был тяжелый и беспокойно зашевелился, когда я поднимала его, но, как только понял, что это я, положил головку мне на плечо, его маленькие ручки и ножки снова расслабились в покое. Я могла бы до бесконечности прижимать его к себе, впитывая его детское тепло, исходившее от кожи за его ушком, безграничную доверчивость, какую выражали его полусогнутые во сне пальчики. Но я очнулась от мечтаний и понесла его наверх.





Мистер Твейт явился глубокой ночью, и свеча в комнате тут же угасла. Я села в постели, чувствуя, что терпение мое на исходе: решено, завтра я уеду отсюда, и он больше не сможет запугивать меня своей зловещей поступью. Теперь она только распаляла во мне злость.

— Убирайтесь прочь, — сказала я. — Оставьте меня в покое!

Он разъяренным зверем заметался по лестничной площадке, стойки перил загудели под ударами его трости, плитки пола заскрипели. Послышались треск, затем звон разбитого стекла: ясно, это картина свалилась со стены.

— Вы добились своего, — проговорила я. — Я уезжаю. А теперь дайте мне спать, сделайте такую милость.

В ответ снизу донеслись новый шум и звон: это грохнувшись на пол «Плот “Медузы”». Еще не бывало, чтобы он в своих метаниях по дому сокрушал все на своем пути. Каменные плиты пола содрогались под его поступью: занавески кровати заколыхались, стаканы на комоде сдвинулись и задребезжали.

Я встала, пересекла комнату и притаилась у двери. Свечу поставила на пол у ног. Мне казалось, что я кожей ощущаю его присутствие по ту сторону, сгусток тьмы, клубящийся, злобный, клокочущий от раздражения. Я подумала: «Завтра, где бы я ни была, я смогу заснуть», — и слабое подобие глупой радости охватило меня.

— Мистер Твейт, — позвала я.

Не то хрюканье, не то хмыканье донеслось из-за двери.

— Не я причина ваших бед. Я не ваша жена. Миссис Твейт больше нет, вот и вы возвращайтесь туда откуда пришли.





Тишина. Долгая тишина. Лишь вдохи и выдохи спящего Стэнли, точно слабый морской прибой тихим вечером, — легкие, размеренные, безмятежные. Пускай я не была ему хорошей матерью, но я ею стану, я исправлюсь. Я уже приняла ту истину, что нам не освободиться тем путем, какой я себе воображала: не будь Лайля, были бы другие, ибо мужчины все на одну колодку, каков один, таковы и другие, и победить эту гидру мне не по силам. Да что говорить — мертвые, и те туда же! Я опустилась на колени и прижалась лбом к двери. Пускай я испытывала облегчение, предвкушая хотя бы физический покой, отдых и мирный сон после наших злоключений в этом доме, но теперь к нему примешивалась тоска по моим недолговечным радужным надеждам, которые расцветали во мне в Скарборо при виде беспечно резвящегося на песке Стэнли. Но надежд больше нет. Мне не победить. Я сдалась.

И тут, словно в подтверждение, я услышала, как снаружи задвигают засов.

Что это? Я выпрямилась и толкнула дверь, сначала легонько, потом со всей силой отчаяния. Дверь заперта, в этом нет сомнений, притом снаружи. Я встала и подергала дверную ручку, но, пока Стэнли спал, сильно дергать и шуметь я не решалась. Каким бы жутким ни было мое положение, насколько оно усугубится, если Стэнли приоткроется хотя бы частица ужасной правды!

— Тебе не выйти, — донесся снаружи низкий, надтреснутый голос.

Свеча мгновенно погасла, словно фитилек прижали невидимые пальцы: я с трудом сдержала полузадушенный крик. Еще одна свеча горела на комодe, но и ее постигла та



же участь. В комнате наступила могильная тьма, такая плотная и непроглядная, что перед глазами, жаждущими хотя бы вообразить отсутствующий свет, поплыли, то собираясь, то рассеиваясь, красные и зеленые пятна. Я снова попробовала открыть дверь, но тщетно. Тогда я на ощупь двинулась к окну, перебирая руками по стенным панелям, наталкиваясь на ставшие незнакомыми предметы. Я надеялась впустить в комнату хоть каплю лунного света, если, конечно, таковой светил снаружи, но не сумела просунуть пальцы под панели, чтобы хорошенько ухватиться за них, к тому же они были приколочены на совесть. Сердце колотилось в груди; я присела на краешек постели, сложив руки на коленях, и нервно сплетала и расплетала пальцы.

Снова послышались звуки — теперь снизу, из кухни: зазвенели банки, вдребезги разбиваясь о каменные плиты пола, загремели кастрюли.

— Ты не уедешь отсюда!

Он, как зверь в клетке, метался взад-вперед по лестничной площадке, его топот то и дело сопровождался звоном и грохотом падающей кухонной утвари. Книги валились с полок, деревянные стулья подпрыгивали и раскачивались. Он больше не старался запугать меня, нет, он чинил погром в знак своего триумфа. В нем выиграл спортивный азарт, и, видя, что его противник обессилел, он норовил еще большее уязвить его, ибо ему мало было взять надо мной верх, ему требовалось растоптать меня.

Я легла поверх одеяла на постель рядом со Стэнли и позволила ярости мистера Твейта снова сотрясать воздух вокруг моей головы. Одинокая слезинка скатилась по щеке, зарываясь в волосах, сначала горячая, а в изгибах уха уже



холодная. Я думала о том, что ждет меня, когда я вернусь к Лайлю, и что после моей неудавшейся попытки убежать от него он начнет обходиться со мной с еще большей жесткостью. Прежде меня, по крайней мере, не в чем было упрекать и я не заслуживала *настолько* дурного обращения. А сейчас, что ни говори, у него появился повод. Мой проступок оправдывает все, что он со мной ни сотворил бы.

Вдруг что-то привлекло мое внимание: мимолетное, робкое, не такое, как безобразия мистера Твейта, но столь же явное и несомненное. Не скажу, что я увидела, услышала что-либо или оно коснулось моей кожи. Но я тут же распознала чье-то присутствие в комнате и насторожилась.

Эмили.

Имя не было произнесено вслух, скорее, на меня повеяло легким приветственным дуновением воздуха.

Эмили, Эмили — какие потусторонние, какие бестелесные звуки!

Она стояла на фоне заколоченного окна рядом с погасшей свечой на комод, но я все же ее видела: смутную, прозрачную, точно ночной мотылек, фигуру, подрагивающую, как подрагивает ночная тьма; видела выпцветшее, все в пятнах платье по моде шестидесятилетней давности, свисавшие клочьями подол и нижние юбки, будто кто-то вырывал из них целые клоки, движимый причинами, которые я не осмеливалась вообразить. Волосы у нее были длинные и спутанные, а сама она — истончившейся, призрачной, точно тлен зашел уже слишком далеко, отчего ее суставы вспухли, высохшие губы едва смыкались поверх зубов, глаза глубоко ввалились в глазницы.

Снаружи по-прежнему бесновался мистер Твейт, бормоча:



— Тебе не уехать! Тебе не уехать! *Ей* никогда не уехать отсюда!

От ужасной догадки я в страхе зажала рукой рот. Никуда-то миссис Твейт не уезжала. Вероятно, она только угрожала мужу, что уйдет, а может быть, даже пыталась вырваться — только не преуспела в этом. Наверное, она сидела здесь, слушая яростные вопли мужа и приглушенные голоса своих детей, когда их увозили, а потом их голоса совсем стихли и осталась одна тишина. Должно быть, она наблюдала, как в оставленной ей полоске окна дневной свет сменяется ночной темнотой, складываясь в дни, времена года, которые распускались, потом увядали, а она, беспомощная, все ждала и ждала. Но никто не пришел за ней, одна только Смерть.

Между тем она повернула голову на истончившейся, точно птичьей, шее и взглянула на меня.

Я было отшатнулась, но что-то удержало меня. Несмотря на свой кошмарный вид, она источала доброту и сострадание. И хотя она не двигалась с места, казалось, подошла и присела рядом со мной, как делала это в прежние времена Марианна, как сделал бы близкий друг, желая разделить со мной мои горести. Оттого что давно уже никто не выкалывал мне подобного участия, я еще горше заплакала. Точно так же она сживала в этой глухой тьме рядом с другими женщинами, которые попадали сюда по милости моего отца и ожидали, пока подействуют пилюли, или после того как доктор, покончив с ужасным делом, получал свою плату. Вероятно, какая-то из них, а может, и две, гораздо дольше задержалась здесь, нося во чреве ребенка, которому ей не суждено было стать матерью. Она разделяла с ними их страдания. Она и со мной была здесь все это время, это она





наполняла кухоньку уютным теплом, она внушала мне, что нам ничто не грозит, вселяла в меня кротость духа.

Стэнли вздохнул и повернулся на бок. Я положила руку на его плечико, желая почувствовать родное тепло, его косточки, его тельце, мерно вздымавшееся и опадавшее с его сонным дыханием. Тихие слова коснулись моего сознания:

— Ты можешь уехать.

Я заколебалась.

— Ты должна уехать.

— Да, завтра отец отвезет меня домой, — произнесла я вслух.

Эмили Твейт покачала головой.

— Нет! Нет! Ты не должна ехать с ним.

Она с усилием отделилась от окна и вышла на середину комнаты. Ее члены, застывшие и неподатливые, расхлябанно болтались в суставах, отчего она двигалась шаткой, неуклюжей походкой, точно марионетка. Я ощутила легкое дуновение от ее платья, когда она проходила мимо меня, заметила колтуны в волосах, длинные пожелтевшие ногти. Ее рука указующим жестом обращалась к двери.

— Твейт послан тебе в предостережение, — донеслось до меня. — Я послана тебе в предостережение.

Я вдруг словно перенеслась в Скарборо. Увидела розовый свет, золотистые отблески на песке, руки моего сына, покрасневшие в холодной воде, его сощуренные глаза, в которых прыгали искорки радости. Потом упала темнота, и мы с ним лезли на холм, считая шаги, и я совсем не сердилась, что он тащит меня наверх, а поднимала лицо к звездам на небе и мечтала, чтобы наше восхождение никогда не кончилось.



* * *

Меня разбудил звук, и я не сразу поняла, что кто-то снаружи дергает дверную ручку. Я еще блуждала в лабиринтах не то сна, не то яви и вскрикнула от испуга, когда заскрежетал засов и дверь распахнулась. С площадки пролился бледный дневной свет, но и его было достаточно, чтобы я разглядела стоящего в дверях отца.

— Что все это значит? — спросил он, сбитый с толку. — Почему внизу такой погром? И почему вы заперты?

Я потеряла глаза. Заметила, что все еще лежу поверх одеяла, полностью одетая, как и предшествующей ночью, а Стэнли у меня под боком спит как сурок, зарывшись в одеяла. Моими последними воспоминаниями о прошлой ночи была миссис Твейт: ее ссохшееся личико и указующая рука.

— Как такое случилось? — требовательно вопрошал отец. — Кто мог это сделать?

— Должно быть, это Стэнли слишком сильно хлопнул дверью, — сказала я. — Я и раньше замечала, что засов разболтался.

Сердце все еще сильно колотилось, и вздумай отец осмотреть меня повнимательнее, сразу заметил бы, как от резких ударов пульса подрагивают мелкие складочки платья у меня на груди и кожа на моих запястьях. Я встала с кровати, оправила юбки и подошла к туалетному столику.

— По счастью, ты вовремя оказался здесь, — беспечным тоном заметила я.

— Во всяком случае, ты одета и готова к отъезду, — ответил он, вступая в комнату с несвойственной ему нерешительностью.





Я наблюдала за ним в зеркало, но не сумела поймать его взгляд, потому что он тут же отвернулся к постели и задумчиво уставился на спящего Стэнли. Он нарочито не отводил взгляда от внука, пока я расчесывала и укладывала волосы, затем подошел к окну и внимательно осмотрел его фортификацию.

— Не очень-то мне понравилось сидеть здесь взаперти, — сказала я, приглаживая волосы. В зеркале я заметила, что рядом с отцом возникла еще одна фигура, бледная и угловатая, мутным пятном на стекле, отражением лучика света.

— Ты можешь ехать, — произнесла она.

Я вся похолодела и поскорее вжала руки в столешницу, надеясь унять дрожь, но они по-прежнему тряслись, локти ударялись о ручки ящичков.

— Миссис Фаррер здесь? — спросила я. — Я должна с ней попрощаться.

— Я разрешил ей сегодня не приходить, но как вижу, во вторник ее ждет масса уборки.

Я кивнула, уложила и заколола последний локон, перевела взгляд на постель. Стэнли уже проснулся и сидел, озираясь вокруг.

— Ты уже не спишь! Вставай, мой мальчик. Нас ждет приключение, ты готов?

Он замотал головой и снова улегся.

— Нет, мама, только не это.

— Ну будет тебе, это в последний раз, — принялась уговаривать я. — Еще один разочек, и больше никаких разъездов.

Я подошла, взяла его на руки и посадила к себе на колени, а сама уткнулась лицом в ямку на его затылке, не испытывая ни малейшего смущения, хотя знала, как презирует отец телячьей нежности. Эмили Твейт взидала на *него*, и, хотя в ее





чертах отражались упрек и сожаление, я уловила еще одну эмоцию: решимость. Я быстро одевала Стэнли, а он в оцепенении прижимался ко мне горячей со сна щечкой, и тут в моей голове снова зазвучал голос миссис Твейт: «Ты можешь уехать. Ты можешь уехать. Ты должна уехать».

Она по-прежнему держалась возле стены и, пригнувшись, медленно кралась к отцу, не сводя с него глаз, точно пантера в неволе, пускай иссохшая и истощенная, но все еще верная охотничьему инстинкту. Мною снова начал овладевать страх.

— Я стану ему предостережением, — шептала Эмили Твейт. — Пусть узнает, что наделал.

Отец тем временем просматривал книжки, стопкой лежавшие на подоконнике, такие же, как в кухне, дешевые слезливые романы, и губы его презрительно кривились.

— Мы сейчас поедem в дедушкиной карете, — жизнерадостно сказала я Стэнли.

— В прошлый раз мне совсем не понравилось, — возразил он, пряча лицо в мои юбки.

— В этот раз все будет по-другому.

Странная атмосфера разливалась в комнате, словно аромат духов — и сладостный, и одновременно полный неутоленной печали. Эмили Твейт сидела в уголке, подпирая голову сложенными руками, и какое-то мгновение мне казалось, что отец видит ее, слишком надолго он замешкался перед зеркалом, украдкой разглядывая в его отражении комнату. Впрочем, он многое что мог разглядывать и многое могло тревожить его.

— Отец, вы идете? — спросила я, подхватила свой саквояж и повела Стэнли из комнаты, легонько подталкивая перед собой.





Он выглядел задумчивым, казалось, в его голове витают мысли, никогда прежде его не посещавшие.

— Иду, — ответил он.

Стэнли уже громко топал вниз по лестнице. Я подождала, пока отец снова повернется спиной, и тихо затворила дверь спальни. Затем с величайшей осторожностью беззвучно протолкнула засов в пазы.

На полу в холле валялись осколки стекла и распластанные кверху обложками книжки, в кухоньке все было перевернуто вверх дном. На спинке одного из стульев висело теплое пальто отца, и я принялась шарить по карманам, пока не нашла портмоне и во внутреннем отделении толстую пачку купюр, достаточную, чтобы нам со Стэнли продержаться какое-то время.

Он наблюдал за мной, непонимающе хмуря бровки.

— Все в порядке, мой маленький, — успокоила я его. — Дедушка присоединится к нам позже. Надевай свою шляпу, и пойдем.

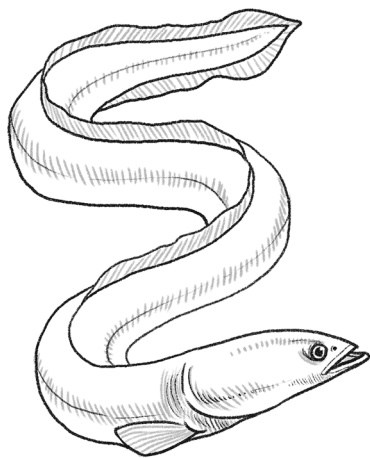
Я взяла его за руку, и мы вышли за порог. Внизу у лестницы дожидалась карета, лошади нетерпеливо встряхивали головами.

Выглянуло солнце, напоследок открыв нашим взорам вид на долину внизу, подернутую перламутровой дымкой; окна ферм и коттеджей взблескивали в солнечных лучах, дымовая труба рудника, казалось, выплывала из миража. Луга и ручьи, облупленные стены и боярышниковые изгороди окутывала розовая вуаль. Я обняла Стэнли и крепко прижала к себе. Затем помогла ему забраться в карету, а сама в последний раз оглянулась на дом. В окнах было пусто.

— Трогай, — велела я кучеру. — Вези нас в Скарборо.

ПОЮЩИЕ БОЛОТА*

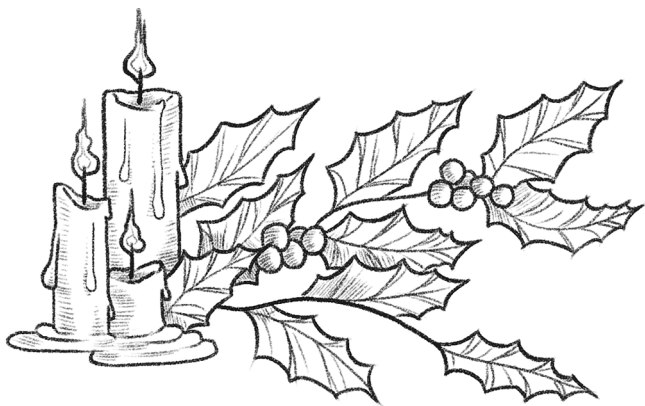
Наташа Полли



STONE HEDGE

* Этот рассказ является продолжением романа Наташи Полли «Часовщик с Филигранной улицы», в нем действуют те же герои: молодой телеграфист Таниэль Стиплтон, японский иммигрант со сверхспособностями Кэйти Мори и девочка Шесть, получившая такое имя в рабочем доме, где детей называли по номерам.

STONE HEDGE



Кэйта Мори умел вспоминать будущее, и рассказывая он честно все, что будет, а такое за ним водилось нечасто, радости бы это ему не доставляло.

Притворяться он, слава богу, не очень-то умел, да и особой надобности в том не было. Таниэль довольно давно снимал у него комнату, чтобы всегда замечать, когда у Мори на душе скребут кошки.

Этим вечером они вдвоем прогуливались по рождественской ярмарке в Японской деревне в Найтсбридже. Когда Таниэль года два назад только поселился там, Японская деревня представляла собой сущую малость, всего лишь декорацию для выставки японской культуры, и умещалась в одной, хоть и просторной, выгородке; но выставка имела бешеный успех у лондонской публики, и когда деревня по случайности сгорела, то на ее месте возвели новую, намного лучше прежней, с изящными горбатыми мостиками, пагодами и ярко раскрашенными часовенками, в которых позвякивали молельные колокольчики. Жители деревни, по большей части мастера прикладного искусства и ремесленники, выставили на рождественскую продажу все, что у них было. Повсюду тянулись прилавки и висели



фонарики, отбрасывая блики на украшения из эмали, зонтики, рулоны шелка для кимоно. Владелица чайной лавки наняла дополнительную прислугу, и те сновали рядом с подносами, предлагая посетителям дымящийся чай маття; его ярко-изумрудный цвет невольно наводил Таниэля на мысли о роскошных мхах, произрастающих только в самых богатых лесах. Чай предлагали с разбавленным sake или виски, и, поскольку все вокруг покуривали трубочки, в ночной воздух колечками поднимался густой сладковатый пар, подкрашенный оранжевым светом фонариков. Над толпой у прилавков стоял гомон из английской речи вперемешку с японской. Предпраздничная атмосфера бурлила предвкушением радости, точно щекочущие пузырьки шампанского, если держишь пальцы над свеженалитым бокалом.

Мори казался таким задерганным и нервным, что звеневшие вокруг детские голоса грозили в любую минуту вывести его из себя.

— О чем задумался? — отважился поинтересоваться Таниэль, повыше поднимая воротник пальто, чтобы защититься от ледяного ветра.

Прямо перед ними Шесть отчаянно торговалась с продавцом фейерверков, и на лице у того уже проступало беспокойство, что сейчас ему окончательно задурят голову.

— Пора его спасать, — ответил Мори, кивая в их сторону. — Не то она вывалит ему на голову новую порцию цифр.

— Что-то еще? — уточнил Таниэль, привыкший к отвлекающим тактикам Мори.

— Со мной — нет, я в порядке, — заверил Мори, но они почти поравнялись с прилавком продавца фейерверков, и рассыпающиеся искры резко высветили его лицо, отчего





глаза и волосы приобрели цвет матово-черного непрозрачного стекла. Он вдруг резко выбросил руку в сторону: раскрытая ладонь оказалась под уставленным чашками с чаем маття с виски подносом за какое-то мгновение до того, как мальчик-служка уронил бы его, потому что ему под ноги бросилась бродячая собака. Мори передал поднос мальчишке.

Таниэль с некоторыми угрызениями совести подумал о чашках маття с саке на подносе. Вероятно, с его стороны было не очень-то порядочно вспомнить, что Мори происходил из почтенного самурайского рода, одного из стариннейших в Японии, который вот уже тысячу лет взращивал хрупких барышень росточком менее пяти футов* и кристально чистых душой рыцарей. Одной чашки хватило бы, чтобы Мори быстро опьянел и впал в откровения о будущем.

Глаза Мори скользнули в сторону и вниз за мгновение до того, как Шесть подбежала к ним, обнимая большой бумажный пакет, доверху набитый фейерверками, — продавцу еще не случалось в таком количестве сбывать свой товар восьмилетнему ребенку. Шесть, по своему обыкновению, не стала брать их за руки, а ловко вытащила часы-луковицу сначала из кармана у Мори, потом у Таниэля, чтобы идти между ними, держа их на поводках, насколько позволяли коротенькие цепочки часов**.

* 152,4 см.

** Они стали чем-то вроде семьи по воле обстоятельств. Прежде Шесть присылали к Мори из рабочего дома выполнять кое-какую тонкую работу по часовщицкой части, но однажды Мори просто взял и не отвел девочку обратно, и теперь она жила с ними в их мансарде. Она сказала, что с радостью усыновит их обоих на постоянных началах, если они и дальше будут вести себя тихо и благопристойно. *Прим. авт.*





Таниэль подтолкнул ее в бок.

— Зачем тебе столько фейерверков, детка?

— Затем, что мы будем запускать их в Рождество, и Мори увидит, что оно больше похоже на Новый год, чем на языческий праздник, когда вламываются в чужие дома и досаждают отступникам.

— Ладно, — вздохнул Таниэль, — так и быть, в четырнадцатый раз объясняю *вам обоим*, что в рождественском предании нет ни слова о том, чтобы врываться в чьи-то дома и пугать отступников. Его суть в том, что Пречистой Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что на нее снизойдет Святой Дух, — собственно, и все!

— Но все же сделай милость, — промурлыкал Мори, — и беги со всех ног, если какой-нибудь чокнутый незнакомец попытается снизойти к тебе со своим святым духом.

Таниэль показал ему кулак.

Они уже вышли с рождественской ярмарки, и Таниэль не сразу заметил, что Мори как вкопанный остановился на краю мостовой. Они как раз собирались переходить улицу, по которой сплошным потоком двигались кебы и конские повозки, а также толпы людей, направлявшихся на ярмарку и с ярмарки. Омнибус, украшенный на боку рекламой чая «Липтон», занесло на льду, и несколько мгновений он кренился, балансируя на двух колесах, пока два остальных с грохотом не обрушились на булыжную мостовую. Кое-кто из дам помоложе устроили кучеру небольшую овацию.

— Кэй! — окликнул Таниэль.

Мори скупно улыбнулся.

— Прошу прощения, — отозвался он. — Очень оживленная улица, не правда ли?





Таниэль не сразу сообразил, в чем дело. А когда до него дошло, его взяла досада на себя, что он не вспомнил раньше. Конечно, если ты провидец, оживленная улица, да еще с обледеневшей мостовой, непременно оживит в тебе кучу жутких потенциальных воспоминаний о том, как тебя раздавливают колеса или копыта*.

Но не спросишь же Мори, желает ли он постоять и подождать, пока не очухается от своих видений, ибо к подобным сигналам тревоги он относился с тем же почтением, с каким большинство из нас относятся к клятвам.

— Шесть, — воззвал Таниэль, предпочтя не трогать Мори, — как думаешь: стоит нам купить горячего шоколаду?

Рядом как раз располагался прилавок, и к нему выстроилась очередь, так что, когда она подойдет, столпотворение на дороге, надо полагать, уже рассосется.

Взгляд Шесть не сказать чтобы зажегся мгновенным восторгом. Торговец горячим шоколадом стоял со своим прилавком в стороне от их привычного маршрута домой, а внезапные изменения в отлаженных процедурах Шесть

* В своих воспоминаниях Мори видел *возможные* варианты будущего. Таниэля это поначалу обнадеживало, ибо само наличие разных вариантов убеждало, что будущее не предначертано на скрижалях. Если Мори вспоминал, что его сбивает однокопный экипаж, это еще не означало, что так оно и будет, а только что такой шанс вот-вот подвернется. Сам Мори имел ту точку зрения, что если следуешь по жизни с памятью, каково это — в следующий миг сверзиться с лестницы, быть убитым или претерпеть иное, не менее жестокое, телесное неудобство, то будет чудом, если ты за какую-то неделю не превратишься в неврастеника. Но Мори был не из слабонервных, и если в его голове проносились даже самые ужасные картины, то внешне это никак не проявлялось: он обладал одной из тех железных натур, что больше сродни непотопляемому океанскому лайнеру класса люкс, чем утлым суденышкам, коими плывет по волнам жизни большинство людей, но он в ответ угрюмо возражал, что даже если так, то айсберги все равно никто не отменял. *Прим. авт.*





не поощряла. Да ей волю, она бы определила их двигаться по рельсам, как поезд, в соответствии со строгим расписанием и без остановок по требованию.

Таниэль сжал ее плечо, давая понять, что действует не из пустого желания досадить ей. И заметил ее направленный на Мори изучающий взгляд.

— Думаю, — угрюмо буркнула она, — это будет шикарно.

* * *

Часовая мастерская Мори в доме на Филигранной улице по случаю Рождества не работала. И когда все трое вошли внутрь, Таниэля охватила немного виноватая радость. Он любил мастерскую, ему нравилось сияние крохотных блестящих колесиков и шестеренок, над которыми колдовали часовщики, но как же приятно ему было осознавать, что сейчас никто не побеспокоит их, не зайдет в их дверь и не затрезвонит в звонок на конторке. До самого Нового года дом в их полном распоряжении, во всех каминах пылает огонь, светятся лампочки, вплетенные в гирлянды остролиста, сбегające вниз вдоль перил лестницы. Мори собственноручно изготовил лампочки и специально придал нитям накаливания причудливые формы: деревцев, звездочек, японского замка. Лампочки давали медовый свет, теплый и невозможно уютный.

Таниэль почти сразу заснул, когда без сил рухнул в кровать после того, как Мори плеснул Шесть глинтвейна. Бока у Таниэля ломило от смеха. Шесть, обычно такая тихая и спокойная, придя в легкое подпитие, устроила ему





вразумление на тему, чем так возмутительна его манера ни с того ни с сего напяливать другой пиджак, и вообще не снизойдет ли он до *неслыханной* любезности заранее вписывать пиджак в табличку «Важные вещи, которые могут приключиться сегодня»*, что висит у них в кухне на стеночке.

Таниэль слабо представлял себе, который был час, когда его что-то разбудило. Он сел в постели и прислушался. Смутно припоминалось, что вроде бы он слышал какой-то грохот, но затуманенная сном память буксовала. И когда кто-то постучал в его дверь, он подпрыгнул от неожиданности.

— Шесть, ты там в порядке? — спросил он в темноту. Должно быть, он слышал, как она топает по лестнице из мансарды. — Не заперто, детка, входи.

— Это я, — произнес из-за двери низкий коньячно-золотой голос** Мори. Казалось, он чем-то потрясен. — Можно я...

— Да, — хрипло откликнулся Таниэль.

* Таблица «Важные вещи» доказывала одно из преимуществ жизни под одной крышей с провидцем. Мори, как только вспоминал что-нибудь из будущего, делал себе пометки: возможное убийство в подземке завтра утром, сильный ливень. Отдельная колонка в таблице отводилась под события, тревожившие исключительно Шесть. «Вторник: с директрисы Дженкинс станется устроить стихийную школьную экскурсию в виварий». Шесть считала, что за штучки вроде стихийных экскурсий директриса Дженкинс заслуживает, чтобы ее убили. Мори пришлось сильно постараться, прежде чем он уговорил Шесть на более безобидную месть: взорвать начиненную сахарной пудрой хлопушку. Таниэлю, вероятно, следовало вмешаться и указать Мори, что нормальные люди не учат детей изготавливать примитивные бомбы, но слишком уж его забавляли их подготовительные эксперименты в саду. *Прим. авт.*

** В «Часовщике» Таниэль приписывает звукам, в т. ч. голосу Мори, различные цвета.



Они уже три года как жили под одной крышей, но Мори еще ни разу не стучался по ночам в дверь к Таниэлю. Обычно бывало наоборот, и Таниэль в таких случаях долго мучился в нерешительности. В нем никогда не было уверенности, желанный ли он гость. Мори всегда впускал его, но что взять с Мори: он не англичанин и не христианин, он вырос в краях, где стучаться в дверь к другу — самое обычное дело. Так что согласие Мори означало, что он просто проявляет вежливость. Сам Таниэль не решался спросить. Пускай это было малодушие, но, покуда Таниэль не знал ответа, он мог жить надеждой. Мори тихо скользнул в комнату Таниэля, снова закрыл дверь и скрючился на ближайшей стороне кровати, прислонившись к стене и обхватив руками колени.

— Спасибо. Прошу простить. Явственные кошмары.

— Происшествия на дороге? — мягко спросил Таниэль. Он пододвинул одеяло, чтобы Мори тоже хватило укрыться. От окна рядом с кроватью веяло холодом и лунным светом, поперек кровати залегли крестообразные тени.

Мори кивнул.

— Время года, в нем все дело. Повсюду суета, все носятся как угорелые. Никак не могу толком успокоиться. — Он запустил пальцы в волосы. — И год от года все хуже. Не хочу даже носа на улицу высовывать. Понимаешь, я... я без конца вспоминаю, как меня переезжают, как я падаю, как Шесть попадает под колеса кеба или ты, и дальше больница, похороны и...

— Так и не выходи пока. На это у нас есть я, — сказал Таниэль, всегда благодарный случаю на что-нибудь *сгодиться*.





Чаще всего не годился. Он служил мелким клерком в Форин-офисе. — Продукты буду покупать и всякое такое.

Мори печально взглянул на него.

— Но это означает сдаться.

— Не начинай. Возьмись я упорно делать что-то, что причиняет мне боль, ты бы первый отвесил мне подзатыльник и велел сидеть смирно.

Мори рассмеялся.

— Что верно, то верно.

Таниэль несмело закинул руку на плечи другу и притянул его ближе к себе. У него аж дух занялся от глупой радости, что Мори позволил ему это.

— Должно же быть что-то, что тебе поможет? Например, съехать куда-нибудь, где потише и поспокойнее?

— Нам ни за что не вытащить Шесть на незапланированные каникулы, она просто взбесится.

— Ей хочешь не хочешь придется жить в этом мире, — возразил Таниэль. — И потом, можешь назвать меня скотиной, но я все равно считаю, что нельзя ради своих детей жертвовать собственным здоровьем. Иначе их недолго и возненавидеть.

Мори немного помолчал, а когда заговорил, чувствовалось, что он тщательно подбирает слова, точно пробует ногой тонкий ледок у берега озера.

— Есть одно такое место, где это не действует.

— Не действует? — переспросил Таниэль.

— Ну да, видения не лезут мне в... — Мори похлопал себя по макушке. — Сам не знаю, почему.

— Откуда тебе знать, что оно там не действует? — Таниэлю никак не верилось, что такое возможно.





— Потому что я могу вспомнить, как еду туда, а дальше — ничего, вообще. — Мори заколебался. — Мне ничего не вспоминается об этом месте. А я обычно знаю обо всем, что там может случиться. Это как... ну, как если сплошная ткань, а в ней дырка.

— И где эта дырка?

— На болотах*. В сторону... Питерборо.

— Я думал, ты назовешь какую-нибудь там Монголию, — недоверчиво произнес Таниэль. — А Питерборо — это же рядом, пара-тройка часов на поезде. Тогда почему мы еще не там? А Шесть я как-нибудь уговорю.

Мори бросил на него взгляд, в котором радость сменялась со стыдом, и Таниэль расцвел счастьем, что сделал нечто похвальное, но вместе с тем донельзя ребяческое и бессмысленное.

* * *

Болота расстилались во все стороны, уныло-серые и поблескивающие. Близились сумерки, и розовато-лиловый, отливавший оловом шар закатного солнца, огромное какого Таниэль еще не видывал, занимавший горизонт от края до края, величественно опускался за рваную кромку камышовых зарослей. Полустанок, на котором они высадились, не имел названия, как и станционных построек или

* Фенские болота — географическая и историческая область в восточной части Англии, занимает южную часть графства Линкольншир, северную часть Кембриджшира и западную часть Норфолка. Территорию Фенленда, частично расположенную в низменности, во времена повествования покрывали торфяные болота.



стражи, — одна только сколоченная из досок платформа, от одного конца которой вглубь болот вилась тропка.

Только Таниэля это не смутило. Он был рад и счастлив, что наконец сошел с поезда.

Платформа занимала самое возвышенное положение на многие мили вокруг. Во всяком случае, ничего похожего на другие строения Таниэль нигде не заметил, разве что вдалеке виднелось какое-то полуразрушенное строение. Они явно заехали куда-то не туда. Определенно здесь лет тысячу как не ступала нога человека.

— Да нет, место то самое, — уверил его Мори. Судя по его виду, он старательно прислушивался к себе.

Предполагалось, что их встретит смотрительница гостевого домика, но никаких признаков присутствия хоть какой-нибудь живой души вокруг не наблюдалось. Таниэль уже собрался спросить Мори, что им теперь делать, но тут заметил фонарь, полускрытый за зарослями камыша, оказавшимися намного выше, чем он мог предположить, и рядом мужчину и женщину в шляпах и закутанных в шарфы. Они махали им руками.

— Доброго вечера! — хором крикнули они.

— И вам добрый вечер, — обрадованно крикнул в ответ Таниэль.

Шесть, всегда чуравшаяся чужих людей, вынула из кармана Мори часы и обмотала цепочкой свое запястье, чтобы тот не мог отойти от нее дальше чем на шесть дюймов. А Таниэль уже спешил с платформы по ступенькам навстречу этим милым людям, не желая, чтобы те заподозрили их в невежливости. И дважды удивленно моргнул, не веря глазам, потому что они оказались гораздо ближе,





чем он думал. Однообразие необозримого простора болот странным образом меняло представление о расстояниях между объектами.

— Здравствуйте, один из вас, если не ошибаюсь, смотритель гостевого домика?

— Так и есть, — ответила женщина. — За домиком приглядываю я, а вы будете мистер Стиплтон и мистер Мори? Нам сюда.

— Сюда, сюда, — приветливо поддакнул мужчина. — Давайте понесу вещи.

— Не надо, мы сами, — отказался Таниэль, которому случалось бывать в услужении. Он терпеть не мог тех, кто норовил в два счета сбавить свой багаж в чьи-нибудь руки.

— Однако еще чуток пройти придется, — предупредил мужчина.

— Ага, чуток пройти, — женщина вместе с ним договорила фразу.

— Все в порядке, справимся, — вступил в разговор Мори. — Нам не мешает размяться. Шутка ли, пять часов от Лондона добирались.

Оба — и мужчина, и женщина — воззрились на него с внезапным пронзительным интересом, Таниэлю даже стало неловко. Ну ясно, в таких уединенных местах иностранцы явно были в диловинку. Но затем оба приветливо заулыбались:

— Добро пожаловать в наши штотячководы!

— Что означает это слово? — на радостях, что их встретили, с любопытством спросил Таниэль. Сам он происходил из Линкольншира, совсем недалеко от этих мест, но болота всегда жили сами по себе, как и населявшие их люди.



У них и внешность была особенная, не как у других: водянистые, словно пропитанные влагой, волосы и водянистые голубые глаза. Еще со стародавних времен датского права никто из болотных жителей не мог переселиться в иные, далекие от дома, места. Непролазные топи окружали их со всех сторон, отрезали от остального мира. Именно поэтому, должно быть, язык у них тоже развивался по-своему.

— Ну... — переглянувшись, оба засмеялись. Они явно долгие годы знали друг друга, потому что проделали все это одновременно и совершенно одинаково. — Да это место и означает!

Таниэль инстинктивно оглянулся на Мори, слывшего ходячим словарем иностранных языков, но тот покачал головой. Таниэль еще ни разу не видел Мори таким счастливым. Глядя сейчас на друга, Таниэль, не зная он обстоятельств Мори, решил бы, что перед ним человек, которого годами мучила мигрень, а сейчас настал благословенный момент, когда боль отпустила.

— Понятия не имею, — ответил Мори. Он засмеялся, а за ним и смотрительница с мужем.

Таниэль по их примеру тоже заулыбался, довольный, что затея с поездкой приносит плоды. Одна только Шесть смотрела на них всех странным, непонимающим взглядом.

Ни слова не говоря, она дернула за бумажную петельку на одной из палочек «Самозажигающегося долгоиграющего бенгальского огня мистера Танаки» и пошла вниз по тропинке; ее тень запрыгала на кочках.

Примерно с четверть мили они не видели вокруг ничего, кроме топей и камышей. После копотного Лондона воздух отдавал на языке сладостью; Таниэль всегда думал, что это



лишь фигура речи, а оказалось, чистая правда, и если бы он шел с завязанными глазами, то решил бы, что кто-то ненароком натряс кругом сахарной пудры. Сладкий был здесь воздух, а еще земляной и холодный. Местами Таниэль замечал среди топи яркие белые точки и не мог понять, что это такое, пока одна из них не подняла длинную шею. Лебеди, множество лебедей — вот что это было. Чувство перспективы снова подводило его. Они казались ему намного меньше и намного ближе. Ощущение было жутковатое, но возбуждающее.

Потом соотношение земли и воды в пространстве переменялось. Тропинка оборвалась и перешла в горбатый деревянный мостик, концы которого уходили в черную воду широкой полосы воды.

За водной полосой вырисовывался одинокий остров, а из того острова внезапно и резко вырастал дом. По эту сторону его огни казались призрачными, как будто сами собой висели в воздухе, что навело Таниэля на мысли об алхимии. Он взглянул на Мори и ухмыльнулся. Ему сроду не доводилось видывать подобных домов, не то что жить в них. Таниэль понадеялся, что там водятся привидения. Смотрительница первой вступила на мостик. Болота снова выкидывали свои оптические фокусы, и дорога оказалась намного, намного длиннее, чем представлялось на первый взгляд. Их шаги отдавались эхом под деревянным настилом, таким древним, что в его порах, как в губке, накопилась вода и он почти ощутимо пружинил под ногами. Стойки перил заросли мхом. Вечерняя темнота быстро сгущалась, и фонарь смотрительницы выхватывал лишь узкий полукруг впереди, а по бокам, вдоль краев ее юбки, залегли густые тени.



Видимо, болота время от времени разливались, иначе зачем бы к передней двери пристраивать такой высокий пролет деревянной лестницы. К дому с обеих сторон прилегали огороды, когда-то разбитые для выращивания овощей и зелени, а теперь по большей части подтопленные и заросшие камышами. Даже в теплом свете лампы дом выглядел угрюмым, со своими отвесными стенами, острыми углами и длинными узкими прорезями окон. Но стоило смотрительнице открыть дверь, как изнутри пахнуло теплом. На широком кухонном столе обнаружились корзина с провизией и инструкция, как пользоваться духовкой (джентльменам вечно невдомек, как). Сейчас духовка была разожжена и в доме горели все лампы.

— Корзины вам должно хватить, но милях в двух отсюда есть деревня, — сказала смотрительница. В ярком свете она казалась такой водянистой, что могла бы в любой момент испариться. Они с мужем одинаковым жестом указали за печку, являя странную синхронность в движениях. — Карты вон там, сбоку.

— Вон там, сбоку, — эхом отозвался ее муж.

— Ну что, — сказала смотрительница, и оба снова как по команде просияли в сторону Мори. — Мы пошли, а вы оставайтесь!

Таниэль поблагодарил их и проводил до порога. Шесть все еще торчала на дворе, выписывая в воздухе бенгальским огоньком свое имя.

Вскоре смотрительница с мужем скрылись из вида, только кружок света от их фонаря постепенно удалялся в сторону пристани. Сев в лодку, они сразу же запели. Ох и необычная то была песня, жутковатая и потусторонняя, и затянули



они ее враз, точно повинуюсь чьему-то знаку. Таниэль не понимал ни слова, но что-то в глубинах его естества распознало этот язык. Что-то древнее и первобытное звучало в этой песне.

Таниэль взглянул на Мори.

— Какие они душечки. Можно подумать... лет сто просидели в чулане, живой души не видя.

Мори засмеялся, и у Таниэля кольнуло сердце, ведь обычно Мори бывало ох как нелегко рассмешить.

— Зато какие приветливые, прямо куда там.

Таниэль пошел на двор загнать в дом Шесть, потому что уже сильно похолодало и с неба сыпались хлопья снега. Вернувшись с Шесть на кухню, Таниэль застал Мори возле открытой духовки. Тот словно в трансе наблюдал, как язычки пламени пляшут на угольях в топке.

— Ты как, в порядке? — спросил встревоженный Таниэль.

— Все приглядываешься, не впаду ли я в истерику? — Мори поднес руку поближе к огню. — Может, ее сейчас обожжет, а может, нет. Видишь, а мне и дела никакого. Совсем. Разве не поэтому многие люди без всякой боязни играют с морем? Они попросту не могут помнить, каково это — утопнуть, если слишком заиграешься. Для этого надо самому попробовать: умереть там, утопнуть или обжечься. А иначе никак. Ты вот, например: тебе ведь кажется, что ты *никогда* не умрешь, что ты бессмертен, да?

Таниэль рассмеялся и поставил на огонь чайник.

— А все-таки можешь ты объяснить, почему твой дар здесь не действует? — спросил он.



— Нет, не могу. Но такое впечатление, что... — Мори склонил голову набок, — вроде как такие места отрезаны от остального мира. Есть еще другие. И всегда это маленькие уголки: несколько квадратных миль там, несколько — тут. Одно такое есть в России. Еще несколько — в Гималаях. А почему оно так, не знаю.

Таниэль оглянулся на него, не веря своими ушам: лишившись пророческого дара, Мори заговорил с акцентом. И как иначе? Мори прожил в Англии всего несколько лет, а чтобы с японского переучиться на беглый английский или с английского на японский, лет десять, почитай, требуется, никак не меньше. Таниэль отлично усвоил это; на себе, можно сказать, испытал. Он-то думал, у него неплохо получается, но стоило кому-то заговорить с ним о политике, единственное, на что сподобился его разум, — ляпнуть, что ему нравятся осьминоги.

Шесть тем временем не сводила глаз с камина. Поскольку печка давала достаточно жара, камин не разжигали. Через дымоход на него уже падал снег.

— Тут в топке дохлая кошка, — сообщила Шесть. — Можно я ее потрогаю?

Таниэль приготовился узреть нечто ужасное, но в топке среди золы виднелся всего лишь свернутый колечком скелетик.

— Не тревожь его. Неспроста его тут положили. Здешние жители испокон века так делают, чтобы отгонять ведьм.

— Испокон века — это в смысле пару последних недель? — уточнила Шесть.

— Да нет же, сотнями лет.





— Лежал бы он здесь сотни лет, давно рассыпался бы от жара.

Шесть была права. Таниэлю вспомнилась смотрительница с ее древним песнопением. Наверное, в здешних местах сохранились и другие древние обычаи.

— Может, здесь это считается жестом вежливости.

* * *

Снег падал всю ночь. Таниэль знал это по себе, потому что часа в два пополуночи как от толчка проснулся в саду. Он стоял босиком в снегу возле калитки, повернувшись лицом к черным водам озера.

Должно быть, он проснулся оттого, что весь промерз. Он стоял без пальто, в одной пижаме, и свистевший в камышах ветер до костей пробирал его колючим холодом. Таниэль опустил взгляд на землю, на свои руки, на мерцающие воды и силился понять, снится ли ему особенно правдоподобный сон или вся эта дичь происходит с ним наяву. Он с силой хлопнул себя по запястью.

Боль он чувствовал. Значит, бодрствовал.

За те мгновения, пока его мозг осознал, что он стоит во дворе и, видимо, как лунатик, ходил во сне, внутри, под сердцем, все туже сворачивался клубок, а когда окончательно пришло осознание, клубок враз размотался, и Таниэля захлестнула паника, а тело сотрясала крупная дрожь.

Он бегом бросился к дому и с грохотом толкнул дверь, правда, притворил ее намного тише, вспомнив, что его спутники спят. Ему пришлось немного постоять на пороге,





прижимаясь лбом к двери, чтобы разобраться, что его так сильно напугало. Хождение во сне еще не означало, что с ним творится нечто ужасное, — просто он немножко выбит из колеи.

С мороза прохладный сланцевый пол казался почти раскаленным.

— Ты в порядке? — на ступеньках лестницы стоял Мори. Он в недоумении взял свисавшее с перил толстое одеяло и машинально расправил его. Поверх пижамы Мори набросил черное кимоно и подпоясался белым кушаком, отчего смахивал на только что посвященного в церковный сан.

Таниэль хотел было рассмеяться и сказать, что все путем и с ним просто приключился забавный казус. Но произнес совсем другое:

— Какое там, я только что проснулся в саду у калитки, а теперь у меня, кажется, сердечный приступ.

Мори спустился с лестницы, положил ладонь на грудь Таниэля и немного подождал, как будто прислушиваясь.

— Никакого приступа. Со мной тоже такое случалось, когда мои братья ушли на войну. Так что жить будешь. — Мори похлопал его по руке. — Сомнамбулизм, значит. Как я понимаю, это что-то новенькое?

— Такого со мной никогда раньше не бывало.

— Надо пропустить по стаканчику вина, — решил Мори и подмигнул. — Раз появились неполадки со сном, значит, ты окончательно повзрослел. Наконец-то. Это событие надо отметить.

— Зато ты у нас взрослый и битый жизнью, — произнес Таниэль ослабевшим от благодарности голосом.

— Ты теперь — тоже. Пойдем. Нас ждет вино.



Мори отвел его в кухню и усадил на стул возле печки, а сам совочком нагреб немного тлеющих угольков в чашку и дал в руки Таниэлю — согреться. Затем налил в бокал красного вина, которое нашлось в корзинке смотрительницы. Покончив с этим, Мори изучающе оглядел друга.

— Ну вот, уже выглядишь лучше. Правда?

Таниэль кивнул.

— Спасибо тебе, — сказал он мягко. Чашу с угольками он держал у сердца. Токи крови крохотными иголочками покалывали в его пальцах.

Мори чинно поцеловал его в лоб. Таниэль подался вперед и прижался к груди Мори, чувствуя себя снова в безопасности, но при этом пристыженным. Поцелуй был из тех, каким успокаивают ребенка, если он испугался паука.

* * *

Наутро все вокруг стало белым-бело от снега. Шесть скатилась по ступенькам, уже одетая в пальто и теплые ботинки, и в нетерпении приплясывала под дверью, пока Мори не встал и не отпер замок.

Таниэль еще с детства порядком намерзся и с удовольствием нежился у печки с чашкой горячего чая, довольный, что он *в тепле*, а не *снаружи*, и не имел ни малейшего желания высовываться во двор. Зато Мори взирал на снег как на преизрядное чудо.

Таниэля осенило, что ему выпал шанс победить Мори в снежки, ведь здесь Мори не сможет угадывать, откуда и когда в него прилетит очередной ком.





— А что, нам тоже не грех прогуляться, — бодро заявил Таниэль.

В дневном свете болота приобрели совсем другой вид. Они простирались куда хватало глаз, понизу затянутые мглистой дымкой.

Зато вода в озере отличалась необычайной прозрачностью и просматривалась до самого дна. На дне что-то вроде бы колыхалось, наверное, темные заросли водорослей. Правда, сквозь прозрачную воду вокруг свай мостика проглядывали какие-то предметы. Монеты и нечто другое, больше размерами и продолговатое, то ли ножи, то ли драгоценные украшения, а еще кости. Таниэль готов был поклясться, что различает на дне конскую челюсть.

Таниэля вдруг охватила жгучая ненависть к этим предметам на дне озера. Он бы и шагу не ступил по мостику над местом, где они валялись. Мори однажды рассказал Шесть, что в некоторых старинных культовых местах люди оставляют в воде подношения — за давностью лет все уже позабыли, кому они предназначаются, но традицию блюдут, — вот только Таниэль недослышал, что говорил Мори. Как ни пленяло озеро красотой, вода в нем выглядела какой-то мертвой. Таниэль всеми костями и кожей ощущал непреодолимое желание поскорее покинуть это место. Глупость невероятная. Прежде Таниэлю никогда не казалось ни с того ни с сего, что какое-то место дурное; еще вчера он назвал бы это пустыми бреднями, а того, кто говорит об этом, заподозрил бы в нелепых маскарадах и заигрывании с потусторонним миром. Но сейчас он сам готов был поклясться, что озеро — явно дурное место, вот как его измучила минувшая ночь.



Шесть, едва они подошли к берегу, ускакала куда-то по своим детским делам, но Таниэль хорошо видел ее: ярко-красное пальтишко выделялось на голой местности, лишенной деревьев, изгородей и всего прочего, что заполняет пейзаж. Одни лишь болотные травы стлались по топкой земле, да камыши сгибались под снежными шапками; кое-где темнели заводы, да клочья тумана цеплялись за остро-конечные стебли болотной осоки. Таниэль предпочел бы убраться подальше от воды, но почему-то медлил. При своем росте он возвышался над окружающим пейзажем. Торчал на виду, как никогда беззащитный, выставленный на всеобщее обозрение.

Девственно-белый снег хрустел под их ногами. Таниэль продолжал следить взглядом за Шесть и вскоре обнаружил, что затрудняется определить, насколько далеко она отошла. И снова беспокойство свернулось тугим клубком в душе. Он крикнул Шесть, чтобы та была осторожна, ведь кочки не так устойчивы, как *кажется*, но заметил, что она уже нашла себе длинную жердь и пробует ею почву перед каждым шагом. Сейчас она по кочкам перепрыгивала через крохотную заводь.

Мори тронул его за рукав, одарив невинным взглядом, метнул в него снежок и отбежал. Таниэль бросился вдогонку, что оказалось намного труднее, чем он воображал, потому что Мори оказался быстр, как лис, и играл не по правилам, устраивая засады в зарослях камышей.

Заслышав пение, они замедлили бег.

И увидели впереди рыбацью пристань, серую в мглистой дымке.





Пристанька была совсем маленькой, всего несколько лодок у воды и кучка людей на дощатом пирсе, обвешанном старыми обернутыми валяным сукном тележными колесами, чтобы лодки на приколе не разбивали о пирс борта. Под примитивным полукрытым навесом высились деревянные рамы, где засаливали или коптили рыбу, а может, и то и другое. Тут же рядом расположились дети: они ловко потрошили и нарезали рыбу из свежего улова, орудуя ножами легко и равномерно. Дети как раз и пели, причем выводили ту же самую древнюю песню, что и смотрительница с мужем накануне вечером.

Дети одновременно заметили подошедших Таниэля и Мори и как по команде подняли головы. Таниэль почувствовал, как в грудной клетке снова зашевелилась, толкаясь в ребра, паника, накрывшая его этой ночью на дворе. Он дважды был свидетелем уличных нападений на Мори, которому это нисколько не досадило*, зато у Таниэля те мерзкие воспоминания оставили в душе неизгладимые шрамы.

Дети просияли, увидев их.

— Доброе утречко, — пропели они идеально слаженным хором.

— Вы в гостевом домике остановились, да? — спросил кто-то.

— Так, всего на недельку, — ответил вежливый Таниэль, сам себе поражаясь, что первый раз в жизни понимает и разделяет глубокое недоверие Мори к чрезмерно обходительным незнакомцам. Он нутром чуял, что детям что-то

* Мори устроил будущее напавших на него так, что оно предполагало немедленное падение злоумышленников в Темзу. *Прим. авт.*





от них надо, и велел себе собраться с духом. — Веселого вам Рождества.

— Веселого Рождества, — дружно пожелали в ответ дети и взрослые. Возможно, виной тому была мгла, но на всех лицах он видел ту же, как у смотрительницы домика, размытость красок. Все как один были черноволосы, правда, чернота выглядела жидковатой, словно в краску плеснули воды, и нисколько не походила на густую угольную черноту шевелюры Мори.

Возле его локтя выросла Шесть. И встала чуть впереди него, как заметил Таниэль. Он положил руку ей на плечо, желая убедить девочку, что все в порядке.

— Подойди сюда, отведай нашей знаменитой водички, — все еще улыбаясь, сказала одна женщина. Она приблизилась, и в ее улыбке Таниэлю почудилось что-то голодное. — Тебе для здоровычка в самый раз будет.

— Я... даже не подумаю, — буркнула Шесть и удалилась в ту сторону, откуда пришла.

Таниэль поморщился.

— Шесть, нельзя быть такой грубой. Вернись, — крикнул он ей в спину, но только для вида.

Шесть, по ее собственным словам, была нечувствительна к тому, что задевало других, и из-за отсутствия такого навыка ей оставалось гадать, что обижает или не обижает людей, хотя лично она, Шесть, считала, что в ее жизни полно дел поважнее, чем раздумывать над такими глупостями. Таниэль с ней был согласен.

Но женщина лишь рассмеялась.

— Зато мы бы не отказались, — подал голос Мори, и вся компания снова пришла в восторг.





Пока женщина вела их по пирсу, Мори разглядывал бочки с засоленной рыбой и все остальное таким же зачарованным взглядом, каким поутру дивился на снег. Работа возобновилась, ножи опять замелькали в воздухе. Таниэль заметил, что все люди были левшами, и сглотнул комок в горле. От вжиканья лезвий по чешуе у Таниэля сводило зубы, как, впрочем, и от хлопанья, с каким очередная порция внутренностей шлепалась в ведра поверх кучи других. И еще его беспокоило, как все поглядывали на Мори: с жадным блеском в голодных глазах.

Теперь Таниэль увидел, что они ловили не только рыбу. В их сетях, как змеи, извивались и речные угри. Один вернулся и пополз прямо по руке какой-то девочки.

Женщина между тем зачерпнула ковшиком воду из озера и налила в две щербатые чашки.

— Натэ, держите, мальчики. Давайте за ваше житье здесь.

Таниэль всем телом передернулся, точно она вручила ему чашку с опарышами. Он и сам не ожидал от себя такой реакции и явно выдал свое отвращение, потому что Мори метнул в него пытливый взгляд. Таниэль потряс головой. Удивительно, до чего может довести всего одна ночь плохого сна.

Вода была студеной и отдавала горечью. Ничего ужасного в этом не было, но Таниэля едва не затошнило, пока она проскальзывала в желудок.

Однако оба уверили женщину, что вода восхитительна, поблагодарили и ретировались под тем предлогом, что надо отыскать Шесть, пока она не заблудилась.

Таниэль, едва мгла скрыла их от людей на пристани, взял Мори за руку, желая быть ближе к кому-то, у кого нет оголодавшего вида.





— Есть в них что-то странное. То, как все они... они все левши, ты заметил?

Мори кивнул.

— Возможно, это у них наследственное. В подобных местах все друг с другом в родстве.

Таниэль попробовал разобраться, отчего эти люди так насторожили его, потому что смутная тревога по-прежнему не отступала. Он хотел было сказать Мори, что болота ему не по душе, что они мертвые или полные жути, но не смог бы объяснить, почему так чувствует, а если бы сумел, Мори воспринял бы его слова как просьбу вернуться домой. И как бы потом ни разубеждал его Таниэль, они уже завтра сидели бы в поезде, идущем в Лондон. А Таниэль меньше всего хотел, чтобы Мори возвращался в столицу из-за того, что ему, видите ли, что-то показалось.

Вдруг Таниэль спохватился, что слишком долго молчит. Мори наблюдал за ним. И Таниэль произнес первое, что пришло ему в голову:

— Может, мне просто в диковинку, что на каждом шагу слащаво улыбаются.

— Хорошо, что ты это проговорил, — отозвался Мори. — Сам я ни за что не сказал бы такого. Но, знаешь, все белые выглядят чуточку чокнуто-альбиносно-лицемерными, вот и поди угадай, этот перед тобой случай или нет.

Таниэль пихнул Мори в бок, понимая, что тот его поддразнивает, чтобы отвлечь от плохих мыслей, и радуясь, что другу удалась столь незатейливая уловка.

Вокруг них медленно оседали снежные хлопья.





* * *

Таниэль проснулся посреди ночи на берегу озера.

Оглянувшись, он увидел, что калитка где-то в полусотне ярдов от него, и, как и в прошлый раз, был почти уверен, что его разбудил леденящий холод. Снега навалило выше колена, вокруг стояла темнота хоть глаз выколи; он едва различал очертания лодки, хотя застыл почти рядом с ней. То ли дело Лондон: там море света, горят уличные фонари, по всему Найтсбриджу сияет электричество, в окнах домов светятся огоньки ламп и свечей, и в особенно душные, пасмурные дни накануне сезона туманов густая пелена облаков над городом ночами окрашивается буроватым заревом. А в этой глухомани ничего похожего. Здесь, казалось, царила первозданная дикость. На ясном небе сияли звезды, огромные и яркие. Таниэль еще не видывал, чтобы их можно было наблюдать так отчетливо, не хуже, чем монеты и кости на дне озера.

Он снова был в одной пижаме, правда, на сей раз обутый. У него хватило духа посмеяться над этим курьезом. Во всяком случае, подсознание — или что там внутри заставляло его бродить во сне — усвоило хотя бы частицу здравого смысла. Он направился к дому и всю дорогу прижимал к груди кулак, уговаривая тугой клубок паники немного ослабнуть.

Но паника не отступала.

Он поймал себя на том, что гадает, чем кончатся его сомнамбулические хождения, если спящий разум и дальше продолжит чудить в подобном духе. Вероятно, им двигало безотчетное желание быстрее убраться из этих мест.





Он с силой потер лицо и задумался: неужто сейчас, когда он немного оттаял и разомлел на отдыхе, наружу прорывается постоянное внутреннее напряжение последних лет, когда он жестко держал себя в узде? Он любил дом, любил Филигранную улицу, любил Лондон, но там в его голове не смолкал назойливый голос предосторожности, призывавший ничем не выдавать своих чувств, никогда на людях не касаться Мори, не смотреть на него долгим взглядом и не разговаривать с ним слишком нежно. Он никогда в жизни не бывал в психушке, не знал, да и знать не хотел, что там творится, но именно психушка маячила в конце пути, на который он теперь ступил, и гостеприимно распахивала перед ним свои железные ворота.

Сейчас, впервые за эти годы и вопреки этим бескрайним просторам вокруг, за ними некому было наблюдать или подглядывать.

Эти его хождения во сне и глупые страхи, которые внушало ему озеро, — все это просто головная боль, что накалывает на тебя дома, когда возвращаешься с работы после тяжелого дня.

Вдали на болотах чей-то голос выводил ту же самую песню, которую пела смотрительница домика в день их приезда.

* * *

На следующий день был рождественский сочельник. В гостиной стояло пианино, и Таниэль с самого утра засел играть рождественские гимны, а Мори с Шесть замешивали





на кухне небольшой рождественский пирог. Они беседовали на тему, обязаны ли люди глотать монетки (Мори спрашивал, желает ли она добавить в тесто шестипенсовик). Таниэль пребывал в новом для себя полусозерцательном умонастроении, позволявшем одновременно и слушать Мори с Шесть, и бегать пальцами по клавишам. За этими двумя занятиями его мысли вроде бы наконец достигли равновесия. Он не стал говорить Мори, что снова ходил во сне, и сейчас думал, что это к лучшему. Он и без того много времени и, можно сказать, на пустом месте тревожит Мори своим сомнамбулизмом. Мори, должно быть, уже чувствует себя не столько его другом, сколько заботливым папашей.

Разговор на кухне замолк. Потом послышался голос Шесть, лишенный выражения и странный:

— Па-ап!

— Слушаю тебя, детка, — отозвался Таниэль.

— Что это ты сейчас играешь?

— Хорал играю, рождественский.

— Нет, совсем не хорал.

Таниэль сначала не понял, что она имеет в виду, а потом словно очнулся и расслышал: он играет мелодию песни, которую пели смотрительница и одинокий голос на болотах минувшей ночью. Мало того, в голове Таниэля звучали ее слова. В ней говорилось о девушке, чья сестра превратилась в речного угря. Он и сам не понимал, откуда знает это. Язык звучал слишком необычно, чтобы узнать его.

— Наверное, просто запомнилась, вот я и подобрал, — сказал Таниэль, сам понимая, что врет. Не мог он запомнить новую мелодию так хорошо, чтобы столь точно ее воспроизвести.



Шесть долго глядела на него бесстрастным взглядом, затем вышла, не произнеся ни слова. Мори вытянул голову, чтобы посмотреть, куда она пошла. Входная дверь открылась, потом закрылась.

— Я так расстроил ее? — растерянно спросил Таниэль.

— Думаю, ей просто не хочется, чтобы мелодия привязалась и к ней, — успокоил его Мори и слегка улыбнулся: — Ей приходится проявлять осмотрительность, не то забудет себе голову не пойми чем, верно? Все, что попадает в голову, кричит слишком громко.

* * *

Решив, что Шесть сама вернется, когда захочет их видеть, Таниэль и Мори поставили пирог в духовку. Мори пошел мыться и держал руку под краном умывальника, ожидая, когда вода пробежит по проходившим через плитку трубам и нагреется, словно караулил момент маленького волшебства. Не будь они здесь, Мори и так знал бы, когда это произойдет. Таниэль наблюдал за ним и снова подумал, что друг сейчас выглядит куда более счастливым и менее дерганым, чем в городе.

Он даже что-то мурлыкал себе под нос. Боже, это опять была песня смотрительницы.

— Как думаешь, о чем в ней поется? — чуть погодя спросил Таниэль. — Я тебе скажу: песня про девушку и угря. Откуда я это знаю, я сам не понимаю.

— Хм?

— Ну, слова в песне.





— В какой песне?

— Ту, что ты сейчас напевал.

Мори растерянно посмотрел на Таниэля.

— Я не... знал, что пою. Приношу извинения. — Он дважды сморгнул с глаз мыльную воду и отступил от раковины, его лопатки напряглись и заострились. И снова он стал собой прежним, ранимым и хрупким. — И долго ты здесь торчишь?

Таниэль слишком засмотрелся на Мори и поздно спохватился.

— Да так, пару минут. Ты что?

— Прошу извинить. Виноват. Просто... помутнение нашло. — Мори протер глаза рукавом, будто снимая застилавшую их пелену. — Должно быть, разнежился тут в тепле и совсем отупел.

У Таниэля по спине все еще бегали мурашки.

— Давай, что ли, во двор выйдем.

Мори не мог не заметить, как расстроен Таниэль, потому что — вот ужас-то — постарался скрыть собственную неловкость, оттого и вспылил. Таниэль не подозревал, что Мори такой хороший врунишка.

— Сдается мне, нам самое время пойти слепить снеговика.

И они слепили снеговика прямо на пяточке огородной грядки, где у садовой стены намело особенно много снега. Следы Шесть вели дальше, в сторону мостика. Мори заметил, что Таниэль смотрит в ту сторону, и тронул его за плечо.

— С ней все хорошо.

— Знаю, — ответил Таниэль, качая головой. И снова у него с языка рвались слова, что от озера исходит что-то недоброе, что он не хочет позволять Шесть играть возле воды, но его опять остановила мысль, что тогда Мори потащит их



домой, а сам он будет испытывать вину и чувствовать себя дураком. — Я... м-м-м... не спал, я проснулся — и глядь, снова стою на дворе.

Мори слегка кивнул, не то чтобы расстроено или с сочувствием, а просто принимая сей факт к сведению. Он позволил признанию Таниэля повиснуть в тишине. А сам стоял, по-свойски прислонившись плечом к снеговика.

— Пожалуй, я куда больший домосед, чем думал, — заметил Таниэль, изо всех сил стараясь рассмеяться. — Думается, отъезд из дома нанес мне глубокую психическую травму. Постыдный конфуз. — Он прилепнул еще одну пригоршню снега к боку снеговика, желая придать ему больше округлости.

Мори слегка поддал ему носком по лодыжке.

— Послушай, Таниэль. Здесь и правда есть что-то странное, мы оба это понимаем. Но что именно, я понятия не имею. Знаю только, что оно отключает верхнюю половину моего мозга. Вероятно, и с тобой что-то такое проделывает. Что-то довольно серьезное, раз ты начал ходить во сне. Если все так, пусть оно идет к черту. Ты хочешь вернуться в Лондон?

— Нет и нет! Даже думать не смей. У меня всего лишь расшатались нервы. Опять же, поезда ходить не будут. Не забывай: завтра Рождество.

— Шесть возвращается, — выглянув из-за снеговика, сообщил Мори.

Шесть, точно резвый щенок, знала всего один способ передвижения — вприпрыжку. Не открывая низкую калитку в заборе, она с разбега перемахнула через нее, но, увидев их, остановилась как вкопанная.





— Хороший прыжок, — на всякий случай поспешил высказаться Таниэль: вдруг она боится, что они не одобряют ее шалости*.

— Зачем вы это слепили? — спросила Шесть. Она во все глаза смотрела на снеговика.

— Ну как же... это забава такая, лепить человека из снега.

Неужели он и правда никогда не лепил с ней снеговиков?

— Ага, — согласилась она. — Только это никакой не человек.

Таниэль оглянулся.

И увидел, что Шесть права. Это был совсем не человек. А нечто такое, чего он никогда не видел. Над ними склонялся гигантский паук чудовищного обличья, какого он никогда не смог бы представить, но тем не менее узнавал его той частью сознания, какая поведала ему песню смотрительницы.

Таниэль понимал, что он не робкого десятка. Но никогда прежде ему не приходилось видеть нечто настолько непостижимое для его разума. Ужас, сильнее какого он доселе не испытывал, сковал его члены, как удав кольцами, и сжал с невиданной ему прежде силой.

Неуловимым движением руки Мори рассек ближайшую к нему паучью ногу, и та обрушилась. Однако непострадавшие части все еще сохраняли жуткий силуэт. Укладываясь

* Школьная директриса Дженкинс, судя по всему, считала любые физические упражнения неподобающими для благовоспитанных леди. Такая точка зрения ставила в тупик Мори, чья бабушка сама ринулась в сражение вместе со своими сестрами и даже обезглавила одну из них, чтобы противник не мог захватить ее живьем. Таниэль подозревал, что Мори втайне гордился бы Шестью, если бы она обезглавила директрису Дженкинс. *Прим. авт.*





наземь, снег, точно живой, издавал мерзкое хихиканье и прицокивал.

Шесть потащила их с Мори в дом.

* * *

Таниэль отыскал в кабинете брошюрку с расписанием поездов, но в этих краях проезжал всего один поезд в день, и отбыл он в девять утра. Он ни за какие коврижки не остался бы в этом доме еще на одну ночь и потому принялся искать на карте местности ближайшее жилье. Что там говорил Мори насчет территории, на какую распространяется эффект подобных мест? Кажется, речь шла всего о нескольких квадратных милях, а значит, чтобы выбраться отсюда, идти придется не так уж далеко.

Он нашел значок деревушки, совсем близко от попавшейся им рыбацкой пристани, но и деревушка, и пристань находились *внутри* этих нескольких квадратных миль.

Единственное на всю округу жилье, судя по всему, совсем крохотное, располагалось среди болот, наверное, это был охотничий домик или лачужка углежога. Идти до него предстояло шесть миль, причем по глубокому снегу, и ни тропинок, ни ориентиров не наблюдалось. К тому же на карте не были помечены болотные омуты. Должно быть, они были не настолько постоянны, чтобы указывать их точное местоположение.

Поглощенный изучением карты Таниэль не сразу слышал, что кто-то мурлычет себе под нос, и только потом до него дошло, что это он сам. Это опять была песня





о превратившейся в угря девушке. Он знал, какое слово на диковинном языке обозначает угря, а какое — лес, хотя, до того как они приехали сюда, он никогда не слышал этого языка. Он даже знал, что это за язык. Английский, но старинный, на каком говорили в эпоху викингов*.

Таниэль понес карту вниз на кухню и застал Мори и Шесть у открытой духовки.

— Думаю, нам надо попробовать, — сказал он, показав им домик на карте. — Далековато, конечно, но еще светло.

Мори помотал головой.

— По снегу, через топи и без тропы? Как мы его будем искать, этот домишко? Я не вспомню, как к нему добраться, пока мы не отойдем отсюда на порядочное расстояние.

— Но здесь погано. *По-настоящему* погано.

— Согласен. Хотя ничто здесь не причинило нам вреда. Но если мы пойдем и даже если не заблудимся, идти шесть миль по такой погоде тоже рискованно. Не знаю, сколько сможет пройти Шесть. А вдруг мы промахнемся мимо домика... в четыре вечера уже темнеет. А сейчас час пополудни. Думаю, нам безопаснее провести эту ночь в доме, а завтра рано утром отправиться в путь. Так у нас в распоряжении будет больше светлых часов. — Мори взглянул на Таниэля. — Если только ты не считаешь...

Таниэль рухнул на стул.

— Нет, — с некоторым усилием выговорил он. — Ты прав. Ничто здесь не причинило нам вреда.

* Эпоха викингов — период раннего Средневековья, с VIII по XI век, когда скандинавы, которых в Европе называли норманнами или викингами, совершали набеги на сопредельные государства и расселялись на пространных от Восточной Европы до Северной Америки и Гренландии.





* * *

Этой ночью они собрались в одной комнате и допоздна играли в карты при зажженных лампах и огне в камине, устроившись на кровати Таниэля. Шесть для пущего тепла завернулась в одеяло. Она от души наслаждалась игрой; при нормальных обстоятельствах с Мори невозможно было играть в карты, он всегда знал, какая кому придет масть, и оттого смертельно скучал. Таниэль тоже увлекся и чувствовал, что у него полегчало на сердце. Прав был Мори: ничего угрожающего не происходило, и, несмотря на его ночные прогулки, песню о девушке-угре и паука-снеговика, Таниэль все равно радовался, глядя, как Мори смеется и проигрывает торжествующей Шесть.

Таниэль засыпал, держа за руку Мори. Ночь проходила спокойно, и все трое завели будильники на своих часах на семь утра. Пока он погружался в сон, еще бодрствовавшая частица сознания требовательно вопрошала, почему он не позаботился привязать руку к изголовью кровати или к чему-нибудь еще, чтобы не дать себе ходить во сне. Но причудливая логика сна в конце концов взяла верх, и он позабыл, чем его так тревожили ночные прогулки.

* * *

Он проснулся оттого, что по самые плечи барахтался в затянутом льдом озере.

Вода была такой ледяной, что жгла кожу, воздух над водой казался горячим, как в сауне, и все клетки до последней





его существа заоченели от ужаса. Озеро покрывал слой льда толщиной в дюйм, а сам он стоял в проруби с неровными, зубчатыми краями. Схватившись за выступающие края льда, он подтянулся и кое-как выбрался на поверхность, что оказалось намного труднее, чем он думал, потому что сила ушла из его рук. Пришлось даже немного полежать на льду, чтобы отдышаться. Лед под ним почему-то отдавал теплом. Когда ему удалось подняться на четвереньки, сердце бухало как кузнечный молот.

Злобное нечто пыталось утопить его. Чем бы оно ни было, дело свое оно знало: еще дюймов шесть, и он бы с головой ушел под воду.

Он поднялся на ноги, заковылял было назад, но тут же остановился, потому что лед у него под ногами угрожающе затрещал. Он очень долго добирался до берега и еще дольше — в полной темноте до дома. Мокрая одежда начала промерзать, складки на локтях и коленях совсем задеревенели.

Входная дверь была приоткрыта.

Таниэль бросился в дом и чуть не врезался в Мори, но тот, молниеносный в движениях даже в отсутствие своего дара, успел отскочить в сторону. Фонарь закачался в его руке.

— Таниэль! А мы уже собрались идти искать тебя, — ошарашенно проговорил Мори. — Боже, да ты весь промок... Что...

— Озеро, я проснулся в этом проклятом... Здравствуйте, — добавил Таниэль деревянным голосом, увидев, что из кухни выходит смотрительница домика с фонарем в руке.

— Она зашла проверить, все ли у нас в порядке, — пояснил Мори. — Как нельзя вовремя.



— Как, прямо посреди ночи? — произнес Таниэль почти беззвучно, слыша, как его собственный голос обращается в пар.

— Так самое же времечко, когда снохождение может вас чуток обуять, — вкрадчиво произнесла она. — Мне бы вчера зайти, да из головы вон... Вам надо согреться.

* * *

Таниэль присоединился к остальным, как только вымылся и сменил одежду. Его все еще трясло от холода, но узнать, что еще расскажет женщина, он хотел больше, чем согреться. Правда, Мори заранее развесил возле духовки одеяло и передал его Таниэлю, когда тот уселся на свободный стул у стола.

— Так оно завсегда бывает, — спокойно сказала смотрительница, будто совсем не беспокоилась из-за происшествия. В руках она сжимала чашку чая. Другую, только что налитую, Мори вручил Таниэлю. — Это местечко на многих действует странно. Надо было мне оставить вам записочку, да не хотелось вас пугать. В общем, и беспокоиться-то не о чем. Что-то такое в здешней воде, знаете ли.

Таниэль опустил взгляд в свою чашку.

— Это не просто сомнамбулизм, — сказал он, — мы... м-м-м... — и посмотрел на Мори, не будучи уверен, как продолжить.

— Мы, кажется, многое позабываем здесь, — пришел тот ему на помощь.





— Ну да. Разве не за этим вы сюда явились? — спросила она. — Сюда как раз и приезжают забывать. — Ее водянисто-голубые глаза скользнули по Таниэлю. — А вы, однако, нет, верно? Коли не желали оставить здешним местам горстку воспоминаний, так лучше бы и не приезжали, — голос ее зазвучал сурово.

Таниэль не нашелся что возразить.

— Зато от этого все воспоминания! Вот радость так радость! — Она улыбнулась Мори. — Будущего-то *куда как* больше будет, чем прошлого. Чудеса, как все это в одну голову вмещается. С одним из вас мы не виделись... почитай уж лет тысячу как. — Она все еще улыбалась, и улыбка ее была такой же изголодавшейся, как та, с какой уставилась на них пронырливая, как угорь, женщина, поившая их озерной водой на пристани. Впрочем, нет, улыбалась она не всем, а одному Мори. — С тех еще пор, как святость снизошла.

Таниэль готов был вскочить, но замер, увидев, что Мори даже не думает вставать. Он по-прежнему сидел смирно и спокойно смотрел на женщину, словно она вещала что-то разумное.

— Мы думаем, — теперь смотрительница обращалась к Таниэлю, — вам надобно снова заснуть и оставить попытки увезти его отсюда. — Она наклонила к нему голову. — Да, мы так и думаем: вам надобно снова заснуть и потонуть в озере.

Таниэль набрал в грудь воздуха, чтобы сказать, что смотрительница спятила, но, кто бы она ни была и чем бы ни было все происходящее, ее слова имели вес. Он тут же *почувствовал* сонливость. Он жутко устал, и после ее слов лечь спать показалось ему прекрасной идеей.



С лестницы донеслись топот и грохот, это Шесть спускалась по ступенькам.

Смотрительница улыбнулась ей.

— Мы думаем, что ты, малышка, тоже должна остаться с нами. Ты все очень хорошо помнишь, правда? Все громкое и вострое. Об эти воспоминания можно пораниться.

Голос звучал как-то неправильно и постепенно, точно яичный желток, сползал вдоль его позвоночника; Таниэль понял, что такой эффект достигался тем, что женщина говорила синхронно с Мори. Они вдвоем глядели на Шесть.

Шесть уставилась на всех них. Таниэль застыл, словно парализованный, но где-то в глубинах души трепетала мысль, что он должен вскочить и бежать отсюда куда глаза глядят, прихватив Мори и Шесть, бежать *прямо сейчас*, но сил воплотить мысли в действие у него не было. Неимоверная тяжесть придавила его разум. Он чувствовал, что прямо здесь, в кухне, готов погрузиться в глубокий сон, и тогда, боже упаси, эта тварь утащит его в озеро.

— Ну нет, не дождетесь. Надевай пальто, — велела Шесть Таниэлю. — И хватай Мори.

— Нет, — в один голос возразили смотрительница и Мори. — Ты должна остаться с нами.

— Дудки, — мрачно заявила Шесть. — Они мои и вам не достанутся, так что катитесь отсюда куда подальше.

Таниэль почувствовал, что нечто, опутавшее его разум, дрогнуло. Этого оказалось достаточно, чтобы стряхнуть его и прижать ладонь к горячему чайнику. Дикая боль мигом прогнала сонную одурь, и он застонал от ожога.





Смотрительница взвизгнула и тоже сжала ладонь, будто обожглась.

Тем временем Мори приходил в себя. Таниэль своими глазами видел, как друг снова становился собой.

Шесть сунула в руки Таниэлю пальто и уже толкала Мори ко входной двери. А смотрительница сидела и глядела на них, мурлыча себе под нос.

* * *

Оказалось, вчера они верно рассудили: идти по снегу и правда было тяжело, как бы тепло они ни укутались. Снег цеплялся за ноги, мешая идти, совсем как та тварь из озера. Смотрительница не стала их преследовать, да ей этого и не требовалось. Что бы ни чинило им помехи, оно обитало в снегу и воде. Таниэлю казалось, что мысли в его голове очень тяжелые, точно облитые толстым слоем патоки. Выныривая из полузабытья, он не мог вспомнить, что делает здесь, среди холода и темноты. Шесть вложила ему в руку зажженный бенгальский огонь.

— Следи за ним, не то он тебя подожжет, — велела она.

Таниэль устался на потрескивающий, рассыпающийся искрами огонек.

— Шесть, как получается, что ты не... — спросил он, и собственный голос показался ему не то хмельным, не то сонным.

— Мозги неправильно устроены, — ответила Шесть. Таких взрослых мыслей Таниэль еще ни разу от нее не слышал, однако в ее тоне не было даже тени похвальбы, одна



печаль. Часть его сердца разбилась. — Это они в работном доме набекрень сдвинулись.

— Как по мне, у тебя, Шесть, мозги очень даже на месте, — заверил ее Мори. Он сильно дрожал.

— Если мы в ближайшее время не попадем в тепло... — прошептал Таниэль, уже не чувствовавший отмороженных рук. С бенгальского огонька ему на запястье отлетела частичка раскаленной золы, и еще один крошечный ожог немало взбодрил его.

— Как только ко мне вернется нормальная память, мы будем в полном порядке, — проговорил Мори, но его голос звучал испуганно, и ни один из них не решился высказать вслух, что, судя по всем признакам, они плутают кругами. Среди заснеженных болот то здесь, то там раздавалось пение, поющие голоса звучали по-прежнему идеально синхронно. Совсем рядом.

* * *

Таниэль не знал, как далеко они в конце концов ушли от проклятого дома. В какой-то момент они набрали на дороге, заваленную снегом глубиной фута в два, и он почувствовал, что больше не сможет ступить ни шагу, как чувствовал это все время, казавшееся ему часами. Но тут к Мори вернулся его дар, и он вспомнил, куда им идти. Уже на следующей отходившей от дороги тропинке им попался коттедж. Они ни за что не увидели бы его с дороги, потому что домик стоял темный и пустой. Мори скovyрнул замок и запустил Таниэля с Шесть внутрь, и уже через считанные





минуты по всему коттеджу горели каминны и два чайника грелись на огне.

— Еще никогда в жизни не чувствовал себя таким безмозглым, — заметил Мори, когда они расселись, согревая руки в горячей воде.

— Они бросятся за нами в погоню?

— Не выйдет, — ехидно захихикал Мори. — Стоит им покинуть свои места, как они поймут, что все их воспоминания как ветром сдуло. И разбегутся. И эта их тварь в озере больше не получит себе пищи.

— Они словно мух ловят на мед, — тихо сказал Таниэль. Руки у него горели, к ним возвращалась чувствительность, а к его разуму приливал здравый смысл. — Забвение. Для... людей вроде тебя. Почему ты не мог вспомнить это раньше? Когда еще мог...

— Не знаю. И мне очень, очень жаль. — Мори перевел взгляд на Шесть. — Спасибо тебе, — сказал он. — Ты была великолепна.

Болтая ногами, закинутыми за ручку кресла, Шесть стучала пяткой по пятке и радостно поводила плечами. Мори отдал ей свои часы. Она сжала их в руке и засияла от счастья.

* * *

Дом встретил их таким же, каким они его оставили. Гирлянды остролиста по-прежнему украшали лестницу, как и электрические лампочки в них, разве что на входной двери белела прищипленная булавкой бумажка с гневным посланием от соседки, миссис Хаверли, сообщавшей, что





любимый осьминог Мори* снова влез к ней через кошачью дверцу и умыкнул все ее чайные ложки. Таниэль, весь во власти чувства, что больше никогда не покинет родные стены, просидел дома до самого Нового года, а потом с большой неохотой вернулся на службу. После обшитых старинным деревом приветливых, располагающих к уюту стен на Филигранной улице Уайтхолл показался ему особенно мрачным и холодным.

— Как Рождество? — улыбнулся начальник, когда Таниэль пришел.

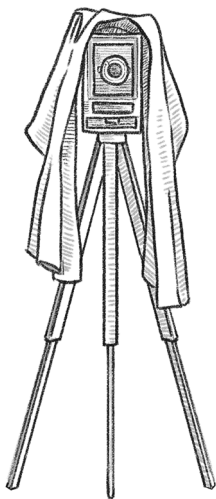
Он помедлил с ответом. Поначалу он собирался сказать, что праздники выдались *насыщенными*, но теперь не мог вспомнить, почему хотел сказать именно так. Все обстояло наоборот. Если честно, Таниэль не мог наскрести в памяти ни одного конкретного воспоминания о прошедшем Рождестве. Все дни по возвращении слились у него в единое ощущение тепла от зажженного камина и ароматного глинтвейна. У Таниэля сохранились разве что странные отголоски воспоминаний о каком-то поезде и долгом путешествии куда-то, но, должно быть, они относились к какому-нибудь другому Рождеству.

— Замечательно, — ответил он наконец. — Мы предавались сплошному безделью.

* У Мори домашним любимцем был собственноручно им изготовленный механический осьминог по имени Катцу, который передвигался по дому как ему вздумается, отличался дружелюбием и любознательностью и был не прочь утащить какую-нибудь приглянувшуюся ему вещь.

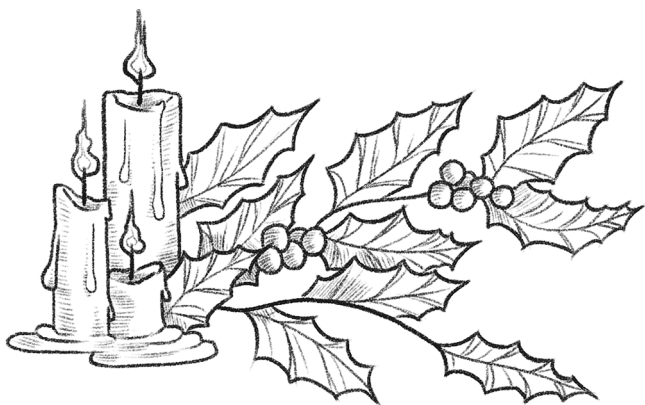
ЛИЛИ УИЛТ

Джесс Кидд



STONE HEDGE

STONE HEDGE



Юный Уолтер Пембл, непревзойденный мастер посмертной фотографии в штате у «Стердж и сыновья» (фотографическая студия, первоклассные портреты в любой обстановке, почтовые карточки, кабинетные фото, натуральные или подкрашенные по высокохудожественным канонам; все фото долговечные, с гарантией пройти проверку временем, групповые постановочные фото, инвалиды, недавно усопшие, дети, фото в домашней обстановке, конные портреты и т. п., тонкие знатоки всех известных и неизвестных новшеств в моде и методе светописа), к назначенному часу является в особняк на Ганновер-сквер.

Его приводят пред очи хозяина дома.

Мистер Уилт насупившись взирает на него из-за письменного стола. Пембл кланяется, изображает на лице угодливую улыбку. Мистер Уилт впивается в него ледяным взглядом.

— Никаких глупостей, — говорит мистер Уилт. — Не трогать, не паялься, не тереться у гроба. Миссис Уилт угодно думать, что наша дорогая усопшая дочь достойна



благоговейного поклонения, но я-то знаю, как моя дорогая Лили действовала на окружающих. А больше всего — на прощелыг вроде вас.

Пембл глубоко шокирован подобным приемом. Его лицо вспыхивает жарким румянцем до корней ухоженной бородки.

Мистер Уилт доволен произведенным эффектом.

— Да, и сделайте несколько фото толпы скорбящих, так сказать, для потомков.

— Толпы скорбящих, сэр?

— Мы откроем двери для желающих проститься в девять. Шевелитесь, шевелитесь.

* * *

Перед дверями в гостиную Пембл видит мольберт, на нем в золоченой рамке страница из вчерашней вечерней газеты с некрологом Лили Уилт. Некролог написан маститым писателем и частым гостем на обедах у мистера и миссис Румольд Уилт. Маститый писатель с большим чувством живописал приливы восхищения, кои испытывал, взирая на покойную. При жизни мисс Лили Уилт была прехорошенькой. В смерти она чудо как прекрасна. Лик ее пленяет красотой печальной и возвышенной. И загадочным выражением. Естественные процессы пощадили изысканную прелесть ее брэнной оболочки.

Маститый писатель призывает узреть в покойной мисс Уилт источник вдохновения для живых: совершенство возможно даже в смерти! Помещенные тут же поэтические





строки уподобляют Лили поникшему головкой подснежнику, приютившейся в гнездышке голубке, мечтательному агнцу.

Положительно, подобное зрелище заслуживает, чтобы на него посмотреть.

* * *

При виде покойной глаза Пембла увлажняются слезами. А ведь до сего момента Пембл не плакал ни разу в жизни, даже младенцем, даже когда только явился на свет.

Но не печаль исторгает из его груди слезы, не страх и даже не скорбь. Пембл, хоть и молод, достаточно повидал на своем веку покойников. Совсем крошек в украшенных кружевами гробиках. Благородных старцев, упокоившихся с миром. Уважаемых столпов местного общества. Подкрашенные и бережно уложенные покойники напоминают парадные серебряные ложки, хранимые в семейном буфете для воскресных трапез.

Так что нет, Пембл проливает слезы в умильном изумлении.

Его зрение туманится, отчего картинка перед глазами плывет и даже одевается сиянием. Пембл подкручивает колесики в одном из хитроумных механизмов фотокамеры и снова изучает объект съемки. До него не сразу доходит, что вовсе не в фотокамере что-то разладилось, дело в нем самом.

И теперь он рассматривает свой объект не через объектив, а собственным невооруженным глазом.



Ореол золотистых выющихся локонов, узкое, утопающее в белом одеянии тело. Руки молитвенно сложены на груди, точно у мученицы. А лицо — навечно упокоенная святая! Нет, пожалуй, не совсем святая. Ибо в линии ее рта проступает тень всезнающей улыбки, а пухлые, капризно надутые губы источают чувственность (святые мученики обычно тонкогубы, уголки их ртов имеют склонность скорбно загибаться книзу).

Горничная Нэн Хоули смотрит в окно. Она дожидается, пока фотограф закончит свою работу, чтобы снова распуштить бархатные портьеры (густо-малиновые, с кистями, тяжеленные — весят раз в восемь больше нее самой) и превратить белый день в гостиную в ночь. Потом она должна снова раскатать на полу ковер, занять положенное ей место и клевать головой в поклонах перед толпой безмозглых остолопов, которые припрутся в рассуждении поглазеть на покойницу в ящике. Ей велено тотчас же звать лакея, если кто-то из них *впадет в исступление чувств*. После она должна разжечь во всех каминах огонь, собрать на стол обед для прислуги, послушать, как певцы исполняют рождественские гимны, глотнуть чего-нибудь и съесть кусочек инжирного пудинга, как-никак Рождество на носу, и все такое.

Пембл выуживает из кармана носовой платок, промокает потное лицо. Он исходит потом, хотя в гостиной холодно. Прямо Арктика. Хотя через оконные стекла незанавешенных окон проникает медовое тепло от косых лучей зимнего солнца и жарко горит сотня белых конических свечей.

Воздух в гостиной пропитан густым, тяжелым благоуханием лилий, которых тут легионы. Каждое утро их





доставляют бережно спеленутыми охапками к задней двери особняка из всех оранжерей страны. Лилии в разгар зимы, подумать только! Когда земля скована морозами, а окна в узорах инея! Цветочные тетки усопшей источают такой же явственно колдовской дурман, что и сама усопшая Лили, единственная дочь мистера Румольда и миссис Гвиневры Уилт, обитателей завидно роскошного особняка на Ганновер-сквер в Лондоне. Дом погружен в скорбь. Все зеркала завешаны траурными покрывалами, маятники во всех часах остановлены. Портьеры на окнах плотно задвинуты, дверной молоточек подвязан полоской траурного крепа. Домашние изъясняются шепотом, прислуга — возводя очи горе.

Пембл возится с фотокамерой, что-то подкручивает, настраивает, то подойдет ближе, то отойдет дальше, потом останавливается поглядеть. И глядит. Глядит, глаз не отводит.

Горничная деликатно покашливает. Пембл смаргивает и возобновляет свои фотографические манипуляции.

Что за чудные пританцовки совершает мистер Пембл вокруг своей мудреной штуковины, Нэн такого сроду не видывала. Как опасно касается ее пальцами, можно подумать, боится, что она его цапнет или вскачь умчится из гостиной. Он с виноватым видом шарит под свисающей с нее хламидой, накрывается ею, выныривает, хмурит брови, передвигает то букет, то кофейный столик. Откуда же ей знать, что мистер Пембл — большой художник в своем деле и даже алхимик. Сей юноша умеет запечатлеть душу усопших, их сокровенную сущность. Самый их облик в момент, когда они отплывают в свое последнее





путешествие. Сей юноша мастерски управляется со стеклянными пластинами и меркнувшим светом, с фотографическими химикатами и порошками. Чтобы создавать изумительные фотографии, на которых умершие оживают, дышат здоровым румянцем, запечатленные для вечности свеженькими, целехонькими, в расцвете сил (какого бы возраста ни были). Пембл умеет запечатлеть последний трепет отлетающей души и сохранить его для потомков.

Но только не сегодня.

Сегодня руки у Пембла дрожат, голова идет кругом, он дышит учащенно, точно ему не хватает воздуха.

— Не будете ли вы любезны, — обращается он к горничной, которая все еще отирается у портьер, — подать мне стакан воды?

Но и в опустевшей с уходом горничной комнате он все равно чувствует нечто странное: неуютное, пугающее ощущение, что за ним наблюдают.

* * *

Нэн Хоули на четвереньках ползет через гостиную, замечая испитые чайники. Дальше случается вот что: рамка фотокарточки опрокидывается, свечи гаснут, ей в коленки задувает ледяным сквозняком. Нэн садится на корточки, в руке метелка. Поднимает хмурый взгляд на затянутый черным крепом гроб. Отполированная стенка затуманивается, точно от чьего-то дыхания. Проступают буквы, как будто их выводит чей-то палец.





Л. И. Л. И.

Нэн поднимается на ноги, бросает суровый взгляд на тело в гробу. Оно источает сияние, ладони сложены как в молитве — праведница, да и только. Разве что мисс Уилт праведницей отродясь не была, куда ж в праведницы с такими губищами — порок промеж них ишь как сочится. Нэн замечает игривый блеск из-под смеженных век.

— Вот что я вам скажу, мисс, лежите-ка вы как лежите, — твердо говорит Нэн. — И не вздумайте тут разгуливать.

* * *

Снаружи дневной свет меркнет, под занавес устраивая целое представление. Верхушки крыш словно выгравированы на затянutom буром маревом небосклоне. На улицах кипит восхитительно предпраздничная суэта. Продавцы жареных каштанов, апельсинов, лавки сияют газовым светом, по мостовой бесконечные вереницы двухколесных экипажей и омнибусов, повозок и тачек.

Однако пансион миссис Пич, как всегда, мрачно-безрадостен.

Высокий узкий обшарпанный дом с угрюмыми треугольниками фронтонов и щелястыми окнами. В вестибюле темень и промозглый холод, на несколько градусов ниже, чем на улице.

Пембл взбегаёт по лестнице, ящик с фотографическими принадлежностями закинут за спину, чтобы не мешал при подъеме. Этим вечером для него главное — не напороться на миссис Пич.





Дверь в ее комнату распахивается, ноги шаркают по коридору.

— Мистер Пембл, на одно словечко...

Пембл переходит на галоп, достигает своей комнаты и быстрее запирает за собой дверь.

Жгучий вопрос свербит в мозгу. Он засел там с момента, как Пембл отошел от гроба молодой женщины, и с тех пор его терзают адовы муки сомнений.

Смеет ли он надеяться, что у него получится правдиво передать ее облик? С помощью яичного белка и своих кюветок с азотнокислым серебром?

Сумеет ли он передать неземную красоту Лили Уилт?

В мансарде, где он занимает две комнаты, Пемблу отравляют жизнь неизбывные запахи вареных потрохов и лука, как и косые, безалаберно разновысокие скаты потолка. В этом своем жилище он приспособился вжимать голову в плечи, поскольку часто стучается головой и все никак не привыкнет ни к острым углам наклонных потолочных балок, ни к шатким половицам. Меньшую из комнат он приспособил под фотолабораторию.

Это здесь он проявляет сделанные снимки.

Фотографическая бумага затуманивается. Химикаты клубятся в ванночке.

И вот, как проблески рассвета, появляется образ!

Пембл вглядывается в фотокарточку. Лилии клонятся в вазах. Свечи мерцают. Прекрасное мертвое тело покоится...

Погодите-ка!

Пембл хватает увеличительное стекло, включает газовый рожек и при свете внимательно исследует изображение.





Прислонясь к каминной доске, уставившись мертвыми глазами в объектив, криво усмехаясь, стоит...

Наверняка это игра света. Или химикаты вдруг выкинули фокус?

Да нет, это она. Маленький, совершенной формы нос, слегка вздернутый, полные губы, нимб белокурых волос!

Лили Уилт.

И все же не совсем Лили Уилт.

Пембл делает медленный глубокий вдох. Увеличительное стекло в его руке дрожит. Он видит прекрасное лицо, видит грациозное тело. Но *сквозь* это прекрасное лицо и грациозное тело он видит бронзовые с позолотой часы и полную лилий вазу на каминной полке.

* * *

Пембл возвращается в особняк на Ганновер-сквер. Продирается сквозь толпы зевак и отвоевывает себе место на парадном крыльце, где признается дворецкому, что ввиду превратностей и деликатностей фотографического процесса с первого раза не удалось получить достойное изображение мисс Уилт.

Пембла приводят пред очи хозяина дома.

Пембл отвешивает поклон и жалко улыбается. Мистер Уилт поднимает голову и сверлит его взглядом. Выслушивает извинения Пембла. Ввиду репутации «Стерджа и сыновей» (избранный поставщик фотографических услуг разного рода знати и благородным особам) ему позволен еще один сеанс фотографирования.





— Но это в последний раз, Пембл. Я не допущу, чтобы прощанию чинились помехи. Люди прибывают из самых далеких краев, чтобы увидеть нашу дорогую усопшую Лили.

Пембл рассыпается в благодарностях.

Мистер Уилт что-то рывкает и снова погружается в свои бумаги.

* * *

Ах как разлетелась слава Лили!

Люди непрерывной цепочкой семяют мимо маленького гроба. Нэн на своем посту, готовая подтолкнуть скорбящих, если кто в восторженном умилении застынет как столб.

Даже Нэн со своим трезвым житейским разумом и та готова признать, что мисс Уилт определенно являет собой чудо. Чудо в том смысле, что ее тело пощадили естественные процессы, каких следует ожидать у трупа. Нет и следа смертной бледности, руки-ноги не подергиваются, глаза не пучатся, язык наружу не вываливается, как не видать и прочих ужастей, какие старуха с косой обычно выделяет с покойниками.

Какая-то старушка мешкает у гроба.

— Благослови ее, Господь! Боже мой, прямо святая малютка!

Сзади нее образуется затор, скорбящие сбиваются в кучку, толкаются, в любопытстве тянут шеи.

Старушка кидается к гробу, в руке зубчатые ножницы, коими она намерена отстричь себе на память реликвию. Нэн призывает лакея.





* * *

Гостиная снова пуста. Скорбящую публику выпроводили, дабы дать Пемблу последнюю возможность заснять портрет покойной. Нэн поменяла свечи, поправила цветы в вазах, разгладила бахрому турецкого ковра. Мистер Пембл тем временем устанавливает свою хитроумную штуковину. Нэн отступает на позицию возле портьеры.

Пембл откашливается.

— Не будете ли вы так любезны подать мне стакан воды?

Пембл ждет. Глаза прикованы к камину. Призрак Лили Уилт не появляется. Он подходит к гробу, заглядывает внутрь. Трогает краешек погребального покрова, потом руки, уложенные ладонь к ладони в молитве, как у ребенка. От рук исходит ледяной холод. Он наклоняется и целует покойницу в лоб, околдованный ее арктической красотой. Прикосновение к ее лбу заставляет его губы трепетать.

Дальше случается вот что: на кофейном столике трескается рамка с фотокарточкой, пламя свечей окрашивается голубым сиянием, комнату заполняет смех, ледяной и чистый, как капель ранней весной.

В ухе Пембла возникает медоточивый голос:

— Взгляни через свое приспособление.

Пембл бросается к фотокамере, путается в черной накидке, неуклюже тербит настройки фокуса, слабея от страха и томления.

Пембл не в силах унять осаждающие его сонмы «если» и «почему», «отчего» и «зачем» — пускай даже перед его объективом предстает столь восхитительный призрак.





И как предстает!

На этот раз она не у каминной доски, а, небрежно прислоняясь к краю гроба, шлет ему воздушный поцелуй, как девица с рекламы туалетного мыла. Вот только Лили Уилт идеально прозрачна и идеально прекрасна.

Пембл лихорадочно снимает кадр за кадром.

Призрак Лили Уилт прозрачным покровом раскидывается на козетке.

Призрак Лили Уилт ослепительно лучится возле пальмы в кадке.

Призрак Лили Уилт перед объективом, да так близко, что, будь она живой, стеклышко туманилось бы от ее дыхания.

Призрак Лили Уилт по эту сторону объектива в тесной темноте под фотографической накидкой рядом с ним. Порыв леденящего потустороннего холода, восхитительная дрожь по его телу.

— Ты, как я погляжу, умеешь обращаться с этой штуковиной, — шепчет она. — Должно быть, ты человек ученый и знающий.

Пембл польщен.

— Фотография — это еще и искусство, мисс Уилт. Слово «фотография», видите ли, происходит от древнегреческих слов «свет» и «писать» посредством...

— Ну да, ну да. Слушай, у меня к тебе предложение. Если сумеешь вернуть мой дух в мое тело, я твоя.

— Лили, дорогая! — стонет в темноте Пембл.

— Мне надоело быть призраком, — дразнящие нотки в голосе. — Я столько всего не успела испробовать, — тон все соблазнительнее. — Скажем, побывать замужем.





Глаза Пембла наполняются слезами. На сей раз от восторга.

Но чудовищность просьбы заставляет его содрогнуться.

— Но как?!

— Ну, всякие там фокусы с молнией, походы на кладбище, что-то в этом роде, да ты сам сообразишь. Пообещай, что спасешь меня, милый... э-э-э...

— Уолтер.

— Милый Уолтер.

Пембл кивает.

— Обещаю.

* * *

Начался снегопад. Огромные пухлые хлопья танцуют и кружатся в свете газовых фонарей. Шуршат по оконным стеклам. Одевают сияющей белизной крыши. Слетают на ресницы и носы весело резвящихся детей. Пембл обращает лицо к небу и получает благословение нежными морозными поцелуями, точно из уст своей обожаемой мертвой возлюбленной! Он легко шагает в толчее лондонских улиц. Как и положено всякому молодому влюбленному, он весь во власти блаженства и наваждения, трепетных восторгов и страха.

Он любит окна в обрамлении рождественских финтифлюшек и веточек омелы. Любуется азартом уличных мальчишек, тырящих у торговки горячие пирожки. Любуется на зеленеющие свежей хвоей шествия молодых елочек, стоймя везомых на тачках сквозь запруженные народом улицы. Любуется на прохожих, нагруженных пакетами и свертками.





До Рождества всего неделя.

Рождества с Лили Уилт.

Долгие прогулки, разговоры, съеденный напололам апельсин, поездки в омнибусе, кувыркания и щенячья возня в постели (ах как рдеют при этой мысли щеки Пембла!).

А ему всего-то и надо, что проделать небольшой, пускай и богохульный, фокус-покус по воссоединению духа Лили с ее телом.

* * *

С утра пораньше он направляет свои стопы в платную библиотеку Муди*. Он так одержим страстным желанием спасти возлюбленную, что не смущается ни благоговейной тишиной центрального зала, ни недоуменным, свысока взглядам библиотечных клерков. В ожидании своей очереди он сгорает от нетерпения. Его подстегивает каждый такт тикающих на стене часов, бесит каждая старая карга, сама не знающая, какую книгу хочет, он готов убить каждого лакея, с лентой сгружающего заказанные книги в тележку.

Наконец нужная книга у него в руках.

«Как воскрешать мертвых».

В ближайшем проходе Пембл торопливо срывает коричневую бумажную обертку и стонет от разочарования. Пользы от книжонки никакой, в ней речь про вернувшегося из плавания капитана и неунывающую, правда, пока

* Библиотеки с платной выдачей книг были широко распространены в Англии в XVIII–XIX веках. Одну из таких библиотек основал издатель Чарльз Эдвард Муди (1818–1890).





одинокую, вдову, и дело происходит где-то в окрестностях Портсмута.

От разочарования Пембл чуть не плачет. И вдруг... его озаряет! Он спешает к Семи Циферблатам*.

У ухмыляющейся барменши Пембл покупает горячий пунш, нервно кивает местным завсегдатаям и усаживается в пустой кабинке. Говорят, в этом пабе за деньги тебе добудут все что угодно. Все на свете.

Тотчас же на банкетку напротив Пембла проскальзывает вертлявый грязноватый субъект и салютует ему, небрежно касаясь пальцами краешка выдавшей виды шляпы.

Пембл, понизив голос, обрисовывает, в чем состоит его противоестественная затея. Его направляют в Камден-Таун**.

В темном коленце темного переулка, в темном закутке притаился фасад слабо освещенной унылой лавчонки. Вывеска над дверью гласит:

Нарциссус П. Тумс

Книготорговец

Книги о науках и эзотерике

Таксономия и таксидермия

Пембл мгновение колеблется, зажмуривается и вызывает в памяти восхитительные формы Лили Уилт. Укрепившись духом, решительно входит в лавку.

* Семь Циферблатов — знаменитая маленькая площадь недалеко от Ковент-Гарден, от которой лучами отходят семь улиц. По имени площади называют весь окружающий ее квартал, в настоящее время — пристанище торговцев и всякого сброда.

** Камден-Таун — район на северо-западе Лондона, известен своими рынками и доходными домами.





Над ним звенит дверной колокольчик. От легкого сквозняка в воздухе пускаются в пляс пылинки.

Хозяина лавки нигде не видно. Все поверхности завалены кипами старинных, затянутых паутиной книг. Вдоль стен от пола до потолка высятся покрытые слоями пыли книжные полки. Позади стола чучело совы в монокле.

Пембл покашливает, желая привлечь внимание. Потом еще и еще.

В темном углу происходит какое-то шевеление, из-за высоченной горы книг выступает нагой человек с внушительной бородищей.

— Ваша одежда, сэр! — восклицает ошарашенный Пембл.

— Я впитываю знания, — безмятежно говорит человек. — А вы ищете что-то конкретное?

Пембл выкладывает ему свою малоприглядную просьбу. Мистер Тумс слушает его с несколько нездоровым блеском в темных глазах. Он уже скрыл наготу под шелковым кимоно, рассеянно почесывает густые волосы на груди и время от времени поощряюще кивает.

Когда Пембл закругляется, мистер Тумс до боли крепко жмет ему руку.

— Мой милый мальчик! — в порыве чувств выпrenно возглашает он. — Ты соступил с пути праведного, светом осиянного в мир воров и костермонгеров*, шлюх и поденщиков, шарлатанов, прорицателей и злочных заведений. Смердящий зловонием даже в зимнюю стужу. Оглашаемый шумом

* Костермонгеры — лондонские уличные торговцы, продававшие в основном овощи, но также фрукты, рыбу и другие товары, составлявшие на протяжении длительного исторического периода особую социальную группу людей со своими традициями и обычаями.





и криками, ибо тут в любой час зазывают, бранятся, дерутся и любят.

— Ну да, в Камден.

— Ты явился сюда в поисках знания. В жажде вызнать все секреты природы, прикоснуться к тайнам жизни и смерти, воистину взять на себя роль Господа. Ты жаждешь заполнить в свои трепетные руки фолианты древние и оккультные!

— Если вас не слишком затруднит.

Тумс напускает на себя вид глубокой задумчивости. А когда отверзает уста, голос его мрачно серьезен.

— Способ есть. Способ глубоко нечестивый и опасный. Против всех законов благопристойности, человеческой натуры и самоё природы.

Пембл трепещет.

— Способ, — продолжает Тумс, — каковой вкупе с ловкостью хирургического скальпеля вернет к жизни это престестное мертвое тело, позволит ему дышать и вздыхать, румяниться и услаждать вашу душу игрой на фортепианах.

— Такое и правда возможно?

— Более чем, мой милый мальчик! Ничто не мешает вернуть Лили Уилт к жизни.

* * *

Пока мистер Тумс разыскивает на полках нужный том, он делится с Пемблом трагической историей своей жизни.

Когда-то давно перед мистером Тумсом расстилалась карьера совсем иного свойства.





Его двоюродный дед Таддеуш «Рыжий» Тумс умел в какую-то пару минут ампутировать ногу, а его отец Теодор — за минуту вырезать опухоль. Столь велики были таланты этой прославленной медицинской династии, что, дай в руки бабушке Тумс столовый нож, она выковыряет у вас желчные камни раньше, чем вам подадут чашечку чаю. Увы, многообещающая хирургическая карьера Тумса рухнула в одночасье по причине несчастной любви.

Любовь нагрянула к нему над прозекторским столом.

Тумс прерывает свои воспоминания и бросает на Пембла душераздирающий взгляд. Такое страдание написано на его лице, такие ужас и подавленность, что Пембл невольно вздрагивает.

— Покойница отличалась редкостной красотой. А я был молод, отважен и дерзок. — Глаза Тумса наполняются слезами. — Есть перспективы, каких не можешь не видеть, Пембл. Есть поступки, каких нельзя не совершить.

Искомый том находится, и по этому случаю они распиивают графин достойного кларета. Затем Тумс оборачивает черной бумагой внушительных размеров фолиант в каждом переплете и вручает сверток Пемблу.

Он отказывается от денег, которые отсчитывает ему Пембл.

— Один вопрос хочу задать тебе напоследок, пока ты не ушел. — Тумс туже стягивает пояс кимоно и смотрит Пемблу в глаза. — То, что ты затеял, мальчик, не для слабонервных, можешь быть уверен. Так ответь: она ли тебе нужна?





Пембл баюкает в руках неподъемную книжищу, вместилище всех тайн жизни и смерти.

Лили Уилт. Лили Уилт. Лили Уилт.

Сколько колдовства в этом имени, сколько колдовской прелести в его обладательнице!

Лили Уилт — само очарование.

Пембл вызывает в памяти ее почивающее в вечном покое тело. Ее золотистые локоны, слегка вздернутый носик, маленькую грудь в пене белых кружев. Ее покрытые нежным пушком руки, тяжелые ресницы, перламутровые полукружия ногтей.

Он представляет себе ее голос, обольстительный, медовый, женственный.

Он представляет себе ее душу, искристую, жизнерадостную.

И вдруг Пембла как молнией поражает неизъяснимое чувство, что он всегда любил Лили Уилт, всегда поклонялся ей! Она создана для него, а он создан для нее.

— Да, — твердо отвечает Пембл. — Лили, и больше никто.

* * *

Трудную работу он на себя взвалил, трудную и долгую. Старинный фолиант раскрыт у него на столе; на его пожелтевших от времени страницах Пембл взыскивает ужасные тайны. Озарения, коих он жаждет, чернильными бабочками вспархивают из его сознания в момент, когда он, кажется, познает их.





Уже сколько дней Пембл не покидает своей мансарды и даже забросил свои фотографические ангажементы. Когда он засыпает, его изводит один и тот же сон.

Недобрый сон.

Как будто он в каком-то людном месте стиснут толпой юношей в обтрепанной одежде. Над толпой шум и гам, все кричат, насмеваются, дразнятся. В воздухе воняет перегаром, застарелым табачным дымом и дешевым маслом для волос. Пембла посещает смутная догадка, при каком зрелище он присутствует: вокруг него студенты-медики, а место, где они сгрудились, — анатомический театр.

Вдруг повисает тишина.

Двойные двери в зал распахиваются, и две дородные санитарки вкатывают тележку с расprostертым на ней телом. Это тело Лили Уилт. Голые ноги, босые ступни, туловище скрыто простыней, лицо исхудавшее и пустое, волосы тусклые и спутанные, как после тяжелой болезни.

За тележкой мерно вышагивает хирург, склонив голову так, что край цилиндра съехал ему почти на нос. Студенты-медики затягивают реквием.

Лили перекладывают на стол, залитая мертвенной белизной рука падает, золотистые волосы рассыпаются. Обтрепанные джентльмены в зале все как один задерживают вздох и подаются вперед.

Хирург кивает ассистенту, тот выступает вперед и закатывает мэтру рукава. Торжественно накидывает мясницкий фартук, заскорузлый от запекшейся крови, жуткий на вид, завязывает за спиной мэтра тесемки.





Хирург снимает цилиндр. Нарциссус П. Тумс, милостиво улыбаясь, оглядывает собравшихся.

Потом поворачивается изучить разложенные на столике рядом инструменты, пробегает по ним пальцами и выбирает длинную остро заточенную пилу. Теперь мистер Тумс неспешно подходит к прозекторскому столу, на его губах играет похотливая улыбка. Он кладет руку на щеку Лили.

Глаза ее открыты...

* * *

Особняк на Ганновер-сквер обхвачен ночной темнотой. Мистер Уилт пребывает в глубоком сне. При каждом звучном всхрапе внушительные усы важно вздымаются. Миссис Уилт в ночном чепце уютно свернулась под одеялом и во сне наслаждается нескончаемой болтовней о мопсиках и серебряных чайниках. Внизу в гостиной святая Лили, выставленная в гробу, утопает в море кружев, газа и шелка, руки сложены ладонями вместе в вечной молитве. Повар, дворецкий, лакеи, мыши в кладовых, собаки на псарне — все погружены в сонное забытие. Одна Нэн Хоули бодрствует. Она зажигает свечу и тихо ступает по притихшему дому.

Она бесшумно прикрывает дверь в гостиную и зажигает газовые рожки. В гостиной прохлада, гроб сияет полированными боками, однако в воздухе витает сладковатый запах разложения. Лилии закрылись, воронки цветков поникли, лепестки свернулись.





Нэн пододвигает стул к гробу. Лицо у Лили такое же, как в утро ее смерти, ничуть не изменилось. Нэн щурит глаза и всматривается в черты покойницы. Через какое-то время замечает перемены в мертвом лице Лили. Ее красота малость померкла. Полные губы истончились, вокруг глаз наметились морщинки, как от прищура, и от этого видок у трупа, прямо скажем, прокисший и недовольный. Кожа отливает зеленоватой бледностью, тугие локоны у висков подразвились.

Может, Лили и способна на не виданные миру живых колдовские фокусы, но смерть провести никому не по силам.

— Что это вы себе удумали, мисс? — шепотом вопрошает Нэн.

Дальше случается вот что: на кофейном столике подпрыгивает рамка с фотокарточкой, остановленные часы на камине начинают тикать, по бахrome турецкого ковра пробегает рябь.

Нэн выжидает. Полированное дерево стенки гроба затуманивается, сквозь туман проступают слова:

Л. И. Л. И. Ж. И. В. А. Я.

— Нечего тут губы-то раскатывать, — ворчит Нэн. — Если вам что и нужно, мисс, так это тихие, мирные похороны. Срам это — напоказ-то выставляться и чтоб на вас пол-Лондона тарашилось. Это ж ни на что не похоже!

Нэн чудится, что тень раздражения пробегает по прекрасным недвижным чертам покойницы.

Нэн некоторое время размышляет, устремив невидящий взор на спящее вечным сном лицо Лили Уилт. Мало-помалу у нее созревает мысль попросить совета у того





самого маститого писателя и частого гостя на обедах у мистера и миссис Румольд Уилт. В самом деле, это ж с его некролога началась вся эта канитель. Нэн уверена, что добьется аудиенции у этого знаменитого джентльмена, — разве не с нее писана героиня одного его известного рассказа?

— Вот я переброшусь словечком с мистером Д***. Вот увидите, я смогу. Уж он вправит мозги вашим дорогим папаше и мамаше.

Дальше случается вот что: пламя в газовых рожках ярко вспыхивает, лилии в своих вазах съеживаются, над ухом Нэн завывает арктический ветер.

Нисколько не напуганная, она закрывает крышку гроба, довольная, что с неприятным делом покончено.

* * *

Пембл просыпается от настойчивого стука в дверь. Открывает глаза. Его щека лежит на смятой странице великой книги о жизни и смерти.

Стук меняется, теперь в дверь столь же настойчиво колотят кулаком. Пембл выпрямляется за столом.

Теперь снаружи трясут ручку двери. Со всей силы. Его окликает притворно-жалобный гундосый голос.

— Мистер Пембл, вы, случайно, не дома ли?

Пембл захлопывает книгу, прячет ее и успевает натянуть брюки, прежде чем в дверях возникает миссис Пич: его замок она открыла как нечего делать. Перед Пемблом хозяйка пансиона, ужас что за ведьма, тонкая как хлыст,



тощая, щетинится острыми локтями и ключицами, на голове устрашающая копна черных как смоль кудельков (не собственных).

— Вы уж простите мое вторжение, мистер Пембл, — слова сопровождаются делано горестной улыбкой. — Неделю как вас не видела, и кстати, что там у нас с арендной платой? — Она оглядывает комнату, замечает нетронутую кровать, на ней явно не спали, замечает и объедки скудных Пембловых трапез. — Вы что же, мистер Пембл, хотите мне на весь дом напустить крыс?

— Простите, нет, конечно.

— Я, мистер Пембл, содержу мой пансион в чистоте и опрятности.

— Да-да, давайте я вам принесу деньги прямо вниз, — предлагает Пембл со всей учтивостью, какую сумел наскреести в душе.

Миссис Пич пересекает комнату, поднимает занавес, скрывающий фотолабораторию Пембла, заглядывает внутрь.

— Мистер Пембл, мы, кажется, уговаривались, что здесь будет ваша опочивальня, не так ли?

— Ах, простите, да.

Миссис Пич переключает внимание на разбросанные по всей комнате фотокарточки.

Пембл закипает гневом, видя, как миссис Пич берет и с любопытством разглядывает восхитительные изображения тела Лили Уилт.

— Она же мертвая?

— К прискорбию, да.

— Бедная малютка. Сколько же ей было, двенадцать?

— Семнадцать.





— Чахотка, да? Вот ведь напасть, косит, подлая, юных красавиц направо и налево.

— Нет. Никакая не чахотка.

Она, прищурившись, вглядывается в фотокарточку.

— Тогда, наверное, несчастный случай? Вон голова какой странной формы, на виске вроде бы вмятинка.

— Ее голова совершенна. Она скончалась во сне.

— Это что, Лили Уилт?

— Да.

— Та самая *знаменитая* Лили Уилт?

Пембл молчаливо соглашается.

— «Спящая вечным сном красавица»! В газетах ее называют «Главной праздничной достопримечательностью Лондона»! — Миссис Пич бросает на Пембла лукавый взгляд. — Да жаль, ненадолго.

Пембла охватывают дурные предчувствия.

— О чем это вы?

— Так ее же продали хозяину одного цирка. Погрузят Лили Уилт на корабль, и поплывет она в Америку, а то как же.

Пембл в ужасе вздрагивает.

— Нет, вы только подумайте! — никак не уймет свою трескотню миссис Пич. — В честь этой маленькой замухрышки уже и туалетное мыло назвали!

Пембл сгребает в охапку пальто со шляпой и стремглав бежит к двери.

— Мистер Пембл, плату, будьте так любезны, не забудьте!

Пембл на всех парах несется к семейному особняку Уилтов на Ганновер-сквер. Наметанный глаз дворецкого





у парадного крыльца отмечает вот что: весь всклокоченный, пальто нараспашку, взгляд безумный, руки заметно трясутся, губы — тоже. Дворецкий сообщает Пемблу, что за его отсутствием его наниматели «Стердж и сыновья» прислали второго у них по даровитости посмертного фотографа, мистера Стиклса. Мистер Стиклс явился незамедлительно, со всем тщанием провел сеанс и представил мистеру и миссис Уилт коллекцию фотокарточек, коими те совершенно очарованы.

— Позвольте ли мне всего лишь... Умоляю, на один момент к мисс Уилт...

— Боюсь, что нет, сэр. — Дворецкий решительно захлопывает дверь перед носом у Пембла.

Пембл бредет прочь. Он едва соображает, что сейчас сочельник. Толпы жизнерадостных людей, легкий снежок, довольные уличные мальчишки и торговцы апельсинами, с пылу с жару каштаны, нарядно украшенные окна лавок — только Пемблу до всего этого нет дела. И вдруг лучик света вспыхивает во мраке. Ему вспоминается образ возлюбленной. Перед мысленным взором встает ее изящный призрак, ее безукоризненное, как у святой, тело.

Заветный голос снова звучит в его ушах: «Поторопись с чем обещал, дорогой Уолтер. Я жду».

Снова окрыленный, Пембл решительно сворачивает к Семи Циферблатам.

У ухмыляющейся барменши Пембл покупает себе порцию горячего пунша, как знакомым кивает местным заведующим и усаживается в пустой кабинке. Тотчас же на банкетку напротив Пембла проскальзывает вертлявый





грязноватый субъект и салютует ему, небрежно касаясь пальцами краешка выдавшей виды шляпы.

Понизив голос, Пембл излагает ему суть своей преступной просьбы.

Грязноватый субъект шумно втягивает в себя воздух сквозь оставшиеся зубы.

— Это влетит вам в копеечку. Плата двойная. Сочельник, знаете ли, и все такое.

— Главное — позаботьтесь, чтобы с ней обращались бережно. — Уж Пембл знает, как обращаться с подобного сорта темными личностями. — Плачу сверху, если доставите в целости и сохранности.

Темная личность щерится и небрежно касается краешка выдавшей виды шляпы.

— Уж будьте покойны, пылинки сдувать будем.

* * *

Глухая полночь. Длинный, узкий сверток осторожно поднимают по ступенькам пансиона миссис Пич в занимаемую Пемблом мансарду. Операция проходит без происшествий, домовладелица ни о чем не подозревает, сраженная наповал доброй порцией разбавленного джина.

Пембл велит занести сверток в темную комнату, где у него фотолаборатория. Там уже приготовлено место, где воссоединятся тело и дух Лили Уилт. Пембл почти задыхается от возбуждения, ждет не дождется, когда уйдут незнакомцы в закрывающих лица масках. Наконец-то. Он запирает за ними дверь.



Пембл нетерпеливо распутывает бечевки, руки его трясутся. Охваченный благоговейным страхом, он не осмеливается взглянуть на земное тело возлюбленной целиком. Он по глоточку впитывает в себя восхитительное зрелище. Изящные пальчики ног, точеные икры, бесподобный изгиб бровей, ее милая щечка, отвердевшая как камень...

— Уолтер, милый, — раздается язвительный голос, — на меня и так уже вдоволь наглазелись все кому не лень. Не пора ли тебе наконец вернуть меня к жизни?

* * *

Пембл сверяется с полученной от мистера Тумса книгой жизни и смерти. Проверяет, все ли нужные инструменты на месте, и мысленно повторяет последовательность действий. Старается унять неистово бьющееся сердце.

Призрак Лили Уилт плавает по комнате, переливаясь и мерцая в контурах своего облегающего савана, разглядывает собственные фотокарточки.

— Очень даже неплохого фотографа я себе раздобыла, разве нет?

Пембл утирает пот со лба.

— Да, любимая. — И после некоторой заминки добавляет: — Ведь мы могли бы все оставить как есть. Я бы ничего не имел против, останься ты немножко, ну как бы это сказать, бестелесной.

Призрак Лили вонзает в него ледяной взгляд.





— Зато я против. Ты дал мне слово, Уолтер. Я хочу есть конфеты, хочу ездить на балы. — К ее голосу добавляются сладострастные нотки: — Я хочу снова испытывать все прелести земной жизни.

Уолтер краснеет как рак и отводит взгляд.

— Я посмотрю, чем тебе помочь, любимая.

Телесные останки Лили Уилт лежат на твердой поверхности лавки. По полу вокруг лавки расставлены зажженные лампы. Рядом стол — от его вида Пембла бросает в дрожь — с разложенными хирургическими инструментами. Под лавкой жестяное корыто и несколько больших оплетенных бутылей. Пол посыпан опилками. В углу на умывальном столике загадочное собрание предметов. Среди них можно увидеть крылышко коноплинки, зеркало, блюдо с кусками мела и чашу для причастия.

Идут часы. На церкви звонят колокола. Рождество.

Тело и дух Лили Уилт воссоединились, и теперь она сидит в кресле у окна. Чайная чашка возле ее правого локтя наполнена джином. А сейчас она подносит к уху свернутую фитильком корпию. За неимением одежды она позаимствовала ночную сорочку Пембла. Он отводит глаза, чтобы не видеть стежков на воспаленной коже, наискось пересекающих ее декольте.

Фотолаборатория Пембла в страшном беспорядке. В жестяном корыте сгустки запекшейся крови, опилки на полу сбились в кучи. Хирургические инструменты замотаны в саван Лили, а крылышко коноплинки прилипло к стене.

Лили Уилт скашивает глаза, ловит взгляд Пембла.

— Я хочу мороженого, — требует она плаксивым тоном избалованного ребенка.





* * *

Лили нравится сидеть возле окна и наблюдать, как внизу по улице снуют прохожие.

По большей части она пребывает в апатии. Целыми днями она грызет орешки и сплевывает скорлупки на пол. Разве что иногда вдруг раздражается непрстойной песенкой.

Пембл сбивается с ног, доставляя Лили все, что она ни пожелает: книжки, ленты, тесемки, волчок, птичку в клетке, мандолину.

— Хочу танцевать, отвези меня на бал, — хнычет Лили.

— Сначала ты должна поправиться, дорогая.

— Но мне хуже, а совсем не лучше! Что ты со мной наделал?

Пембл и сам задается этим вопросом.

Лили очень изменилась, она меняется с каждым днем. Она растеряла алебастровую белизну, присущую ей в смерти, ее кожа обвисла, глаза западают все больше и больше, золотистые волосы теряют блеск.

* * *

Пембл подходит к реке, смотрит на воду. Снова идет снег и на загруженных лондонских мостовых превращается в черную слякоть. Заголовки на газетных стендах кричат о таинственном исчезновении Лили Уилт. Горе ее скорбящих родителей разрывает душу. За возвращение тела назначена умопомрачительная сумма. Пембл, пошатываясь, отходит от стенда, еще ниже надвигает на глаза шляпу.





На скамейке в парке долго не высидишь, холодно, и он ищет пристанища в тавернах. Он приохотился к спиртному покрепче. И все время испытывает страх: боится заснуть, боится бродить по улицам, но больше всего боится идти домой.

* * *

Лили велела придвинуть кровать к самому окну, чтобы смотреть на улицу, пока она поправляется. Она ноготком вырезает узоры на заиндевевшем стекле. Ей нравится скрежещущий звук.

С выздоровлением появляются прихоти. На смену отбивным бараньим котлеткам приходит паштет из телячьей печени. Тот уступает место мясу для кошек, а оно в свою очередь — кошатине. Пембл ночами рыщет по улицам в поисках бездомных кошек. Он содрогается всем телом, передавая Лили извивающийся мешок с несчастными зверюшками. Лили ухмыляется и задерживает занавески балдахина. Пембл слышит омерзительные хрусты и чавканье. Потом собирает с пола выброшенные Лили шкурки и сжигает их в камине. Комната наполняется густой вонью паленой шерсти. В один из дней ноги сами несут Пембла в Камден-Таун. Вниз по темному переулку, в темное коленце, в темный закуток. Пембл смотрит на фасад брошенной лавки. Вывеска над дверью сильно выцвела; что на ней написано, не разобрать. Пустые полки высятся от пола до потолка, пыльные, затянутые паутиной.



Уличные коты, не будь дураками, теперь ведут себя осторожнее, и Пемблу приходится расширять свои охотничьи угодья. Уже совсем поздно, когда он возвращается в свои меблированные комнаты в мансарде. Вздвигается по лестнице, закинув за спину мешок с шипящими котами. Дверь в мансарду открыта. Миссис Пич с квадратными глазами что-то бормочет, стоя возле кровати Пембла.

Пемблу нет нужды представлять хозяйку пансиона Лили Уилт, прикроватные занавески и так раздвинуты.

К счастью, жестяное корыто и хирургические инструменты все еще хранятся у него в темной комнате-фотолаборатории.

* * *

Нэн Хоули осторожно крадется по улице, на которой стоит пансион миссис Пич. Укрывается под навесом лавки на противоположной стороне и, сжимая в руках корзину, с которой ходила на рынок, хмуро вглядывается в окна мансарды. Мальчишка-подметальщик здешнего перекрестка берет на заметку уходы и приходы мистера Пембла. Нэн кладет монетку в грязную ладошку, и мальчишка рассказывает ей прелюбопытные вещи. Иногда мистер Пембл выходит купить разные предметы. Музыкальную шкатулку, ананас, канарейку в клетке. В иные дни мистер Пембл пропадает на улице до полуночи, а возвращается с мешком, в котором что-то шевелится.





А вот, кстати, и мистер Пембл собственной персоной. Украдкой оглядывается, прежде чем ступить на улицу, повыше поднимает воротник пальто и куда-то устремляется, взяв весьма резвый темп.

Нэн поражена перемене в молодом человеке. Воспаленные красные глаза, безжизненный взгляд, бородка торчит клочьями, одежда вся в пятнах, давно не чищенная обувь заляпана грязью.

Нэн поспешает следом.

* * *

В сомнительного свойства таверне на Семи Циферблатах Нэн видит, что Пембл заказывает выпивку, усаживается в кабинке и, свесив голову, пристально разглядывает содержимое своего стакана. На лице его застыло отчаяние обреченного.

Нэн садится напротив, ставит рядом свою корзину.

Пембл поднимает на нее взгляд и хмурит лоб. Ему знакомо это лицо, но откуда, он не знает.

— Мистер Пембл, вам, случайно, не известно, где сейчас находится мисс Уилт?

В глазах Пембла вспыхивает искорка узнавания.

— Вы ведь горничная?

— Да, сэр.

Пембл выуживает из кармана пальто фотокарточку. Кладет на стол перед Нэн.

— Это фото я сделал с Лили вчера. Будьте любезны, скажите-ка мне, что в точности вы на нем видите.





* * *

На обратном пути в пансион Нэн предлагает Пемблу опереться на ее руку. Сначала у того и правда заплетаются ноги, но студеный воздух и молчаливое ободряющее присутствие Нэн, судя по всему, оказывают на него живительное действие. У дверей пансиона он грустно улыбается Нэн.

— Вы ведь знаете, что вам должно сделать, так, сэр? — шепчет Нэн.

Пембл кивает.

— Тогда соберитесь с силами.

Пембл тяжелым шагом идет внутрь.

Нэн некоторое время стоит перед пансионом, задрав голову к окнам мансарды, потом ту же затягивает на груди узел теплой шали и пускается в обратный путь домой.

* * *

День похорон Лили Уилт природа встречает лютым холодом и ясной синевой небес. Могильщики много часов долбили мерзлую землю. Катафалк степенно движется к кладбищу. В проемах окошек поблескивают полированными боками гроб, видно, что его покрывает сплошной ковер цветов. Катафалк увлекает шестерка отборных вороных коней, они прорываются сквозь густой жаркий пар своего дыхания. За катафалком следует процессия скорбящих, закутанных в черную бумазею, креп и тяжелые кружева.





Пока катафалк катит по лондонским улицам, в процессию вливаются все новые скорбящие, и на подъезде к кладбищу за похоронным кортежем уже колышется огромная толпа. Лили Уилт по-прежнему внушает публике острое любопытство. В истории этой Спящей красавицы остается одна последняя тайна. Ее тело появилось в гостинной на Ганновер-сквер таким же непостижимым образом, как прежде исчезло. Так что чувствительная публика с облегчением выдыхает. Пока не приходит новость, что перед погребением Лили Уилт в гробу уже не выставят для прощания. Сейчас же ползут темные слухи. Она побывала в руках у какого-то извращенца. Она страшно изуродована. Полиция не вправе разглашать подробности. Семейство воздерживается от комментариев.

Какой-то незнакомец на кладбищенской аллее прислушивается к звукам приближающейся похоронной процессии. Его сердце припускает быстрее, когда на аллее появляется шестерка вороных; катафалк медленно проплывает мимо, султаны из черных перьев на головах лошадей мерно покачиваются. За катафалком толпа людей, все всхлипывают, шмыгают носами, стенают по покойной. На деревьях расселись вороны и, как всегда, непочтительно нарушают богохульным карканьем благоговейный настрой толпы.

Лили Уилт обретает последний приют на живописном, издалека заметном фамильном участке, престижно расположенном на центральной аллее кладбища. Со временем над ее могилой установят резного ангела, достойного своим мраморным очарованием посмертного очарования покойницы. Скорбящие отбывают, понижая надвигая на лбы



шляпы, потуже заворачиваясь в накидки, поглубже засовывая замерзшие руки в муфты, предоставляя могильщикам закончить их дело.

Нэн Хоули задерживается у могилы до последнего. Просто желает убедиться, что все кончено.

Сгущаются зимние сумерки. Уолтер Пембл опускается на колени у могилы возлюбленной.

Он ждет. И слышит ее голос. Слегка раздраженный.

— Совсем не такой конец я задумала, Уолтер.

Пембл поднимает глаза, перед ним стоит Лили Уилт, и к ней вернулась ее ледяная красота.

— Моя дорогая Лили.

Она одаривает его сардонической улыбкой.

— Полагаю, у нас есть один верный способ навеки соединиться.

Пембл кивает, трет глаза. Идет к выходу с кладбища и предается в руки первому встречному констеблю.

* * *

Утро в особняке на Ганновер-сквер. В просторной кухне дворецкий вслух зачитывает новости из газеты, экономка намазывает масло на подсушенный ломтик хлеба. Нэн ставит на стол закипевший чайник.

— Ага, вот она. Подумайте, какие дела, — говорит дворецкий.

— Он был чудовище, — экономка наносит поверх масла капельку джема.

— Не то слово, какое чудовище.





Нэн выравнивает столовые приборы, считает крошки.

— «Уолтер Пембл, до недавнего времени служивший фотографом, — вслух читает дворецкий газетную заметку, — осужден за похищение останков мисс Лили Уилт, “Спящей вечным сном красавицы”, из фамильного особняка на Ганновер-сквер. Он также признался в убийстве своей квартирной хозяйки, которое ранее приписывали неизвестному лицу. Это произошло после того, как она обнаружила совершенное им преступное деяние».

Экономка ахает.

Дворецкий отпивает чаю.

— Разврат и безнравственность.

— Нынче он сплошь и рядом, — отзывается экономка. — Разврат этот.

— Малый растерял последние остатки рассудка, — говорит дворецкий тоном, намекающим на недомыслие со стороны мистера Пембла.

Экономка хмурит брови.

— Так оно и есть.

— Всенепременнейше.

* * *

Перед Ньюгейтской тюрьмой толпы народу. Нет, казнь через повешение не предполагается проводить публично, просто денек выдался на диво погожий для января, грех в такую погоду не выйти на улицу. Нэн тоже стоит в толпе. Когда подходит время казни, она роняет несколько слезинок по непутевому мистеру Пемблу.



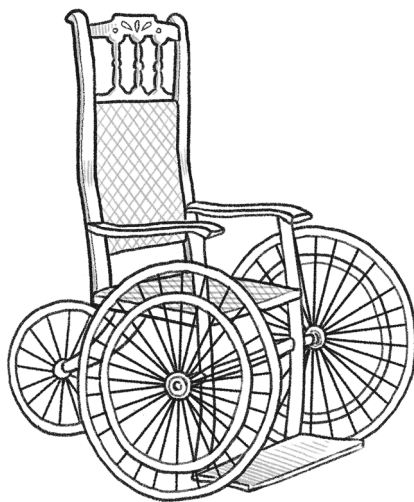


В тот же день, но уже после обеда, Нэн достает из личных закровов под своей кроватью потертую коробку от сигар. Внутри серебряный наперсток, прядь седых волос, несколько засохших цветков и фотокарточка.

Она очень долго вглядывается в фотокарточку. Затем чиркает спичкой и подносит к ней огонек. Фотобумага коробится, занимается пламенем, а с ней и жуткая ухмылка Лили Уилт. Нэн бросает карточку в камин. Какое-то время неподвижно стоит рядом, погруженная в глубокие раздумья о жизни и смерти и о том ужасе, которой таится промеж них. Ближе к вечеру она умудряется съесть половину пирога с крольчатинной.

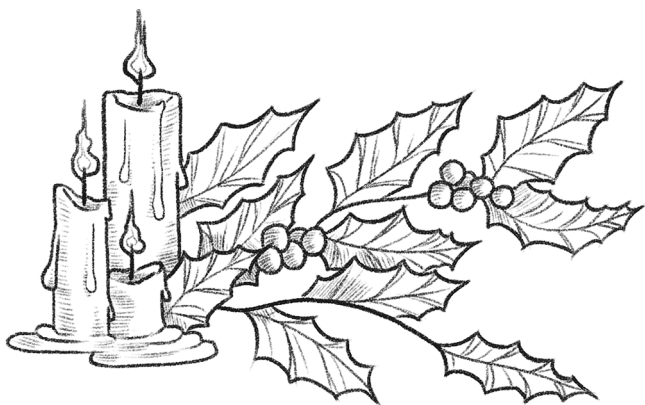
КРЕСЛО ЧИЛЛИНГЕМА

Лора Перселл



STONE HEDGE

STONE HEDGE



Сначала Эвелин почувствовала, как что-то укололо щеку. Потом уши — ощущение было звенящее, саднящее. А вот конечности онемели.

Она попала в какое-то сырое, очень холодное место. Когда попыталась шевельнуться, боль пронзила ногу и заставила охнуть. Веки разомкнулись, и Эвелин увидела... пустоту. Огромное бесцветное пространство.

Наверное, она умерла. Она в чистилище, а иголки колют ей спину в наказание за грехи.

Не успела Эвелин об этом подумать, как тишину вокруг нее нарушили. Где-то рядом тяжело дышал зверь. Эвелин напряглась, не в силах поднять голову. Зверь запыхался; приближаясь, он трамбовал снег лапами.

Эвелин могла лишь хныкнуть и закрыть глаза. Зверь рыскал все ближе, сопел рядом с ее ухом. Вот он лизнул ей рот теплым липким языком.

— Уходи! — простонала Эвелин.

Но мохнатый зверь вытянулся поперек ее груди, защищая Эвелин, обозначая как свою собственность. Ей стало нечем дышать, а студеный воздух огласился страшным воем.



Вдали послышались глухой стук и хруст. Кто-то окликнул ее по имени.

— Хорошая девочка! — похвалил мужчина. — Хорошая собака!

Эвелин медленно открыла глаза, и все прояснилось. Огромное пространство сверху оказалось не преисподней, а небом со снеговыми тучами; на груди у нее лежал не дикий зверь, а собака породы бигль, подзывавшая хозяина.

Поле ее обзора заслонили лица — джентльменов, которых Эвелин едва узнавала, и любимые черты ее сестры Сьюзен.

— Эвелин! — закричала Сьюзен. — Эвелин, ты ушиблась?

— Кажется... да, — прохрипела Эвелин. — Я не помню... что случилось.

— С ветки упал снег, и ваш конь испугался, — пояснил красивый джентльмен. — Он понесся к конюшне с седлом, болтающимся у живота.

Все верно: они охотились. И не дома, а в другом поместье, в Чиллингем-грэндж. Джентльмен, заговоривший с ней, — это сам Виктор Чиллингем. Он склонился над ней. Добрые внимательные глаза осматривали ее тело, выискивая повреждения.

От стыда Эвелин едва дышала. Мало того что она упала с коня на людях, опозориться ее угроздило в гостях именно у этого джентльмена.

У джентльмена, брачное предложение которого она категорически отвергла.

— Тебе нужно скорее в дом, не то замерзнешь, — забеспокоилась Сьюзен. — Встать сможешь?





Эвелин подняла руку, чтобы оттолкнуть бигля. Даже такое движение причиняло боль.

— Простите, что создаю проблемы, но... Боюсь, что нет.

* * *

Доктор пристально посмотрел ей в глаза. От него пахло настойкой опия и пиявками.

— Вне сомнений, травма пренеприятнейшая. Череп не поврежден, но симптомы сотрясения мозга будут. Тошнота, головокружение. Я ни в коем случае не стал бы срывать ее с места.

Мать поднесла к губам носовой платок.

— Эвелин, как же тебя угораздило? Ты в жизни с лошади не падала. А единственный раз, когда нам нужно, чтобы все прошло идеально...

Эвелин поудобнее устроилась в кресле-лежаке. Сломанную ногу приподняли, предварительно наложив шину и перебинтовав. Нога чесалась, как искусанная блохами.

— Извини, мам, я не виновата. Меркурий понесся.

Доктор открыл свой саквояж и стал выписывать рецепт лекарства.

— Вот, принимайте дважды в день. Я заеду узнать, как у вас дела. Пока предписываю вам постельный режим. Минимум движений и никакого волнения.

— Но это невозможно! — выпалила мать. — В крещенский сочельник ее сестра выходит замуж, Эвелин — ее свидетельница.





— Простите, мадам, но тут ничего не поделаешь. Здоровье превыше всего. Предотвратить воспаление мозга у вашей дочери — самое важное для меня.

Мать, очевидно, так не считала. На Эвелин она посмотрела с неприкрытой яростью.

— Мадам, мне прислать счет мистеру Чиллингему или...

— Нет, господа, нет! — вскричала она. — Сегодня мы и без того создали ему предостаточно неудобств. Обратитесь к моему мужу. Он в бильярдной.

Доктор поклонился и вышел, закрыв за собой дверь.

Мать сделала глубокий вдох и поправила кружевной чепец.

— Эвелин, я понимаю, что ситуация у тебя непростая, — с нажимом начала она. — В том, что твоя младшая сестра выходит замуж раньше тебя, есть что-то унижительное. Но у тебя был шанс стать невестой. Если сейчас ты сожалеешь о своем решении, тебе можно только посочувствовать.

— Что, прости?

— Ты совершила глупую ошибку, отказав мистеру Чиллингему. Не удивлюсь, если сейчас тебе досадно. Только завидовать браку сестры низко. Подумай, что, когда Сьюзен станет миссис Чиллингем и попадет в высший свет, она подыщет тебе нового кавалера. Такого, которого тебе хватит ума не отвергнуть. — Мать поджала губы, глядя на ее сломанную ногу. — Если, конечно, ты еще когда-нибудь сможешь танцевать на балу.

Эвелин едва сдержалась, чтобы не схватить подушку и не швырнуть в мать.





— Что?! Ты считаешь, что я устроила все специально? Чтобы испортить Сьюзен свадьбу? Мама, как ты можешь подозревать меня в такой подлости?

Снег залетел в трубу, и огонь в очаге вспыхнул.

— Как бы то ни было, это неважно. Своего ты не доби-
лась. Свадьба состоится, с твоим участием или нет.

В дверь постучали. Эвелин вздрогнула, сломанную ногу пронзили горячие стрелы.

— Пожалуйста, заходите! — сказала мать куда более приятным тоном.

На пороге стояли Сьюзен и мистер Чиллингем. Эвелин покраснела, надеясь, что они не подслушивали, но те улыбались слишком старательно и слегка принужденно, как при встрече с инвалидом.

— Бедняжка Эви! Сидеть на месте и не двигаться — какая досада! — запричитала Сьюзен. — Но не беспокойся, мы приготовили тебе сюрприз. Точнее, Виктор. Это его идея.

С большим пафосом пара расступилась, давая дорогу служанке Бидди, которая вкатила через порог странное приспособление.

Большое мягкое кресло подобного вида можно найти в любой гостиной, но у этого подлокотники пронизывали вертикальные латунные шесты. Двигали кресло три колеса: два спереди, одно сзади. Колеса стонали, как раненый зверь.

— Оно принадлежало моему отцу, — пояснил мистер Чиллингем, когда Бидди подкатила кресло к лежаку. Она опустила подножку с щелчком, от которого Эвелин вздрогнула. — Я рассказывал, что в конце жизни он сильно мучился со здоровьем?





На кресло Эвелин смотрела с неудовольствием. Рассказы не требовались: о неисправимом старике были наслышаны все жители графства. Скверный и подлый характер создали старому Чиллингему определенную репутацию. В галерее висел его портрет, с которого смотрел толстяк с маленькими злобными глазами.

А вот Виктор Чиллингем, полная противоположность своему отцу, глядел на Эвелин с нежностью.

— Рассказывали, — подтвердила Эвелин. — Кажется, вы говорили, что ваш отец онемел и не мог ходить?

— Именно. Поэтому я и купил ему это кресло.

— И не просто кресло, Эви. — Сьюзен вышла вперед и повернула ручку, выступающую из подлокотника. Раздался скрип, колеса повернулись. — Смотри, креслом можно управлять. И само устройство самоходное!

— Это «Механическое кресло мистера Мерлина», — сообщил мистер Чиллингем. — Самое последнее изобретение. Денег я не пожалел.

— Уверена, для вашего отца было огромным утешением иметь такого примерного сына, — вздохнула мать.

— Мисс Леннокс, надеюсь, вы понимаете, что я сделаю все от меня зависящее, дабы помочь вам справиться с травмой, — продолжал мистер Чиллингем. — Вы такой же член моей семьи, каким был мой отец. К сожалению, на улице это кресло использовать нельзя, но передвигаться по дому благодаря ему вы сможете.

— Так что ты ничего не пропустишь! — просияв, заявила Сьюзен.

Эвелин старалась улыбаться в ответ на улыбки Сьюзен и Виктора, хотя перспектива сидеть в этом устройстве





вызывала отвращение. Даже на расстоянии она чувствовала несвежий, кисловатый запах обивки и заметила темное пятно на сиденье.

К счастью, мамина благодарность не знала меры.

— Вы так добры, мистер Чиллингем! Моя дочь вам бесконечно признательна. Видите, она онемела от чести, которую вы ей оказываете. Эвелин была неосторожна. В будущем ей придется научиться ездить аккуратно.

— Пожалуйста, мадам, не корите ее. Вина здесь не на мисс Леннокс, а на моих конюхах. То дамское седло хранилось ненадлежащим образом, подпругу плохо застегнули. Некоторые ошибки недопустимы. Смею вас заверить, ответственный за это будет немедленно уволен.

Мать и Сьюзен согласно кивнули. Бидди, стоящая за креслом, вздрогнула. Вполне естественно, что служанка сочувствовала конюху. Увольнять работника за единственный промах действительно казалось жестоко, особенно сейчас, когда каминную полку еще украшали падуб, плющ и омела.

— Пожалуйста, сэр, не лишайте его места! — попросила Эвелин. — Только не из-за меня. Я заснуть не смогу, если по моей вине человек потеряет работу в это время года. Давайте простим его ради духа праздников!

Мистер Чиллингем склонил голову.

— Ваше отзывчивое сердце делает вам честь, мисс Леннокс. Вы почти так же великодушны, как ваша сестра. — Он потянулся к руке Сьюзен. — Очень хорошо. Пусть будет так, как вы желаете.



Сьюзен одарила его нежной улыбкой. Они казались идеальной семейной парой. У Эвелин защемило сердце. На месте сестры должна была быть она.

Зря она слушала сплетни о мистере Чиллингеме. Стогорчивый, покладистый владелец поместья решительно не напоминал патологического любителя игры в карты и кости, каким его шепотом описывали друзья Эвелин. Сплетни определенно не имели никаких оснований: Виктор Чиллингем был хорошим человеком, а она его отвергла.

— Чудесное кресло бесполезно на лестнице, — заметила мать. — Эвелин создаст меньше проблем окружающим, если будет спать внизу. Бидди перенесет чемоданы и, на случай если тебе понадобится помощь, будет спать в той же комнате на низкой кровати на колесиках. Мистер Чиллингем, такой план кажется вам разумным? Не хочу, чтобы моя дочь создавала неудобства...

— Никаких неудобств, мадам, — легко согласился мистер Чиллингем. — Я не возражаю. Та маленькая гостиная используется редко. Надеюсь, на время визита мисс Леннокс будет считать ее своей.

Ей должен был достаться *весь* Чиллингем-грэндж. Олений парк, леса, прозрачное озеро, огороды, на которых выращивают всевозможную зелень. Она могла стать владелицей внушительного особняка с широченными лестницами, ведущими прямо к парадной двери; теперь же все отойдет ее младшей сестре.

Сьюзен решительно выступила вперед.

— Давай попробуем кресло. Не терпится увидеть его в действии!





Отказаться Эвелин не могла. Бидди на руках перенесла ее с лежака в кресло. Подушки приняли ее вес со скрипом. Бедром она нащупала в сиденье небольшую ямку: ее наверняка продавил старый Чиллингем, день-деньской восседая в кресле.

— Чтобы поехать вперед, выверни рычаги наружу, — настойчиво посоветовала Сьюзен.

Эвелин опасливо нажала на обе латунные ручки.

Громкое «звяк!» сотрясло кресло, Эвелин почувствовала его поясницей. Визгливо скрипнув, кресло медленно пришло в движение.

— Смотри, ты едешь! — Сьюзен восторженно захлопала в ладоши.

Кресло двигалось с черепашьей скоростью, но Эвелин все равно волновалась, что не знает, как остановиться. Медленно, но верно она приближалась к огню, пылающему в камине.

Эвелин старалась не паниковать, но кожей уже чувствовала тепло.

— Как тут... — залепетала она. По счастливой случайности она задела ручку на правом подлокотнике, латунный шест опустился, со скрипом останавливая колеса. Этот звук раздражал Эвелин до зубного скрежета.

Перевязанная нога пульсировала в каких-то дюймах от каминной решетки.

Присутствующие в комнате заплодировали.

— Такое полезное кресло! Вы так добры! — восклицала мать, жеманно улыбаясь хозяину дома. — Эвелин, а ты что скажешь?





Улыбка Эвелин вышла похожей на застывшую гримасу. Она уже достаточно разочаровала Виктора, сейчас ей как минимум нужно было изобразить благодарность.

— Спасибо, мистер Чиллингем! — выдавила из себя она.

* * *

Той ночью Эвелин ерзала на лежаке, не в силах заснуть. Боль в стопе пульсировала в такт биению сердца.

Спать не давал не только дискомфорт. Здесь, на первом этаже, внешний мир звучал громче. Слышались уханье ветра, проверяющего окна на прочность, и мерное «кап-кап» сосулек, тающих на карнизах.

Оставалось лежать без сна и упиваться своей досадой.

Она умом тронулась, отказав Виктору Чиллингему? Друзья твердили ей, что он игрок, но сейчас Эвелин чувствовала, насколько это маловероятно. Целых двенадцать рождественских дней он развлекал приглашенных на свадьбу, не скупясь на средства. Значит, какой-то источник стабильного дохода у него имелся.

Впрочем, причины ее отказа были не только меркантильными, имелись и семейные. Эвелин опасалась, что с возрастом Виктор изменится и станет жестоким, как его покойный отец. Еще у Виктора был старший брат, которого Эвелин в глаза не видела. Болтали, что он опустившийся урод, полностью вычеркнутый из завещания. Однако ей не следовало судить Виктора по деяниям его порочной родни. Эвелин, к примеру, не хотелось бы, чтобы люди составляли мнение о ней по поступкам ее матери.





Утешало лишь то, что милая Сьюзен будет счастлива. Ее сестра получит прекрасный дом и прекрасного мужа в придачу. Впрочем, мать не преувеличивала, назвав неудобной ситуацию, когда младшая из дочерей выходит замуж раньше старшей. Эвелин не поймут и будут считать ненужной, особенно если будет обречена на хромоту.

Приуныв, Эвелин уткнулась в подушку. Рядом с лежаком, словно напоминая о ее ущербности, стояло ужасное кресло.

Эвелин хотелось на горшок, но воспользоваться им она могла только с помощью Бидди, поэтому решила потерпеть. На один день унижений ей предостаточно.

Как ни странно, Бидди во сне звуков не издавала, гостей наверху тоже слышно не было. Пока на улице рыскал ветер, в доме стояла гнетущая тишина.

Эвелин попробовала заснуть. За опущенными веками замелькали разрозненные образы: деревья, очерченные белым; копыта, взбивающие рыхлый снег; собаки, идущие по следу, подняв хвосты. Вспоминались странные эпизоды минувшего дня. Замерзшее озеро, похожее на пласт марципана. Сьюзен, рассказывающая, что на территории поместья есть сад ядовитых растений. Эвелин представляла все те опасные растения, спящие под снежным покровом, как вдруг раздался скрип.

Это заставило ее вздрогнуть, отчего по сломанной ноге растеклась адская боль. Дергаться было глупо: такой звук могла издавать Бидди, переворачивающаяся на своей низкой кровати. Выбросив его из головы, Эвелин попыталась вернуть сломанную ногу в удобное положение, но скрип повторился: он раздался громче, у самого ее уха.





Звук был как при оседании, при резком выделении воздуха — такой издает мебель под чьим-то весом. При этом Эвелин понимала, что кровать Бидди в другом конце комнаты так шуметь не может. Источник шума находился куда ближе.

Он исходил от кресла.

Приоткрыв глаза, Эвелин уставилась на темный силуэт приспособления: от ее подушки до него было рукой подать. Ничего вроде бы не изменилось. Каминное пламя играло на латунных деталях. Даже во мраке она видела вмятины на мягкой обивке: борозды, протертые долгим сидением.

Не кресло, а старая развалюха: стонет, продавливается. Эвелин старательно цеплялась за эту мысль, пока обивка скрипела, и звучало это точь-в-точь, как если бы в кресло кто-то усаживался.

Полная бессмыслица. Эвелин спряталась, накрывшись одеялом с головой.

— Бидди! — шепотом позвала она. — Бидди, ты спишь? Ответа не последовало.

Кто-то заскулил, тоненько, как бигль на памятной охоте, только это был не зверь, а надрывно скрежетавшие колеса кресла. Бидди, конечно же, услышала этот звук? От такого нельзя не проснуться.

Собрав все свое мужество, Эвелин спустила одеяло с головы и посмотрела в другой конец гостиной, где служанка застелила себе постель.

Низкая кровать на колесиках оказалась пустой, под одеялом никто не лежал, значит, Эвелин была одна.

Или нет?





Механическое кресло снова скрипнуло. Захлебываясь ужасом, Эвелин перевела на него взгляд. Устройство по-прежнему стояло слева от нее, рядом с лежаком, но уже не повернутым в сторону.

Теперь оно было повернуто к ней.

— Нет, это невозможно, — прошептала Эвелин.

Она уставилась на ручки, словно так могла вернуть их в надлежащее положение. Каким-то образом, без человеческого вмешательства, кресло повернулось на девяносто градусов.

Паника сдавливала горло. Нельзя поддаваться ей, нельзя! Разумеется, это только сон. Доктор дал Эвелин настойку опия, а это лекарство всегда вызывает кошмары.

Но этот кошмар был особенно ярким. Эвелин чувствовала острую боль в сломанной ноге, видела отблески пламени на повязке. Когда нажала на синяк на руке, тоже стало больно.

— Проснись! — велела себе Эвелин.

Кресло ответило. Эвелин в ужасе смотрела, как медленно поворачивается рычаг на правом подлокотнике.

— Нет! — вскричала Эвелин. — Нет, я этого не терплю!

В отчаянии она искала хоть что-нибудь, способное оборвать сон. Имелось лишь одно доступное средство. Собрав волю в кулак, Эвелин спустила ноги с лежака и встала на поврежденные стопы.

Боль оказалась сильнее, чем она ожидала. Боль вопила у нее в голове, пока не заглушила надрывный скрежет кресла. Если такая боль не разбудит ее, то уже ничего не поможет.



Однако сознание не прояснялось — напротив, оно начало мутнеть. Гостиная, пламя в камине и даже кресло за туманивались.

Все провалилось во тьму.

* * *

Проснулась Эвелин от яростного стука.

— Впустите меня, мисс! — умолял голос Бидди, негромкий, но испуганный. — Пожалуйста, мисс, откройте дверь!

Сбитая с толку Эвелин подняла голову. В гостиную лил неяркий свет. Растопка в камине давно сгорела дотла, но шторы были раздвинуты, за окнами начинался очередной красивый зимний день. Скрючившись, Эвелин лежала там же, где упала, — на полу у лежака.

Кресло стояло у двери.

Оно развернулось так, что никто не мог ни войти в гостиную, ни выйти из нее. Бидди поворачивала дверную ручку, но ее заблокировал толстый механический подлокотник кресла.

— Мисс Леннокс!

Боль почти стихла. При этом Эвелин едва чувствовала ногу, что не слишком радовало. Стиснув зубы, она поползла по ковру, цеплялась руками, пока не добралась до кресла.

Никогда в жизни она не испытывала столь сильной ненависти к неодушевленному предмету. Под таким углом она видела, что колеса потертые и обшарпанные. Как они сами по себе могли перекатить кресло в другой конец





гостиной? Приподнявшись на локте, Эвелин со всей силы толкнула клятое приспособление. Оно откатилось назад.

Бидди полувошла-полуввалилась в гостиную.

— Мисс! Как вы?... Вы поранились?

Эвелин не ответила. Рассказывать о событиях минувшей ночи было бы нелепо.

Молча она позволила служанке поднять ее с пола и усадить в кресло. Она предпочла бы лежак, но он стоял слишком далеко, и, возможно, так было лучше. Если сиденье займет сама Эвелин, то никто другой или *ничто другое* не сможет это сделать.

— Где ты была? Почему оказалась за дверью? — набросилась на служанку Эвелин, вспомнив кровать, пустовавшую среди ночи.

Бидди залилась краской.

— Я была на завтраке для слуг, мисс. — Бидди засуетилась с чемоданами, которые лакеи накануне спустили с первого этажа. — А сейчас одеваться к завтраку пора вам.

Эвелин ее слова не убедили.

— Нет, а где ты была до этого? Я проснулась среди ночи, а тебя и след простыл! Я попробовала встать... и, похоже, потеряла сознание от боли.

Бидди аж рот разинула.

— П-простите, мисс!

Пока служанка мялась и жалась, Эвелин заметила у нее в чепце соломинки и вспомнила, как вздрогнула накануне Бидди, когда мистер Чиллингем пригрозил уволить кого-то из конюхов. Чтобы сложить одно с другим, большого ума не требовалось.

— Бидди, ты дружка завела?! — охнула Эвелин.





Бидди покраснела еще гуще.

— Бог с вами, мисс! — упрекнула она. — На этой работе мне запрещено заводить поклонников.

Строго говоря, слова Эвелин она не опровергла.

Что ж, пусть Бидди хранит свои секреты, Эвелин хватало и своих. Во время долгого одевания Эвелин гадала, не рассказать ли служанке о том, что в действительности случилось ночью, но слова не шли на язык. Доктор ведь сказал, что она сильно повредила голову? Может, спутанность сознания вызывает галлюцинации? Такой вариант Эвелин не слишком нравился, но был лучше альтернативного: старый Чиллингем не желал расставаться с креслом.

Наконец Бидди опустилась на корточки, чтобы отрегулировать подножку. Поврежденная лодыжка Эвелин распухла чуть ли не вдвое.

— Я не стану ругать тебя, Бидди. И никому не расскажу, что в твоё отсутствие упала с лежака. Но сегодня ночью ты должна быть со мной. — Бидди кивнула. — Обещай мне! — велела Эвелин полным страха голосом. — Что бы ни случилось, после наступления темноты ты меня одну не оставишь.

Бидди аж глаза вытаращила.

— Обещаю, мисс!

Все гости собрались на завтрак в просторном, завешенном гобеленами зале. Арочные окна выходили на уголья, блистающие от свежего снега. Эвелин увидела небольшие огороженные участки, где кухонная челядь выращивала зелень: для кушаний, лекарственную, ядовитую — для травли грызунов и насекомых, как говорила Сьюзен.





— Мисс Леннокс! — Мистер Чиллингем прервал свою беседу и заторопился ей навстречу. — Как вы сегодня себя чувствуете? Лучше? Надеюсь, вы хорошо отдохнули?

Эвелин пришлось выдать неопределенный и нечестный ответ. Она не думала, что этот джентльмен искренне за нее переживает, но, очевидно, было именно так. Он подтолкнул ее кресло и помог ей занять свободное место за столом, в то время как родные Эвелин даже не заметили ее появления.

Уместить подлокотники механического кресла под обеденным столом оказалось сложно, и мистер Чиллингем начал терять терпение.

— Поднос с завтраком могут принести вам в комнату, — предложил он. — Хотите, я отвезу вас обратно в гостиную?

— Нет-нет, в этом нет нужды. Я прекрасно справлюсь, спасибо вам, сэр. — Эвелин опустила взгляд на сервировку стола, на свою тарелку и приборы, чтобы скрыть заливающий щеки румянец. Для мужчины, через несколько дней собравшегося жениться на ее сестре, мистер Чиллингем был *чересчур* настойчив.

Наконец отец подошел ее проведать.

— Эвелин, дорогая моя, хорошо, что ты ухитрилась сломать только ногу, а не шею, — пошутил он. — Тогда нам пришлось бы отложить свадьбу. Твоя мать никогда тебя не простила бы.

Эвелин пыталась засмеяться в ответ, но голова шла кругом, и не только из-за сотрясения. Почему мистер Чиллингем так на нее смотрел?

— Хотя Сьюзен вспоминала бы тебя с благодарностью, — добавил отец, подмигнув. — Свидетельницу она





потеряла бы, но, полагаю, не возражала бы против того, чтобы ее приданое удвоилось.

Шутка получилась плоская, но Эвелин растянула губы в улыбке. Ничего плохого отец не замышлял: он просто так шутил. Впрочем, Эвелин заметила, что мистер Чиллингем помрачнел от неудовольствия, прежде чем повернуться к другим гостям.

После завтрака вся компания собиралась на озеро кататься на коньках. Эвелин, разумеется, в забаве участвовать не могла. Если честно, ее это радовало: ночные злоключения отняли последние силы.

Сьюзен суежилась, глядя сестру по голове.

— Эви, я не хочу тебя оставлять. Как я удержу равновесие на льду, если ты не будешь держать меня за руку?

— Теперь за руку тебя должен держать мистер Чиллингем.

Но мистер Чиллингем, казалось, больше беспокоился об Эвелин. Он присел на корточки, чтобы оказаться вровень с креслом.

— Велю слугам принести все наши коллекции, чтобы вы развлекались. Есть медали, есть ракушки, еще хороший альбом гравюр. Его я принесу сам. Все в Грендж в вашем распоряжении, мисс Леннокс. Если понадобится что-то еще, просто дайте знать.

Эвелин сидела потрясенная. Учитывая то, в какой манере она отказала мистеру Чиллингему, его доброта казалась чуть ли не угнетающей. Неужели он чувствовал, что ее переполняют сожаления? Эвелин искренне надеялась, что нет. Сейчас уже слишком поздно, им нужно думать о Сьюзен.





Бедняжка Сьюзен продолжала улыбаться, не подозревая о фриссоне*, появившемся между ее старшей сестрой и женихом. Впрочем, не подозревала только она: мать буравила их обоих испепеляющим взглядом.

* * *

Огонь весело полыхал в каждом камине. Из кухонь долетали восхитительные ароматы корицы, все окна покрылись изморозью. В упор не верилось, что этот дом, это самое кресло ночью показались угрожающими.

— Наверное, мне нужно выпить хинин от головы, — сказала Эвелин Бидди, когда они играли в триктрак в библиотеке. — От тупой боли в висках мне приснились престранные сны. Не хочу, чтобы сегодня они повторились.

Наверное, от травмы у нее и впрямь помутилось сознание. Именно поэтому она увидела, как движется кресло, поэтому изменилась в чувствах к мистеру Чиллингему. Это просто временный недуг вроде простуды.

Бидди поднялась со стула.

— Пойду принесу порошок хинина, мисс. Другие гости скоро вернутся с озера.

Когда Бидди вышла из комнаты, на дальней стене Эвелин заметила портрет в золотой раме, который прежде не видела. На портрете был изображен молодой человек с грустными глазами и нависшими веками. Темные краски

* Фриссон (*фр. frisson*) — нервная дрожь, трепет.





на полотне казались еще темнее из-за невыгодного места, на которое повесили портрет.

Эвелин подъехала ближе и опустила рычаг, чтобы заблокировать колеса и осмотреть картину. Художник смягчил, но передал-таки то, что одно плечо его натурщика было выше другого. На раме имелась надпись: «Альфред Чиллингем».

Вернулась Бидди с хинином.

— Ах, мисс, вы нашли его? Блудного сына? Ради мисс Сьюзен надеюсь, что он никогда не вернется.

— Так это он! Старший брат, сбежавший много лет назад. Я не подозревала, что он был...

— Горбуном! — без обиняков закончила Бидди. — Как злой король Ричард*.

В ответ на недобрые слова Эвелин покачала головой. Альфред, конечно, не был так красив, как Виктор Чиллингем, но к уродливой спине это никак не относилось.

— Интересно, почему он так внезапно исчез? Что могло с ним случиться?

Бидди подошла к ней сзади и взгляделась в портрет.

— Думаю, люди говорят правду, мисс. Он сплошная скверна. Это видно по его глазам.

— Бидди, а что за правду говорят люди?

— Что он напал на старого Чиллингема. В отместку за долгие годы плохого обращения.

— Что?! Я ничего подобного не слышала. Кто распространяет столь безумные сплетни?

* Бидди имеет в виду Ричарда III, короля Англии с 1483 года из династии Йорков, последнего представителя мужской линии Плантагенетов на английском престоле.





— Это не просто сплетни! — с жаром возразила Бидди. — Гляньте, на чем вы сидите, мисс. Почему, думаете, старику понадобилось это кресло? Немошь поразила его внезапно. Одну неделю он был в полном здравии, а следующую едва шевелился.

Эвелин сжалась в комок. Спиной касаться спинки кресла ей внезапно расхотелось.

— Ерунда! У Чиллингема-старшего был апоплексический удар.

— Тогда почему спустя несколько дней его наследник сбежал? В этом нет никакого смысла. Про удар семья для приличия рассказывает. На деле горбун напал на отца и сделал ноги. Именно так говорят слуги.

Эвелин прищурилась.

— Кто-то из местных слуг поведал тебе об этом? Выдавать семейные секреты относительно чужому человеку они точно не стали бы! — Бидди пожала плечами и повернулась к доске для триктрака. — Ну, Бидди, признавайся! Ты завела дружка, и служит он на здешней конюшне, верно?

— Мисс, я определенно не понимаю, что вы имеете в виду.

Эвелин посмотрела на свою ладонь, лежащую на подлокотнике кресла. К сплетням служанки прислушиваться особо не следовало, однако невольно вспоминались прошлая ночь и то, как жутко разворачивалось кресло. Если старого Чиллингема и впрямь убил его старший сын... вряд ли он покоится с миром.

Говорят, духи убитых скитаются, пока правосудие наконец не свершится. Поскольку этому джентльмену отказали





ноги, наверное, для него соответственно изменились и правила загробного мира.

Наверное, дух старого Чиллингема не скитался, а *катался*.

* * *

На сей раз Бидди осталась с ней в гостиной, и ближе к часу ночи Эвелин наконец погрузилась в сон. Только ее больной разум расслабляться не желал. Ей снились сны.

Ей снился старый Чиллингем с глазами-бусинками, пересчитывающий монеты, которые унаследуют его сыновья. Одна кучка таяла, другая росла, издавая мерное «звяк-звяк-звяк».

Потом приснился злодей Альфред, убегающий под покровом ночи. Он был без багажа, без пальто и даже без коня, который мог бы его нести. Он двигался как безумный — продирался сквозь лес, где с коня упала Эвелин, отчего подлесок источал свежий зеленый аромат. Его руки были в кровь изодраны колючими кустами. Не знай Эвелин правду, она решила бы, что Альфред бежит, спасая свою жизнь.

Постепенно ароматы леса сгустились во что-то сладкое, чуть ли не приторное. Деревья все это время эхом отражали немолчное «звяк-звяк-звяк».

— Мисс! Мисс! — издали донесся дрожащий голос Бидди. Эвелин сосредоточилась на нем, стараясь отвлечься от безумных движений Альфреда. — Мисс, не двигайтесь!





Легкий ветерок всколыхнул короткие кудряшки на лбу Эвелин. Или это Альфред погладил ее окровавленной рукой?

— Нет, не смейте! — Во сне Эвелин передернуло. Сломанную ногу обожгла вспышка боли, и Эвелин резко проснулась.

Она была на улице, лицом к клумбе с покрытыми инеем стеблями. Там и сям мелькали острые тонкие листочки: ни одному из известных ей растений они не принадлежали. За клумбой высилась каменная стена с чугунной оградой, и казалось — либо это от страха разыгралось воображение, — что шпили венчают маленькие металлические черепа.

— Мисс Леннокс! — Эвелин чуть не задохнулась от облегчения, когда появилась раскрасневшаяся Бидди и понеслась к ней по дорожке. — Что вы *делаете*?!

— Я... — начала Эвелин. Посмотрев вниз, она увидела, что ее тонкая, облаченная в ночную сорочку фигура скрылась меж подлокотниками механического кресла.

Воспоминания возвращались путано: лесные ароматы из сна и мерное звяканье монет. Только никаких монет не было. Эвелин слышала скрип колес, с трудом катящихся по дорожке.

Она содрогнулась. Во сне люди ходят, но не могла же она усадить себя в кресло, направить его по коридорам, через парадную дверь и ничего не почувствовать? Если такое случилось... значит, она повредила голову куда сильнее, чем ей думалось.

Бидди осмотрела ее руки.

— Мисс, вы к чему-нибудь прикасались? — настойчиво спросила она. — Хотя к чему-нибудь?



— Вроде бы нет. А что?

— Вам известно, что это? — большим пальцем Бидди показала на клумбы с переплетенными стеблями. — Аконит. Он повреждает нервы так, что тело немеет, как замороженное. А вот это похоже на болиголов — он парализует тело снизу вверх. Что заставило вас сюда приехать? Вы даже не одеты!

— Я... я не приезжала сюда, Бидди. Не знаю, как...

На лице служанки отражался весь ужас, который чувствовала Эвелин.

— Нужно завезти вас обратно в дом, пока не проснулись другие гости.

Как и предупреждал мистер Чиллингем, для улицы кресло не предназначалось. На обледенелых дорожках колеса застревали и отказывались поворачиваться. Как же они вывезли ее из дома и прокатили по территории поместья?! Сейчас кресло двигалось лишь потому, что его со всей силы толкала Бидди.

Судорожно дергаясь, кресло выехало за открытые ворота. Навесной замок, который их удерживал, валялся на траве. Эвелин прочитала надпись на вывеске и поняла, от чего ее спасла Билли.

Кресло увезло ее в сад ядовитых растений.

* * *

У Эвелин не было желания ни участвовать в играх, ни даже наблюдать за ними со стороны. Без посторонней помощи она доехала до оранжереи, где печь обогревала нежные





пальмы, папоротники и суккуленты. Леденящий холод, поселившийся внутри ее костей, печь прогнать не могла.

Существовало лишь два объяснения утренним событиям: либо от падения с лошади она повредила рассудком, либо креслом управлял дух убитого старика.

По общему мнению, старый Чиллингем был человеком ужасным, но какую обиду он мог таить на *нее*? Зачем откалывать эти пугающие шутки? Зачем везти ее к ядовитым растениям?

Эвелин внимательно осмотрела латунные шесты и рычаги, постучала по деревянным подлокотникам.

— Что ты скрываешь? Чего ты хочешь от меня? — шептала она. Эвелин откинулась на спинку сиденья и принялась ерзать, чтобы оно, обмятое под стариковское тело, переобмялось под нее. Бесполезно. Единственным результатом стали застрявшие в колесах юбки.

Нагнувшись через боль, чтобы высвободить их, Эвелин заметила нитку, выбившуюся из обивки сиденья, и осторожно провела рукой под рамой. Там что-то было. Какая-то выпуклость.

Пальцы Эвелин нащупали в ткани идеально прямую прореху длиной около дюйма. Ее большой палец скользнул внутрь, и Эвелин поняла: прореха не случайная — ткань разрезали намеренно, чтобы устроить тайник.

Эвелин вытащила сверток из пожелтевшей бумаги, источающий прогорклый, как у мышиного гнезда, запах. С бесконечной осторожностью Эвелин развернула листок, обнаружив засушенные цветы: пурпурный колокольчик и веточку с мелкими бутонами. В складки свертка попала молотая зелень, вроде той, которой приправляют суп.





Эвелин переводила взгляд с одного сухого цветка на другой. Зачем их прятали? Неуверенной, плохо держащей карандаш рукой старый Чиллингем нацарапал на бумаге одно-единственное слово: «Улика».

Писал старик с явным трудом — отдал все силы, дабы провозгласить, что это доказательство, но доказательство чего?

В памяти всплыли слова Бидди: «тело немеет, как замороженное... он парализует тело снизу вверх». Старого Чиллингема парализовали *намеренно*. Только это, конечно же, не означало...

Эвелин снова взглянула на засушенные цветы. Листья у них были острые, как те, что она видела в саду ядовитых растений.

— Вы показывали мне, — потрясенно пролепетала она, — что Альфред не напал на вас перед побегом. Он вас отравил!

— Мисс Леннокс! — голос мистера Чиллингема разогнал ее мысли. Он стоял за порогом, озабоченно глядя вглубь оранжереи. — Вы нездоровы?

Эвелин растерянна на него смотрела. Прятать цветы было поздно: они лежали у нее на коленях.

— Я... немного выбита из колеи, — призналась Эвелин.

Мистер Чиллингем медленно переступил порог, закрыв за собой дверь, чтобы сберечь тепло. Он снова подошел к ней и опустился на корточки рядом с ее креслом. Его лицо буквально дышало заботой.

— Мисс Леннокс, вас ищет мать. Мой садовник сказал, что сегодня утром вы разъезжали по территории поместья в полубредовом состоянии. Это может быть правдой?





Эвелин замялась. Меньше всего на свете ей хотелось огорчать мистера Чиллингема за день до его свадьбы, но скрыть только что выясненные факты она не могла.

— Я была в саду, сэр. Только с бредом это не связано... Даже не знаю, как объяснить вам. На деле меня туда отвез другой человек. Намеренно. Дабы кое-что мне показать.

Мистер Чиллингем нахмурился.

— Кому понадобилось...

Эвелин передала ему сухие цветы и бумажный сверток.

— Я сначала тоже не верила. Но потом в сиденье кресла, принадлежавшего вашему отцу, нашла это. — Эвелин облизала губы. — Мистер Чиллингем, я видела эти растения. Сегодня утром, в саду ядовитых растений.

Мистер Чиллингем смотрел на сверток так, словно Эвелин протянула ему мертвую птицу.

— Яд? — непонимающе переспросил он. В отблесках печного пламени его глаза казались посаженными еще глубже, они словно ввалились в глазницы. — Сад ядовитых растений постоянно заперт на замок. Ради безопасности.

— Да, я уверена, что так оно и есть, но сегодня он заперт не был. Я нашла...

— Боже милостивый! — вскричал мистер Чиллингем. — Я правильно вас понимаю? Мисс Леннокс, вы пытаетесь сказать, что кто-то намеренно вывез вас из дома и пытался *отравить*?

— Нет-нет! Я говорю не о себе... Видите ли... — Рассказ ее получался неправильным, только как объяснить джентльмену, что к тебе являлся дух его отца? — Трудно передать словами, но я имела в виду мистера Чиллингема-старшего. Это кресло принадлежало вашему отцу, верно? Внутри





сиденья я нашла эти цветы, вы видите, что на бумаге он написал слово «Улика»... Не думайте, что я сую нос в ваши семейные дела. Я никому не стану об этом рассказывать. Но мне подумалось, что вы мою находку увидеть должны. Вы должны забрать улику и распорядиться ею по своему усмотрению.

— Вы запутались, мисс Леннокс.

Так оно и было. Эвелин чувствовала себя бесхребетной и бесформенной; единственной точкой опоры стало кресло.

— Да, я неверно выражаю свои мысли. Мне хотелось сказать лишь то, что ваш отец спрятал те цветы в сиденье кресла. Возможно, *он* считал, что его отравили. — Перехватив взгляд мистера Чиллингема, Эвелин добавила: — Но пожилые люди забывают головы странными фантазиями. Под конец жизни у них порой мысли путаются...

Мистер Чиллингем смял сверток и бросил в печь.

— Бедная мисс Леннокс! — тихо сказал он. — Вы повредили голову куда сильнее, чем мы думали изначально.

* * *

— Мама, это же абсурд! Позволь мне хотя бы увидеть Сьюзен! Сегодня нас разлучать нельзя!

Мать стояла перед дверью с ключом в руке. Она надела свое лучшее платье, а к полям шляпы прикрепила поморанцевый цвет.

— Сьюзен и так расстроена. Я посовещалась с твоим отцом и с мистером Чиллингемом о том, как действовать дальше, и мы все согласились, что тебе лучше остаться здесь.





— Сегодня свадьба моей сестры!

— Да! — вскричала мать, и в ее голосе послышались слезы. — Бог свидетель, я не ожидала, что все так обернется! Но присутствие на церемонии слишком тебя разволнует. Это для твоего же блага, Эвелин! Я не могу рисковать тем, что у тебя разовьется воспаление мозга.

Эвелин задрожала. От дрожи болела нога, скрипело кресло. Эвелин искренне жалела, что не удержала язык за зубами. Зачем она откровенничала с мистером Чиллингемом? Старик умер, Альфред давно исчез — грехи прошлого сейчас неважны.

— Мама, пожалуйста! Умоляю тебя! Я буду вести себя прилично.

— Прости, милая. Я могу поступить лишь так. Я должна позаботиться о твоём здоровье и уберечь Сьюзен от скандала... В библиотеке есть множество вариантов, чем развлечься. Служанка останется с тобой и впустит доктора, когда тот придет.

— Мама... помоги мне хотя бы пересесть вот на то сиденье. Не хочу быть прикованной к клятому механическому креслу!

Мать упорно прятала от нее взгляд.

— До свидания, Эвелин! Поправляйся скорее, милая! — На этом она ушла, закрыв за собой дверь.

Эвелин сдержала всхлип. Она поверить не могла, что события разворачиваются именно так. Все получилось неправильно, до ужаса неправильно...

Она уже собралась дать волю своим горестным чувствам, когда сообразила, что ключ в замочной скважине мама не повернула. Кто-то остановил ее сразу за дверью.



— Бидди! Немедленно переоденься для свадебной церемонии! Гости уже в церкви... Боже милостивый, девочка, от тебя лошадьми разит!

— Мадам, я должна сказать вам нечто важное! — в голосе Бидди слышалось напряжение. — Пожалуйста, послушайте!

— Не донимай меня в такой день, как сегодня...

— Мадам, дело касается мисс Эвелин. Ее дамского седла. Один из конюхов осмотрел его по моей просьбе, и он считает, что его испортили, что его намеренно сломали!

— Да, мистер Чиллингем говорил нам, что то седло использовать не следовало. А теперь поторопись! Карета для Сьюзен будет подана с минуты на минуту.

— Но, мадам, погодите!

Голоса стихли вдали. Эвелин осталась наедине с распирающими ее недоумением и тревогой. Что выяснила Бидди?

Она могла бы поехать и спросить служанку, если бы не тратила время, умиротворяя дух старого Чиллингема. Она не сидела бы в библиотеке одна, с перспективой пропустить свадьбу сестры. А почему так случилось? Все потому, что старику приспичило рассказать свою историю!

Эвелин заколотила по подлокотникам кресла.

— Ненавижу тебя! — прошипела она. — Ты все испортил. Зачем ты меня побеспокоил? Меня не волнует, как ты умер!

Латунный прут, блокирующий колеса, поднялся. Эвелин успела лишь охнуть, а кресло уже покатилося назад. Она попыталась опустить прут, но его заклинило. Тщетно она дергала все рычаги. Они вдруг потеряли вес и жесткость, словно кто-то перерезал провода.





— Нет! Прости меня! — залепетала Эвелин. — Зря я так сказала. Пожалуйста, остановись!

Кресло не останавливалось. Скорее, наоборот, разгонялось, дав задний ход, пока Эвелин не коснулась затылком книжного шкафа. Потом настал момент напряжения, группировки, как у коня, готовящегося к прыжку. И кресло рвануло вперед. Эвелин завизжала, отчаянно вцепившись в подлокотники. Немного не докатив до портрета Альфреда, колеса шелкнули, поворачивая влево. Кресло врезалось в дверь, вырулило из библиотеки и поехало дальше.

Эвелин было страшнее, чем когда понесся Меркурий. Коня можно было уговорить, успокоить, а вот кресло было неумолимо. Колеса крутились быстрее, чем подразумевалось конструкцией. Раздавались треск и скрип, словно кресло могло развалиться.

Быстрее и быстрее ехало кресло, набирая скорость. Дом мелькал перед глазами, и Эвелин поняла, куда ее увозят. Кресло неслось напрямик в гостиную, где она спала. Эвелин вспомнила, как в первый вечер кресло подбиралось к камину, и у нее возникло ужасное предчувствие.

— Остановись! Прости меня!

Дверь оказалась открыта. Переваливаясь через порог, колеса фактически оторвались от пола, но тормозить явно не собирались. Оправдывались ее изначальные опасения: старый Чиллингем нацелился прямо на камин.

Внезапно кресло будто взбрыкнуло. Эвелин полетела на пол и после болезненного приземления испустила крик, нараставший у нее внутри целый день.

Раздался оглушительный грохот. Кресло рассыпалось на куски; дерево и металл разлетелись в разные стороны.





Оно пробило дадо* у камина, оставив в стене брешь размером с тарелку.

В комнату ворвалась Бидди.

— Мисс! — Она метнулась к Эвелин и положила ее голову себе на колени. — Что случилось? *Он* вас обидел?

Перед глазами у Эвелин мелькали черные пятна. Она разобрала снег на сапогах у Бидди и навоз, размазавшийся у нее на щеке.

— Что... он? Кого ты имеешь в виду?

Бидди поджала губы.

— Мисс, кто-то пытается вас обидеть. Я целый день твердила об этом вашей матушке, да она не желает слушать. Подпругу на вашем седле перерезали; снежный ком, напугавший вашего коня, упал с дерева неслучайно. Мальчишке-подручному конюха заплатили, чтобы он напугал животное!

У Эвелин голова шла кругом. Если у нее причина бредить имелась, то у Бидди — конечно же, нет!

— Это не может быть правдой! Господи, да кто заинтересован в моей смерти?!

Бидди изогнула бровь.

— А вы думаете, кто? Кому отошли бы деньги мистера Леннокса, имея он только одну дочь?

По спине у Эвелин побежали ледяные мурашки. Вспомнилась отцовская шутка про приданое. Если бы она вдруг погибла, муж Сьюзен разбогател бы.

В памяти мигом воскресли слухи о пристрастии Виктора Чиллингема к азартным играм. Игроки бывают отчаянными...

* Дадо — защитное покрытие нижней части стены.





Эвелин с трудом села.

— Нет, он не поступил бы так со мной, — заявила она. — Он о нас заботится. Мы одна семья.

За спиной у них что-то треснуло. Неловко повернув голову, Эвелин увидела, что из бреши, пробитой креслом в стене, сыплется известка.

— Фу! — вскричала Бидди. — Что это за запах?!

Внезапно что-то рухнуло. Гипсовый слой не выдержал, из бреши с грохотом вывалились обломки — точь-в-точь как родовой послед. Поток пыли и строительного мусора вынес человеческие кости.

Бидди завизжала.

Самым длинным и ужасным фрагментом был позвоночник, слегка изогнутый в форме серпа.

— Это Альфред! — прошептала Эвелин.

Как же такое могло случиться?

Если Альфред мертв... значит, старого Чиллингема погубил не он. Альфред не убегал. Его тело спрятали, а от его исчезновения выигрывал только один человек — тот самый, который швырнул в печь доказательство отравления.

Теперь Эвелин поняла, почему дух старого Чиллингема так настаивал, чтобы его услышали. Виктор Чиллингем был убийцей — и намеревался жениться на невинной девушке.

— Боже милостивый! Где Сюэзен?

— Она уже в карете! — рыдала Бидди. — Все ваши родные наверняка на улице, не то, как и я, прибежали бы на ваш крик.

Эвелин дрожала не переставая. По-настоящему воспринять шок и ужас она успеет потом — сейчас была важна





лишь Сьюзен. Эвелин попробовала шевельнуть ногой, хотя понимала, что встать не сможет.

— Бидди, ты должна остановить карету! Сьюзен не может за него выйти. Беги, Бидди, беги!

Всхлипнув, служанка бросилась вон из гостиной.

Эвелин сидела дрожа, смотрела на останки Альфреда и на кресло. Она была несправедлива к ним обоим. Погибшие Чиллингемы действовали не из ненависти, как ей казалось, а из доброты. Они пытались ее предупредить.

Эвелин слышала, как со стуком распахнулась парадная дверь. По внутреннему двору разнесся сдавленный крик Бидди, но ей никто не ответил.

Вместо этого холодный воздух разорвал треск хлыста. Заскрипела кожа, глухо застучали копыта, и Эвелин поняла, что карета уже пришла в движение, унося ее сестру все дальше и дальше.

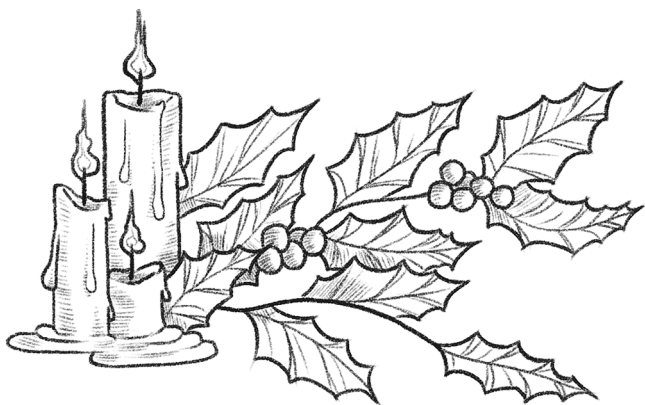
НА СОЛЕВАРНОЙ ФЕРМЕ

Эндрю Майкл Хёрли



STONE HEDGE

STONE HEDGE



В нынешнем году окна в нашей деревне украсились хвойными ветками и веночками остролиста намного раньше обычного, и к началу декабря в каждом доме уже стояло по хвойной красавице, но только не в моем.

Большинство моих соседей знают меня много лет, но все еще почитают за чудачество мое стойкое нежелание украшать дом рождественской елью. Видимо, думают, что это мой протест против коммерциализации святого праздника. Ничего похожего. Я просто жду не дождусь, когда уляжется вся эта праздничная кутерьма.

Уже многие недели как я сторонюсь лавок, где продают гирлянды из омелы, и последовательно отклоняю приглашения на чашечку кофе или вечернюю рюмочку шерри, если у меня есть подозрения, что придется рассыпаться в восторгах по поводу рождественских ухищрений хозяев.

В том-то и беда, что я не выношу духа всяческой хвои. Точнее говоря, этот запах до сих пор навевает мне воспоминания о Солеварной ферме, хотя от тех событий меня отделяют многие годы и многие мили.



Дэвид ни о чем таком и знать не знал, когда прошлым вечером ввалился ко мне, слегка подвыпивший после праздничного застолья в конторе, и притащил рождественский венок для украшения моей гостиной вместе с пригоршней веточек остролиста, позаимствованных, как я догадывался, в местном парке. Очень великодушный жест с его стороны, так что я постарался не особо содрогаться от невыносимого хвойного амбре, но он все равно заметил, что чем-то невольно расстроил меня. После чего, к моей великой досаде, он весь вечер подъезжал ко мне с разных сторон, желая выведать, в чем дело.

Хотя я не слишком откровенничал с ним, он, думаю, в конце концов сам сообразил, что потревожил во мне застарелые болезненные воспоминания, и из милосердия оставил свои расспросы, но я уверен, что через какое-то время он непременно возобновит их.

А я просто не в силах выворачивать наизнанку свое прошлое, как это Дэвид с легкостью проделывает со своим. Есть кое-какие вещи, воспоминания о которых только бедят мне душу. Вроде событий на Солеварной ферме.

Но в том-то и загвоздка, что чем больше я буду скрывать, тем сильнее распалю в нем желание вызнаться все, что я скрываю; он еще чего доброго решит, что затронул потаенные струнки моей души, повинные в том, что я такой, каков есть: недоверчивый и отстраненный, а иногда зачарованный — так он, во всяком случае, говорит.

Наверняка он попробует убедить меня, что, стоит мне выложить все начистоту, я избавлюсь от цепкой хватки



травмирующих воспоминаний, о чем бы они ни были. И пусть меня не волнует, что там будут говорить другие, и он — в том числе.

Он скажет: «Ты просто расскажи все как было, Эд».

Ладно, так тому и быть.

* * *

А случилось это, почитай, полжизни назад, когда мне было двадцать семь лет и я все еще старался угождать Господу Богу, чье существование воспринимал как факт столь же неоспоримый, сколь и существование воздуха. Духовное рвение мое не знало границ, духовной истовостью я не уступал миссионерам и убеждал себя, что если и чувствую себя несчастным, то исключительно по причине мною же самим принятых непреложных обетов или сознательных жертв.

О да, я постановил себе не заглядываться на юных девушек и не заводить подругу (и вообще дружеские узы, если уж на то пошло), я постановил себе сторониться сверстников и по-прежнему жить в родительском доме — это давало мне шанс стать незаменимым для нашего прихода, сохранять неразрывную связь с ним, как то заповедал мне Господь.

В ту пору я верил, что доказываю свою преданность Ему, до краев заполняя свои дни богоугодными делами. И словно я мало занимал таковыми пятничные вечера, разрываясь между заседаниями различных комитетов и расставляя стулья для собраний прихожан в нашем приходском доме, — я учредил душеназидательный кружок под названием





«Поговори со мной», который собирался в приделе нашей церкви, возле крестильной купели.

Некоторое время с полдюжины глубоко верующих аккурратно посещали мой кружок, и я преисполнился гордости за себя, что через беседу и молитву так хорошо споспешествую им в преодолении их несовершенств. Да настолько, что к лету им уже не было нужды посещать мой кружок.

Он пал жертвой собственного успеха, как отозвался об этом казусе преподобный отец Алистер. Это я сейчас понимаю, что он поступил милосердно, не пожелав высказать мне в глаза правду, что я сам отвратил кружковцев своей решимостью дать им ответы на все вопросы. Сочувственно коснувшись моей руки, он предложил мне возобновить кружок ближе к рождественскому посту, когда в душах у верующих скопится побольше огорчений и обманутых надежд.

Я поймал его на слове (в конце концов, стал бы он это предлагать, не имея на уме именно то, что предложил?) и сколько-то пятниц не менее чем по часу терпеливо дождался в холодной церкви, уповая на крохотный шанс, что кто-нибудь явится ко мне за наставлением. Но перевалило за середину декабря, прежде чем явился первый страждущий.

Его звали Джо Гулл — маленького человечка со слезящимися глазками, трогательно принарядившегося для первого своего посещения в рассуждении засвидетельствовать свое почтение церкви, куда, как он сам позже признался, десятки лет не ступала его нога. Его привычка все время как будто спрашивать разрешения присутствовать под церковными сводами навела меня на мысль, что самого себя он относит к случаям необычным. Однако для болящих не такая уж редкость возвращаться мыслями к Богу.





А он действительно был болен. Это я сразу понял. Движения доставляли ему боль, которую он не умел до конца скрыть, а лицо заливала бледность человека, долго хворавшего и притом без видов на сколько-нибудь скорое улучшение. Какой недуг его гложет, он не признался, — я заподозрил, что рак, — но я и без того понял, что он не рассчитывает протянуть долго. Потому-то он и спросил, сможем ли мы встретиться раньше, чем в будущую пятницу.

А я при том, что он был единственный, кто за много месяцев изъявил желание посетить мой кружок и жаждал извлечь наибольшую пользу от своего духовного порыва, был только рад ответить согласием. И он снова пришел через два дня, а потом еще через два дня, а вскоре и вовсе приспособился являться через два дня на третий.

Мне же такой распорядок был в тягость, ибо меня призывали другие мои обязанности, к тому же дело шло к Рождеству, но я стоически выкраивал для него время, ибо чувствовал (то было глубокое безоговорочное чувство), что сам Господь направил ко мне Джо и отвел мне некую роль в его духовных приготовлениях ко встрече с вечностью.

И что могло бы послужить лучшим тому подтверждением, чем искренность, с какой он начал открывать мне свои горести, коими, как он утверждал, ему больше не с кем поделиться.

Он и всегда-то был человеком слабым, сказал он. И вечно его преследовали злые духи. А он не всегда как положено старался, чтобы отогнать их прочь. Случалось, даже сам призывал их.

В итоге он утвердился в мысли, что сам заслужил свое, как он выразился, наказание. Но зачем же оно такое недолгое,



посетовал он, и почему ему отпущено так мало времени, чтобы исправить все зло, какое он натворил в жизни?

Я возразил ему, что пока он еще среди живых и тем самым Господь Бог *даровал* ему шанс все исправить. Впрочем, мои доводы его нисколько не убедили.

Мало помогало и то, что он все время рассуждал в категориях воздаяния. Я убеждал его, что он неправ. Господь Бог никогда никому не задает взбучек при земной жизни. А только дарует нам возможности осознать, что мы смертны и подвержены ошибкам, и исправить грехи, совершенные нами по причинам первого и второго, прежде чем мы предстанем пред вечным судьей. И что смертному никогда не поздно уверовать в Господню благодать, сказал я. И призвал его вспомнить двух разбойников, распятых вместе с Иисусом.

Кажется, мои слова успокоили его, правда, всего чуть-чуть и очень ненадолго. Такое я и раньше замечал в тех, кто, как Джо, годами блуждал в глухих потемках. Ибо они никогда не искали у Бога прощения и их грехи множились и разрастались в их сознании за пределы всякого реального.

Да, он был пьяница, и, хотя я имел представление о пагубном воздействии этого дурного пристрастия из поучительной брошюры, которую как-то раз случайно прихватил со столика в приемной у доктора, а также из рассказов самого Джо, мне абсолютно не верилось, чтобы это пьянство толкнуло его сотворить нечто настолько ужасное, что оно заслуживало таких глубоких угрызений совести. Что касается злых духов, я был уверен: единственные когда-либо владевшие им духи происходили из бутылки.

В том, что жизнь ему выпала тяжелая, я почти не сомневался. Еще в первый раз, когда он появился в церкви





Святого Петра, я сразу заметил, что руки его покрыты рубцами, лицо в нескольких местах изуродовано шрамами, а левое ухо порвано, как у бродячего кота.

У него было много общего с бедолагами, знакомыми мне по моему пятничному кружку. Те, можно сказать, вечно балансировали на краю очередного жизненного крушения.

И все же ближе к Рождеству я уже с отрадой наблюдал, как отчаяние Джо перерастает в решимость прожить оставшиеся ему дни, сколько бы их ни было отпущено, с наибольшей пользой для его грешной души. Я принес ему бумагу и конверты и помогал составлять письма его друзьям, перед которыми он хотел повиниться за то, что считал предательством, а также родным, кому он определенно нанес обиды.

А поскольку я был достаточно тщеславен в ту пору, чтобы возмнить себя проводником воли Божьей и уверовать в собственную *важность*, я без лишних вопросов согласился, когда Джо попросил меня поехать повидаться с четой Оксбарроус.

Его дружба с ними оборвалась какое-то время назад весьма некрасивым образом, сказал Джо, и вина перед ними жгла его совесть. Даже после всего, что они сделали для него, чтобы отлучить его от бутылки, он снова запил, и это причинило им больше горя, чем ему самому. Он жестоко обидел Хелен, а Мюррей из-за него занемог пуще прежнего.

Пускай у него и в мыслях не было проявлять к ним вопиющую неблагодарность, уверял Джо, у них все равно имелись крепкие основания презирать его. Они были так добры к нему, а он, недостойный, не смог оценить это, разглядеть



милосердие в их заботах о нем, и все это по вине зловредной *твари*, что тогда засела в нем. Если бы ему удалось помириться хоть с кем-то из тех, кого он обидел, прежде чем он окончит свои дни, то пускай это будут Оксбарроусы.

Правда, сделать это надо как полагается, сказал Джо. Одним письмом тут не обойдешься. Исправить положение возможно, только явившись к ним на Солеварную ферму. И только если я отправлюсь туда без него. Он не сомневается, что я сумею растолковать все Хелен и Мюррею куда лучше, чем он. И никакой бесцеремонности в моих извинениях за него они не усмотрят.

Да, конечно, ответил я.

* * *

Оксбарроусы проживали недалеко от Блейкли-Кросс, на краю Боулэндского леса*, среди поросших вереском скалистых пустошей в деревеньке, скорее напоминавшей россыпь домишек посреди овечьих пастбищ. На карте местные дороги следовали по старинным границам пастбищ, но я все равно заплутал в их лабиринте, хотя Джо специально для меня обвел кружком жилище Оксбарроусов. Зарядивший снегопад только добавил неразберихи, сделав все перепутья похожими точно близнецы.

Лишь по чистой случайности мне вообще удалось отыскать их коттедж: я вовремя увидел приметную песчаниковую глыбу в том месте, где вниз от дороги отходил узкий

* Боулэндский лес — живописная местность в графстве Ланкашир.





проселок, по обеим сторонам обсаженный буками. Пока я ехал по проселку к ферме, колеса тонули в толстом слое прошлогодней листвы, видимо не потревоженной с самой осени.

Солеварная ферма — обветшалое, потрепанное временем строение — располагалась под странным углом к проселку, мне даже подумалось, что дом намеренно выставили на растерзание всем ветрам и непогодам. Ферма выглядела еще более запустелой оттого, что снег обметал углы сланцевой кровли и рамы темных окон, густым ковром укрыл внутренний дворик и пустырь перед домом и стоявший возле навеса для дров фургон со спущенными колесами и покореженным передком.

Если бы из трубы на крыше не вился хилый дымок, ферма казалось бы совсем нежилой и заброшенной.

Пока я вылезал из автомобиля и шел по дорожке к крытому переднему крыльцу, погода совсем рассвирепела и завьюжила. У двери с веревки свисал большой колокольчик вроде тех, что подвешивают на шею тирольским коровам, и я толкнул его локтем, не желая на холоде вытаскивать руки из карманов.

Было три часа пополудни, до Рождества оставались считанные дни, и валил густой снег; я заподозрил, что эти места безлюдны, как и сейчас, круглый год. В поле зрения не наблюдалось других жилых домов — мне вообще не попалось ни одного жилья после того, как я переехал через реку, — а от самой Солеварной фермы, судя по всему, осталось одно название. Я не увидел ни хлевов, ни загонов, ни курятников, ни сараев, сохранился лишь дом; мне подумалось, что к нему Мюррей пристроил мастерскую, а позади





дома расстиралась пустошь, уходившая вверх на склон холма, занятый старым лесопитомником. В беспорядочно разбросанные посадки молодых сосен уже вторглись падуб, кипарисы и тисовые деревья. Вокруг стояла такая тишина, что я даже слышал доносившиеся со стороны деревьев голоса. Голоса и стук топоров по стволам. Наверное, это лесорубы срубают ветки елей и падуба по случаю повышенного спроса на рождественские украшения в городе.

Мне меньше всего хотелось выставить себя надоедой, но мною двигала уверенность, что, сумею я переговорить с Оксбарроусами, пускай даже накоротке, я вымолил бы прощение для Джо и поспособствовал бы их сближению.

Я снова позвонил в колокольчик и, когда ответа опять не последовало, попробовал стучать в выходившее на фасад занавешенное окно гостиной и звать Хелен, рассудив, что она скорее откликнется, чем Мюррей, если он и правда так хвор, так чувствителен сердцем и слаб духом, как рассказывал Джо.

Однако на мои стуки тоже никто не отозвался, и я решил, что Оксбарроусы, вероятно, просто не желают открывать незнакомцу. Я не винил их. Да и в чем была их вина, если они жили в такой глуши? Я и сам не раз наставлял наших пожилых прихожанок, чтобы не открывали дверь кому ни попадя, а только если кого-нибудь ждут.

Как ни претило мне вторгаться в чужие владения, я не мог просто развернуться и уйти, не сделав последней попытки поговорить с Оксбарроусами. Я толкнул калитку на задний двор, надеясь, что вдруг у задней двери мне повезет больше.



Со стороны посадок снова донеслись голоса, на этот раз довольно громкие, чтобы спугнуть с ветвей ближних елей парочку вяхирей. Кто бы ни орудовал топором среди деревьев, он наверняка пришел с Солеварной фермы, так, во всяком случае, мне подумалось: от распахнутых ворот заднего двора к передней кромке лесопосадок вела цепочка следов на снегу.

У меня закралась мысль, что лесопитомник, наверное, принадлежит Оксбарроусам. Мысль не такая уж беспочвенная. Говорил ведь Джо, что Мюррей зарабатывает на жизнь починкой и восстановлением мебели, а иметь под рукой нужный материал очень даже удобно для его ремесла. И может быть, сейчас, когда он по хворости не может заниматься им, он зарабатывает тем, что продает древесину, а может, учитывая праздник, ветви хвойных деревьев.

Еще он, вероятно, сдавал в аренду свою мастерскую, потому что, огибая дом сбоку, я заметил, что двери ее открыты нараспашку. Внутри с огромной циркулярной пилы вспорхнула стайка маленьких пташек, а потом расселась на недоконченных предметах мебели, которые, очевидно, починял Мюррей, пока его здоровье не пошатнулось. Помимо пилы я увидел в помещении кроватьную раму, кухонный буфет, дубовый стол, старинные напольные часы и прислоненный к ним велосипед с погнутым передним колесом — его упоминал Джо, на этом-то велосипеде он и ехал в ночь, когда его нашел Мюррей.

Велосипед до сих пор стоял непочиненный.

Переднее колесо погнулось, когда он на полном ходу вернулся в придорожную канаву, рассказывал Джо, по пути из захудалого паба Джона Барликорна; паб стоял на отшибе



и располагал Джо спокойненько напиваться вдали от посторонних глаз.

Все произошло ненастной декабрьской ночью, ни фары, ни налобного фонаря у Джо не имелось, тормоза слабые, к тому же он прихватил из паба порядочный запас шотландского виски и бренди, так что на крутом спуске с холма вся совокупность отягощающих обстоятельств увлекла его в канаву.

Сколько он провалился в канаве, Джо не имел представления — может, пять минут, а может, пять часов, — но к тому времени, когда он очнулся оттого, что кто-то тряс его за плечо, холодный декабрьский дождь промочил его до нитки.

Ему смутно вспоминаются, рассказывал Джо, яркий свет фар и фырчанье мотора, а потом что его кто-то тащит с дороги. Он было решил, что полиция, и, не чувствуя себя в кондиции сопротивляться, покорно дал препроводить себя в фургон и пристегнуть ремнем безопасности, а затем его спаситель достал из канавы велосипед и слетевший с Джо башмак.

Поначалу Мюррей был неразговорчив, разве что назвался и передал Джо тряпку, которой протирал ветровое стекло, чтобы тот приложил ее к ране на голове. После чего Джо вообразил, что Мюррей — доктор и везет его в карете скорой помощи, и спросил, едут ли они в больницу. Однако Мюррей ответил, что поедут они гораздо ближе, чем в больницу, если, конечно, Джо не хочет истечь кровью.

Джо говорил, что рано или поздно дело для него все равно кончилось бы подобными травмами. С тех пор как месяц или два тому назад его выгнали из гостиницы, он запил пуще прежнего, и нужда заставила взывать к милосердию



его друзей и родственников. Тех самых людей, кому он с моей помощью написал покаянные письма и кто, сжалившись, пускал его пожить, чтобы потом горько пожалеть о своей доброте: Джо вваливался к ним в любой час суток, одурманенный спиртными парами, подъедал припасы в холодильниках, таскал из карманов деньги, а потом и вовсе пал так низко, что украл велосипед.

Немудрено, что вскоре даже самые добросердечные друзья и родственники отвернулись от него, и он лишился всякого шанса на помощь. Так что, когда Мюррей за несколько недель до Рождества подобрал его бесчувственным на дороге, Джо уже пару дней как ночевал в заброшенном хлеву, который отыскался в нескольких минутах езды от паба.

При таких обстоятельствах, да еще с учетом бог знает какого времени, что Джо бесчувственный пролежал в грязи под дождем, он тем вечером, должно быть, насквозь просмердел кухню на Солеварной ферме. Однако Хелен ни словом о том не обмолвилась, пока промывала глубокие ссадины у него на лбу, а Мюррей только налил ему ванну и презентовал комплект сухой одежды из своего гардероба, а одежду Джо, пока тот соскребал с себя многодневную грязь, попросту сжег в печи.

Как и доктор, который на следующий день приходил осмотреть Джо, Оксбарроусы не попрекнули его за беспутную жизнь и жалкое состояние, в каком обнаружил его Мюррей в канаве. И в то же время они не отмахнулись от передраг Джо.

Лучше, чем Джо, понимая, что на Солеварной ферме у него больше шансов поправиться, Оксбарроусы убедили Джо остаться у них, предложив ему то, в чем он больше



всего нуждался: крышу над головой, пищу на столе, внимание и заботу. Но только не жалость, сказал Джо. Хелен с Мюрреем обладали достаточной житейской мудростью, чтобы понимать, как искусно умеют типы вроде Джо — подверженные страсти к бутылке — играть на жалости к себе. И им хватило ума приспособить его к работе за кров и стол. Более того, они сообразили дать ему ту единственную работу, которая сама вынуждала его к трезвости, — водить их фургон. Джо прекрасно понимал, что они не пустят его за руль, вздумай он взять в рот хоть каплю спиртного.

Иными словами, подобно тому как Мюррей иногда ловил в сети залетавших в мастерскую птичек, слишком приближавшихся к его работающим станкам, так и Джо оказался пойман в сети, но исключительно ради его собственной пользы и наиделикатнейшим образом.

У меня не оставалось сомнений, что Оксбарроусы питали к Джо огромное сострадание, и я думал, что оно не до конца иссякло в их сердцах, несмотря на то что случилось впоследствии. Очень возможно, что они вообще всерьез не рассердились на Джо, а больше винили самих себя за то, что недоглядели и он в итоге снова сорвался. Конечно, мысль довольно курьезная, ведь они и так повели себя как истинные самаритяне; и все же, если их *чувство* шло от самого сердца, это могло означать, что они ищут способ загладить свою вину и, в свою очередь, больше оценят готовность Джо повиниться, чем, возможно, сделают первый шаг к тому, чтобы даровать ему прощение.

Впрочем, все это я узнаю, как только смогу разговорить их, думал я, и потому остановился под окнами с торцевой стороны дома в надежде, что Хелен или Мюррей выглянет



посмотреть, кто к ним стучится, хотя бы из чистого любопытства. Но в окнах никто так и не появился, и тогда я пошел вдоль длинного заброшенного сада на задах дома.

В снегу среди зарослей ежевики и заиндевевших стеблей борщевика торчали треснувшие солнечные часы и несколько деревянных сараев с провалившимися крышами, дальше шла сгнившая беседка, а в самом конце сада — конура.

В ожидании, что сейчас из нее выскочит пес — нечто косматое и злобное, под стать глуши, в которой стоит дом, — я чуть помедлил, прежде чем подойти к заднему крыльцу и постучать в окно кухни.

Внутри в свете пылающей дровяной печи я разглядел, что кухня богато украшена хвойными ветками и еще три или четыре молодые елочки прислонены к стене.

Когда и на заднем крыльце тоже никто не появился, я пошел по дорожке вдоль задней стены дома, постучался в окно, потом в другое, как и первое, глухо завешенное.

На случай если кто-то из Оксбарроусов все же окажется дома, я приблизил лицо к самому стеклу и громко сказал:

— Я из церкви Святого Петра. В городе. Могу я переговорить с вами? Я не задержу вас надолго.

Это было чистой правдой. Мне действительно не следовало надолго задерживаться здесь, так как и без того придется сильно постараться, чтобы отыскать обратную дорогу в здешнем лабиринте проселков, тем более что я слабо представлял себе, какими путями добрался до фермы. А в темноте сделать это будет еще труднее.

Я снова постучался и, когда не получил ответа, начал внутренне настраиваться на то, что придется возвращаться





к Джо, так и не добившись успеха в возложенной на меня миссии.

Он, конечно, расстроится, более того, затоскует, что не доживет до следующего шанса примириться с ними, но я был более чем уверен в своих способностях убедить его, что если ему так важно наладить отношения с Оксбарроусами, то Господь в своей милости продлит его дни, чтобы дать его желанию осуществиться. Просто не следует торопить события. Если есть Господня воля на то, чтобы Джо потерпел, прежде чем снова завоюет их доверие, значит, пускай потерпит, делать нечего. И тогда оно станет ему во сто крат ценнее.

* * *

Вернувшись к кухонной двери, я для очистки совести напоследок постучал в стекло и даже попытался через окно разглядеть прихожую: вдруг увижу, что там мелькнет Хелен или Мюррей.

В буроватом свете, который падал из оконца сверху входной двери, я увидел лестницу-стремянку, она валялась на полу, по которому рассыпались хвойные ветки.

Я громче застучал в стекло и покричал Оксбарроусам, потом решил, что кто-то из них, видимо, упал со стремянки и, раз уж я здесь, самое правильное — убедиться, что упавший серьезно не покалечился.

К счастью (или так мне по наивности тогда показалось), дверь оказалась не заперта, и, войдя внутрь, я смог в полной мере оценить ухищрения Оксбарроусов по части праздничного убранства их жилища. С нижних балок





густо свисали многочисленные ветки остролиста и сосновые лапы, окна обрамляли гирлянды из плюща с множеством натянутых в них маленьких свечечек. Елочки, еще раньше увиденные мной через окно, были связаны вместе, и за нехваткой высоты потолка их верхушки согнулись; приторный смолистый дух заглушал все остальные запахи и в жарко натопленной кухне вызывал тошноту.

Я поздоровался и, не получив ответа, направился в прихожую, переступил через упавшую стремянку и подобрал с пола несколько зеленых веток. В коридоре весь пол усыпали ветки омелы и елочные украшения, тут же лежали разорванные венки из тисовых и еловых веток, судя по всему содранные со стен. Стебли плюща, видимо обвивавшие гирляндами перила лестницы, теперь висели ключьями, а вставленные в них свечки валялись на полу сломанные.

Дверь в гостиную была приоткрыта, но, поскольку там было темно и веяло холодом, я разве что для порядка заглянул внутрь, не особо рассчитывая обнаружить там Мюррея или Хелен. Судя по ароматам, гостиную украсили хвойными ветками столь же щедро, как и кухню. Включив свет, я увидел охапки еловых и кипарисовых веток перед камином, на каминной полке и на закрытом пианино у стены. Фотографии Хелен и Мюррея на буфете едва виднелись из-за сваленной на нем охапки веток остролиста.

Я вышел из гостиной и на лестничной площадке еще поаукал на случай, если кто-то из Оксбарроусов окажется на втором этаже.

— Простите, что без приглашения, — прокричал я. — Я только убедиться, в порядке ли вы оба. Я из церкви Святого Петра, что в городе. Меня зовут Эдвард Кларк.



Не получив ни ответа, ни привета, я стал подниматься по деревянным ступеням, не переставая говорить, чтобы они услышали, что я иду, и не перепугались от моего вторжения.

— Меня просил зайти к вам Джо Гулл, — приговаривал я, заглядывая в комнаты, выходящие на площадку лестницы. Одна оказалась ванной, из другой ступеньки вели на верхний этаж. — А я как раз оказался в ваших местах, — продолжал я, пробуя дверь в третью комнату, в которой горел свет. — Можно мне войти? — спросил я. — Вы как, в порядке? Я из церкви Святого Петра.

* * *

Мюррей лежал животом вниз на двуспальной кровати, одна рука была вывернута и прижата к пояснице, другая свешивалась с края матраса, касаясь пола костяшками пальцев. Шторы в комнате были задвинуты, и в свете лампы на прикроватном столике я увидел стакан с водой, на дне густой осадок от растворенных таблеток; рядом в пепельнице лежал аккуратный столбик пепла, видимо, сигарету прикурили, а потом она догорела сама собой.

В комнате стоял холод, и, наверное, поэтому я не ощущал никакого запаха, который, как я думал, должен исходить от мертвого тела. Значит, Мюррей не мог умереть давно. А что он мертв, сомнений у меня не оставалось. Точно такой же вид был у моего дедушки на смертном одре; его лицо и руки точно так же были лишены всяких живых красок.

Как я догадывался, Мюррей, видимо, свалился со стремянки, развешивая хвойные гирлянды, и, ища, за что бы





ухватиться, сорвал со стеной рейки уже прикрепленную к ней гирлянду. А потом отправился наверх, чтобы успокоить нервы пригоршней таблеток и сигаретой, но с ним случился приступ какой-то болезни, а может, прихватило сердце.

Вид у него был явно болезненный, как и описывал Джо. Как у человека, который сильно потерял в весе, причем быстро и недавно. Одежда казалась слишком велика ему, а обвисшая кожа на щеке как будто стекала прямо на подушку.

Какая бы беда ни приключилась с беднягой Мюрреем, он встретил ее в одиночестве. Хелен дома не было. А теперь она вернется и обнаружит самое худшее, что только могло случиться.

Дело шло к Рождеству, и она, по всей вероятности, поехала навестить родственников (правда, я не представлял, на чем она добиралась, не пешком же), но неизвестно, сколько еще времени она у них пробудет. Я хотел позвонить в полицейский участок в Клайтеро, но забеспокоился, как бы вид полицейской машины и скорой помощи во дворе не причинили бедной Хелен, когда она вернется, еще большего страдания. И потом, полиция наверняка поинтересуется, почему я сунулся в чужой дом без приглашения.

Конечно, в какой-то момент все равно придется объясняться, почему я позволил себе войти в дом, но я полагал, что Хелен — а не она, так сама полиция — сумеет понять, какие серьезные основания двигали мной. Я даже подумал, что потом Хелен, возможно, даже скажет мне спасибо за мою решительность, так что я спустился вниз поискать номера родственников Хелен в телефонной книжке, которую заметил в прихожей. Если удастся связаться с ее братом



или сестрой, то, даже если она не у них, они, по крайней мере, найдут способ передать ей ужасную новость.

Правда, я не представлял себе, что говорить, и, пока набирал первый номер из книжки, старался придумать, с чего начать, чтобы с ходу не заморочить людям голову или не вогнать их в панику.

Ничего путного не придумывалось, и даже чистая правда бросила бы на меня тень подозрения, и посему я с облегчением вернул трубку на рычаг, когда кто-то зазвонил в коровий колокольчик у переднего крыльца.

Я так долго возился с запорами на двери, что к моменту, когда наконец справился с ними, звонивший, кто бы он ни был, по всей видимости, уже отчаялся дожидаться. Следы на снегу вели за угол дома, к калитке на задний двор, и, дойдя до нее, я окликнул невидимого незнакомца, а потом дошел до мастерской и снова покричал, и тут как на грех снова на крыльце зазвонил колокольчик.

Но когда я вернулся к переднему крыльцу, звонивший во второй раз не стал дожидаться ответа. Короче говоря, у передней двери никого не было.

К тому же моя машина исчезла.

Угнать ее никак не могли; начать с того, что я бы услышал звук запускаемого мотора, и потом, она просто не могла бы за такое короткое время и на такой открытой местности совершенно скрыться из вида. К тому же на многие мили вокруг не было ни души, если не считать людей, чьи голоса доносились со стороны лесопитомника. Разве что кто-то из них пришел к ферме и звонил в дверь, чтобы попросить меня переставить машину по не пойми какой причине, а когда я не отозвался, сам и переставил ее.





Однако я отсутствовал не более минуты, к тому же моя машина никому не загромождала дорогу; тут и вовсе не было никакого другого транспорта, которому можно было бы *загородить* дорогу, если не считать побитого фургона Мюррея. Мою машину никоим образом украсть не могли, на снегу отсутствовали даже следы колес, ведущие со двора.

Правда, не было и следов, которые я сам оставил, когда подъезжал к ферме.

Я принялся гадать, уж не зашел ли некто звонивший в дом, и, оглянувшись на окна, убедился, что так оно и есть, ведь кто-то раздвинул шторы на окнах в спальне Оксбарроусов. И точно, снова войдя с переднего крыльца, я услышал голоса из кухни, к тому же стремянка уже стояла на ножках, а гирлянды снова висели по стенам коридора; мне даже показалось, что теперь они еще курчавее и хвойный запах от них еще тяжелее и сильнее бьет в нос.

Гирлянды свисали и с притолоки кухонной двери, причем образовывали такую плотную завесу, что пришлось разгребать их в стороны, и я замешкался у входа в кухню дольше, чем нужно, чтобы переступить порог: казалось, я продираюсь сквозь буйно разросшиеся заросли лесопитомника.

Впрочем, я приписал этот эффект густоте хвойных веток, из которых наплели эти гирлянды, но когда я, все еще барахтаясь среди гирлянд, попробовал обнаружить свое присутствие, когда спросил, куда подевалась моя машина, то вдруг понял, что мой голос звучит только в моей голове, а из уст не вылетает ни звука, как будто я мысленно, а не вслух задаю свои вопросы. К тому же в кухне, весь исцарапанный торчавшими во все стороны иголками сосны и остролиста, я понял, что мне отведена роль стороннего



наблюдателя, а никак не участника событий, ибо три человека в кухне не замечали моего присутствия.

Ни один не повернул ко мне голову. Ни Мюррей, ни Хелен, ни Джо — закутанный в одеяло, он сидел у самой печки, у его ног стояла кружка с кофе. Тут же была и собака, великопный доберман, но и он против моих ожиданий не вскочил, чтобы обнюхать меня, а продолжал нежиться в тепле от печки и только поводил ушами, прислушиваясь, как тяжело ударяют в окна капли дождя и как успокоительно воркует Хелен, промывая ссадины на лбу у Джо.

— Благодарение Богу, ты нашел его, — проговорила Хелен.

Мюррей лишь оглянулся и снова вернулся к супу, который подогревал на плите.

— Ему еще повезло, что я вовремя заметил его велосипед, — сказал Мюррей. — Иначе наехал бы прямоком на него.

Хелен оторвала еще один клочок ваты и опустила в миску с водой у себя на коленях.

— Как думаешь, кто-нибудь у Барликорна знает, кто он такой? — спросила она.

— Уж будь уверена, там его наверняка знают, — отозвался Мюррей. — Другой вопрос, есть до него кому-нибудь какое-то дело.

— И как это ему позволили так набраться?

— Разве это их забота — указывать ему, сколько пить и когда остановиться?

— Да знаю, но ты только посмотри, Мюррей, в каком он состоянии. Ежу понятно, что у него и гроша-то за душой нет, не говоря уже о выпивке. Чертовски безнравственно брать с такого деньги.





Она выбросила клочок окровавленной ваты в мусорную корзину и подняла бессильно мотнувшуюся голову Джо.

— Придется тебе его поддержать, — попросила Хелен, и Мюррей подошел, чтобы держать голову Джо, которого теперь била дрожь. — Смотри-ка, бедолага до сих пор не отогрелся, — озабоченно сказала она, взяла со спинки стула у печки покрывало и развернула его.

Правда, в развернутом виде оно оказалось куда бóльших размеров и не покрывалом, а скатертью, белой и свежеевыглаженной, которая легла на кухонный стол, и Хелен принялась ее разглаживать.

К тому же вечер каким-то непостижимым образом превратился в ясное утро. Кухню заливал яркий свет зимнего солнца. На подоконнике стоял горшочек с подснежниками.

В кухню вошел Джо в теплом пальто, раскрасневшийся с мороза, да так и стоял в нерешительности, пока Хелен не заметила и не окликнула его.

— Не переживай, мы не станем надолго удерживать тебя здесь, — сказала она и пододвинула ему стул. Он стащил рабочие рукавицы, аккуратно сложил их на коленях и потрепал загривок добермана, который подошел обнюхать его ноги. Причем вид у Джо был куда здоровее, чем я когда-либо у него видел, и лицо расплывалось в улыбке, какой я никогда за ним не замечал. В его облике совершилась еще какая-то перемена, ускользавшая от меня, и только через несколько мгновений я догадался, в чем она. У Джо не было шрамов.

— Мы готовы, — сказала Хелен. Она встала за спиной сидящего Джо и закрыла ему глаза ладонями, чтобы тот не увидел, что в кухню, изо всех сил стараясь не шуметь, прокрался





Мюррей и осторожно поставил на стол бисквитный пирог, на котором глазурью было выведено «Месяц ни капли».

Сюрприз удался, и я вижу, как Джо отвечает на рукопожатие Мюррея, подставляет Хелен щеку для поцелуя, потом задувает свечку, и кухня погружается в темноту. Тяжелую от пыли, не продохнуть какую душную, внезапно заполнившуюся дикими визгливыми звуками, и, когда шум затихает, а пыль оседает, я вижу, что теперь нахожусь в мастерской.

Не подумайте, что я перепутал сон с явью. В этих сценах не было ничего фантазмагорического, что указывало бы на сновидение. Скорее, кто-то свыше посылал мне эти видения, не оставив иного выбора, кроме как смотреть их.

Не помню, чтобы я напугался — страх пришел позже, — скорее, оцепенел. На меня напало нечто вроде столбняка. Не знаю, как еще назвать это состояние. Самое близкое, с чем это можно сравнить, — это когда человек просыпается, все еще находясь под действием анестезии: он в ясном сознании, но не может пошевелиться и лишь безмолвно и безучастно наблюдает за событиями.

Я наблюдал, как Джо и Мюррей с двух сторон подхватывают только что отпиленную доску и переносят в тачку, где уже сложены другие сосновые доски. Диск циркулярной пилы остановлен, с него поднимается легкий дымок. Мюррей пошире открывает двери мастерской и спускает с лица маску, чтобы закурить сигарету. Деревья снаружи все в капельках дождя и переливаются в солнечном свете. Я каким-то образом понимаю, что на дворе середина весны, погожей, яркой, промытой дождями. Появляется доberman, шерсть прилизанная, точно у выдры; он шумно





отряхивается и присоединяется к Мюррею с Джо, которые разворачивают тяжелую тачку, чтобы катить ее к фургону.

Когда они заканчивают, в мастерскую залетают маленькие птички и рассаживаются, кто на недочиненную мебель, а кто на зубья циркулярной пилы.

Потом прилетают и рассаживаются еще птицы, зяблики и славки, превращая мастерскую в птичий вольер, пока стайка стрижей не прочиркивает поперек проем широко открытых дверей, и тогда, точно повинаясь команде, птички дружно вспархивают и вылетают из мастерской.

Я следую за ними — хотя нет, меня *увлекают* — из мастерской в догорающие вечерние сумерки позднего лета. В закатном свете резвятся стрижи, стремительно скользят над самым пустырем перед домом, едва не касаясь брюшками роскошно густой, точно мех, травы, гребешков и канавок застарелых колеи от фургона, а сверху их накрывают длинные тени от тисов. Затем, сытые и довольные, стрижи облепляют съезжающий с дороги к дому фургон, почти скрывая его под собой.

Фургоном управляет Джо, по пояс голый, расслабленный, локоть вальяжно выставлен в открытое окно. На дворе он одной рукой выворачивает рулевое колесо и задком подгоняет фургон к мастерской, где Мюррей подметает с пола опилки.

Месяцы здорового труда, трезвости и доброго обхождения сильно изменили Джо к лучшему. Когда он выпрыгивает из фургона, видно, как он подтянут и загорел. И оказывается, он намного моложе, чем я думал.

Рассмешив Мюррея каким-то замечанием — за птичьим пением я не расслышал его слов, — Джо подхватывает вторую



метлу, и они вместе с Мюрреем сметают опилки в кучу возле двери.

Пыль столбом поднимается в теплом вечернем воздухе, разлетается во все стороны и накрывает панораму густой пеленой тумана. Пелена остывает и брызжет моросью. Морось переходит в дождь, и передо мной уже дождливый осенний день.

Тисы сбросили почти всю листву, и она ковром покрывает двор, а во дворе Мюррей копошится возле фургона, пытаясь оценить повреждения на его передке. Левый край совсем разбит, фара вдребезги, капот дыбится, как от сильного удара изнутри.

Мюррей печально качает головой, потом встает, отряхивает влажные от дождя руки и идет к окну гостиной.

Перспектива меняется, и теперь я смотрю на Мюррея из окна гостиной, губы его беззвучно шевелятся, и я не слышу, что он кричит Хелен; та стоит на коленях возле софы, на которой возлежит мертвецки пьяный Джо, возле головы стоит ведро.

Потом я вижу уже другой день, Джо в том же положении, а ведро уже полно.

Еще один день.

Потом еще один.

Вот уже очухавшийся Джо шарит по буфетам в кухне, потом в кошельке Хелен.

Вот он рулит на своем кривом велосипеде под тисами вниз по дорожке.

А вот возвращается крадучись, карманы пальто провисают от чего-то тяжелого.





Дальше я вижу, как Хелен выливает в раковину бутылку дешевого джина.

Джо пытается раскурочить сифон раковины.

Доберман лает на него.

Скалит зубы.

Джо отбрасывает гаечный ключ и хватается за молоток.

Доберман, хромая, убегает в сад и забивается в свою будку.

Мюррей вырывает из рук Джо молоток.

Джо бросается вверх по лестнице в свою комнату.

Дом оглашается его воплями.

* * *

Я призываю всю свою волю, чтобы последовать за ним, но ход времени опять резко меняется, и я снова в мастерской. Мюррей в одиночестве орудует рубанком, на пол сыплются завитки сосновых стружек; под глазом у Мюррея темнеет синяк. Но даже без синяка у него теперь явно больной вид. Кожа на скулах посерела, истончилась и высохла; именно таким он и был, когда я нашел его мертвым в спальне.

Открывается дверь и входит Хелен, потирая с холода руки.

— Он здесь, — говорит она. — Крауленд этот.

— Уже? — говорит Мюррей. — Не думал, что он придет прямо сегодня.

— Ты же сам просил его зайти, как только сможет.

Мюррей откладывает рубанок, вытирает руки о робу.





— Да не смотри ты на меня так, Хелен, — вскидывается Мюррей. — Он знает что делает. Я же рассказывал тебе. Он помог тому приятелю Томми Белла и дочке Сэнди Хуггана тоже.

— А с ней-то что было не так?

— Есть перестала.

Хелен засовывает руки в карманы.

— Так он что, священник? С виду похож.

— У него нечто вроде церкви, так я думаю, — отвечает Мюррей. — Во всяком случае, люди к нему приходят и слушают его.

— Какие такие люди?

— Да не знаю я, какие, — отмахивается Мюррей. — Просто слышал, и все.

— Ну и что он будет делать? — не отстает Хелен. — Молитвы, что ли, читать? Сдается мне, Джо нужно что-то посущественнее молитвы. Да и тебе — тоже.

Она помогает Мюррею натянуть куртку, застегивает доверху молнию и поднимает ему воротник.

— Раз уж он здесь, — говорит Мюррей, — давай хотя бы выслушаем, что он скажет.

* * *

Снаружи сырой зимний полдень, над двором и пустырем перед ним повисла ледяная, промозглая мгла. Хелен с Мюрреем возвращаются в дом, входят через переднее крыльцо, идут в кухню, где за столом сидит приглашенный Мюрреем Краулэнд, высокий сухощавый мужчина. Он встает и за руку





здоровается с обоими Оксбарроусами, потом надевает на нос очки и рассматривает синяк Мюррея.

— Болезненный, похоже, — говорит он.

— Было бы еще хуже, кабы Джо нарочно его приложил, — отзывается Хелен.

— Бросьте, именно что нарочно, — возражает Крауленд. — Тут и вопроса нет.

— Я все думаю, что это мы, наверное, сделали что-то такое, — задумчиво изрекает Мюррей, — или, наоборот, не сделали.

Крауленд решительно мотает головой и кивком указывает Мюррею на стул.

— Нет, — говорит он. — Как я уже сказал вам по телефону, ваша единственная ошибка в том, что вы пытались договориться с этим, вот и все.

— С чем этим? — переспрашивает Хелен.

— С демоном, который сидит у Джо внутри.

Хелен насмешливо фыркает, Мюррей бросает на нее укоризненный взгляд.

— Прошу тебя, Хелен, давай лучше послушаем.

Крауленд смотрит на добермана, греющегося у печки с самым несчастным видом, задняя лапа у него забинтована.

— Неужели вы думаете, Хелен, что это Джо подбил лапу вашей собаке? — обращается к ней Крауленд. — Неужели вы считаете, что он способен на такое?

— Нет, тот Джо, которого я знаю, неспособен.

— Я тоже так думаю, — подтверждает Крауленд.

— Но это еще не означает, будто в него что-то вселилось, — стоит на своем Хелен, — а только что он болен.





Краулэнд не скрывает снисходительной усмешки.

— Если вы не готовы мне поверить и предпочитаете искать другое объяснение, это целиком ваше право, — говорит он. — Хотя вы только осложните для Джо все дело, а ведь мы именно что Джо пытаемся помочь. От правды ему будет куда больше пользы, чем от всего, что бы вы там ни придумали, уж поверьте мне.

— Он так хорошо справлялся, — сетует Мюррей, прикуривая сигарету. — Почти год молодцом держался. Поверить не могу, что после такого перерыва он снова взялся за старое.

— Интересно знать, почему, ведь не из-за бисквитов, которые вы выпекали ему за хорошее поведение? — возражает Краулэнд.

— Да потому что он всегда говорил нам, что намного лучше чувствует себя без выпивки, — снова вступает Хелен. — С чего бы ему вдруг захотеть снова к ней вернуться?

— Так это не он захотел, а демон, который в нем сидит, — говорит Краулэнд. — Потому что Джо не слушался его, и тот начал безобразить, чтобы его услышали.

— Но с какой стати нашему Джо вообще его слушаться, этого демона? — вопрошает Мюррей.

Краулэнд снимает очки, кладет на стол. Я замечаю, что его лицо и руки тоже покрыты старыми рубцами и шрамами, точь-в-точь как у Джо, когда он пришел ко мне в церковь Святого Петра.

— Нам надо отнестись к Джо как к ребенку, — говорит он. — К ребенку, который попал под дурное влияние. И он больше не будет прислушиваться к вам, не будет стараться угодить вам, каких бы наград вы ему ни посулили.

— И что же нам делать?





— Да очень просто, — отвечает Крауленд. — Мы устраним дурное влияние.

— Как устраним? — спрашивает Мюррей.

Крауленд задумчиво обводит взглядом обоих.

— Есть в лесах определенные растения, которые в это время года невыносимы для терзающего Джо демона, — говорит Крауленд. — Если мы принесем их в дом, то изгоним из Джо его демона.

— Мы? — удивленно спрашивает Хелен.

— Я знаю кое-кого, кого можно позвать на подмогу, — говорит Крауленд. — Людей, понимающих, с чем вы имеете дело.

Наверху снова кричит Джо, то ли от боли, то ли его корчит от кошмаров.

— Зовите их, — решает Мюррей, — если лучшего выхода у нас нет.

— То-то и оно, что нет, — говорит Крауленд, встает и сжимает плечо Мюррея.

Крауленд уходит, а Мюррей с Хелен заводят спор.

И все еще продолжают спорить, когда темным и сырым зимним утром готовят на кухне завтрак и умудряются так переругаться, что Мюррей в сердцах на весь день запирается у себя в мастерской, а Хелен — у себя на кухне.

Время снова сдвигается, и теперь Джо сидит за столом, а Хелен ставит перед ним миску с супом.

Но Джо не притрагивается к еде.

Он упорно отказывается есть, как маленький ребенок, каким считает его Крауленд.

А сейчас суп уже разлит по полу, рядом валяются черепки керамической миски.





Задняя дверь открыта.

А вон Джо, он перелезает через ограду, стараясь побыстрее смыться.

Еще через некоторое время Джо в бесчувствии валяется на дворе.

Хелен поднимает его.

Мюррей держит его голову под краном на кухне.

Джо силой водворяют в его комнату.

Снаружи под его дверью лает доберман, все громче и громче.

Потом скулит.

А вот кричит Хелен, зовет Мюррея.

Доберман с перерезанным горлом.

Джо размахивает ножом, Хелен пытается отнять его.

Хелен оборачивает полотенцем порезанную кровоточащую руку.

Мюррей изо всех сил подпирает дверь в комнату Джо. Джо просит, чтобы его выпустили, его обуревают отчаянное желание попросить прощения.

Мюррей гвоздями заколачивает дверь Джо.

Перевязанная рука Хелен набухает кровью.

Мюррей везет ее в больницу. Фургон катится по дорожке, у него светит только одна фара, желтый кружок света прыгает по стволам голых деревьев.

Я наблюдаю, как они сворачивают на дорогу, а последний свет дня тем временем растворяется в снегопаде, который зарядил не на шутку; снег валит тяжелыми хлопьями, тут же слипается и одевает белым саваном все, на что падает.

Наверху Джо громко зовет Мюррея и со всей силы трясет дверную ручку, потом в бессильном отчаянии принимается





крушить мебель. Он переходит от ярости к сожалениям, потом к изъявлениям глубочайшего почтения, он то выкрикивает мольбы, то угрозы, пока, выбившись из сил, не забывается сном. Он даже не шевелится, когда Мюррей, в одиночестве вернувшись из больницы, заходит к нему, а потом спускается вниз, закуривает сигарету и начинает звонить Крауленду.

* * *

Теперь я вижу следующий день: метет поземка, стоит тишина. Небо бесцветное, как лист бумаги.

Двери в мастерскую открыты, в следующий момент я вижу, что Мюррей выходит, неся перед собой стремянку. По дороге на переднее крыльцо останавливается подождать трех мужчин, спускающихся по склону холма от питомника. Крауленд и с ним еще двое — по виду их можно принять за его сыновей.

До меня доходит, что это их голоса я, скорее всего, слышал, когда подъехал к Солеварной ферме. Тем временем они проходят в ворота, у каждого в руках по охапке веток остролиста.

Теперь голоса доносятся еще с другой стороны, я вижу с дюжину людей, они сходят с дороги и сворачивают на дорожку к дому. Одеты они так же, как я: шапки надвинуты до самых глаз, на шеях намотаны шарфы, на пальто корки намерзшего льда, как у овцы, которая попалась мне по дороге сюда. У них тоже в руках большие охапки хвойных веток, и они заносят все это в дом. Разнообразные хвойные ветки и молодые побеги, которые наломали в живых





изгородях, в лесу, а может, и в собственном саду. Гирлянды, которые сплели собственноручно, украсили веселыми рожицами и фигурками зверушек, которые виднеются сквозь хвойные ветки.

На пороге Мюррей останавливает Краулэнда:

— Это и правда нужно сделать сегодня?

— Не можем же мы и дальше держать Джо взаперти в его комнате, — отвечает Краулэнд. — Он и без того довольно настрадался.

— Это да, — соглашается Мюррей. — А нельзя ли отложить это дело хотя бы до того, как Хелен отпустят из больницы? Она наверняка захотела бы увидеть, как это будет.

— Думаю, для Джо лучше, чтобы Хелен оставалась там, где она есть, — возражает Краулэнд. — Присутствуй здесь кто-то хотя бы с малейшими сомнениями в том, что мы затеваем, толку не будет, и демон наберет еще больше силы. У вас самого, Мюррей, есть сомнения?

Мгновение подумав, Мюррей мотает головой и расставляет в прихожей стремянку.

С верхнего этажа доносится шум: Джо исступленно бьет в заколоченную дверь, в его воплях смешиваются угрозы поквитаться с обидчиками и клятвы покаяться в своих преступлениях. Приведенные Краулэндом помощники не обращают на буйства Джо ни малейшего внимания, а лишь прилежно натаскивают из питомника в дом все новые и новые охапки хвойных веток. Ребятам помладше хождения туда-сюда доставляют видимое удовольствие, как и всякая добрая рождественская традиция, и хотя они путаются под ногами у взрослых, те позволяют им помогать разбирать ветки для украшения кухни.





Ясно, что угрозы и мольбы Джо принимают одного только Мюррея, он обеспокоенно поглядывает вверх, пока забирается на стремянку.

— Со временем он сам поймет, что мы оказали ему милость, — успокаивает Мюррея Крауленд и передает ему следующий венок, чтобы повесить на стену. — В свое время я тоже нуждался в подобном, ну, чтобы из меня изгнали моего демона. А до того я был его рабом, совсем как сейчас Джо.

Крауленд бросает взгляд на сыновей, которые обвивают перила и стойки лестницы гирляндами из плюща, и те согласен кивают.

Наверху Джо по-прежнему в иступлении сыплет угрозами.

Крауленд сочувственно дотрагивается до локтя Мюррея.

— Поймите, нельзя позволить этому оставаться в Джо, — говорит Крауленд. — Вы ведь видели, что оно сотворило с Хелен. Потом оно возьмется за вас и в конце концов убьет Джо. Опустошит этот дом. Именно этого оно и хочет.

Мюррей принимает из рук Крауленда венок, вешает на стену. Вокруг него вся внутренняя обстановка Солеварной фермы мало-помалу заполняется тяжелым смолистым духом; вездесущий, он с каждым моим вздохом забивает мне нос и рот.

* * *

Когда дом весь изнутри одевается вечнозеленым рождественским убором, а Джо переходит от воплей к попыткам договориться, Крауленд и его команда втыкают во все





гирлянды, венки и ветки маленькие свечечки и зажигают их.

Мягкий свет рассыпает блики на глянцевых листьях и пронзительно красных ягодах остролиста, в горящих глазах младших ребят, совершенно завороженных этим таинственным сиянием, словно они перенеслись в настоящий рождественский грот. Мальчика в красной вязаной шапке отец поднимает на руки, давая ему самому зажечь свечки в украшающей лестницу гирлянде из плюща.

Наконец работа выполнена, и все замирают в ожидании, точно на службе в церкви. Мюррей старается не слышать мольбы Джо, сосредоточенно наблюдает, как хлопья снега заваливают оконце над входной дверью.

Где-то в доме бьют часы, и Крауленд начинает обходить присутствующих, каждому он кладет на голову руку, тихо бормочет нечто похожее на молитву и вручает пять-шесть веток остролиста. Следом идут его сыновья и раздают всем куски бечевки, чтобы связать ветки в снопы.

Когда с этим покончено, Крауленд кивает тем, кто стоит ближе всего к входной двери, и те распахивают ее настежь, впуская в прихожую холод. Снаружи совсем сгустилась темнота, и только легкие как перышки хлопья задумчиво слетают с неба, одевая белизной двор и поле за ним.

Один из сыновей Крауленда передает Мюррею молоток, которым прибивал к стенам хвойные лапы, и приглашает первым подняться по ступенькам наверх. Мюррею совсем не хочется идти наверх, и тогда Крауленд мягко берет его голову и, наклоняясь к его уху, нашептывает слова, предназначенные только Мюррею, пока тот не начинает кивать





и соглашаться. Мюррей утирает глаза и идет вверх по лестнице, сопровождаемый Краулендом и его сыновьями, в руках у каждого по снопу веток остролиста.

Слыша, что к нему идут, Джо голосит громче и, видимо, решив, что его сейчас выпустят, сыплет благодарностями Мюррею, пока тот вытаскивает гвозди из дверных косяков.

Сейчас я больше всего на свете желаю, чтобы меня отпустили с Солеварной фермы, но, похоже, неведомые силы принуждают меня торчать здесь вместе с остальными, пока они молча стоят и слушают, как приближаются вопли и звуки шагов: с верхнего этажа к верхней площадке, с верхней площадки по пролетам лестницы к нижней площадке, откуда несутся звуки борьбы и жалостные призывы Мюррея к Крауленду оставить Джо в покое.

Стойки перил содрогаются и трещат, когда Джо со всего маха врежется в них и полусъезжает-полускатывается по ступенькам; в попытках найти опору он цепляется за свисающие с перил пряди плюща и срывает их. Свечки рассыпаются по полу и гаснут, младшие бросаются их собирать, а их родители выступают вперед и стегают Джо своими снопами остролиста там, где он упал на лестнице.

Один из взрослых старается тащить Джо в сторону распахнутой двери, но тот вырывается и вместо двери бежит к кухне; испуганные дети разбегаются с его пути в руки к родителям, а Джо на бегу со всей силы врежется в пожилого мужчину, пытающегося схватить его. Пожилой хватается за челюсть, пошатываясь, отступает и задевает стремянку; та с грохотом падает, срывая со стены прибитые Мюрреем венки из омелы.



Те, кто посмелее, под предводительством Краулэнда преследуют Джо, меня тоже увлекает в гущу погони, и я продираюсь в дверной проем сквозь плотный занавес из сосновых и еловых гирлянд.

Теперь Джо старается вырваться в сад, дергает ручку задней двери, а Краулэнд с сыновьями пытается его оттащить. К ним присоединяются другие преследователи, Джо отпускает ручку двери, валится на пол, сворачивается калачиком, обхватив себя руками, и жалобно зовет Мюррея. Мюррей из всех силенок старается пробиться к Джо сквозь плотное кольцо мужчин, но лишь тщетно цепляется за плечи, воротники и локти. Мужчины так плотно сгрудились вокруг Джо, что с легкостью оттирают Мюррея, и ему на долю тоже достаются колотушки хвойными снопами, пока Краулэнд не отводит его в сторону, а другие мужчины тем временем крепко хватают Джо и тащат к прихожей, побивая хвойными ветками.

Не думаю, что когда-нибудь в жизни видел кого-то в таком безмерном ужасе, в каком сейчас Джо; он ежится и приседает под плотоядно ухмыляющимися ему со стен зелеными рожицами и кубарем катится по полу, когда кто-то швыряет в него сплетенной из веток боярышника оленьей головой.

Джо снова хватают, но он выдергивает руку и изловчается бежать полусогнувшись, а поджидающие у двери мужчины погоняют его снопами прочь из дома. Джо удается немного пробежать по двору, но вскоре он падает, увязнув в глубоком снегу, и не успевает подняться до того, как его достигают бросившиеся за ним вдогонку. Краулэнд с сыновьями теперь подначивает остальных преследовать Джо,





родители сажают на плечи детей, чтобы легче бежалось по снегу.

Мальчонку в красной вязаной шапке, оказавшегося в авангарде размахивающей снопам толпы, отец спускает на землю, и он бросается к Джо, чуть замирает в нерешительности, а потом хлещет Джо по голове куда беспощаднее других, разрывает ему ухо, норовит вонзить острые сучки остролиста Джо в глаза и между пальцами.

Наконец по команде Крауленда Джо ставят на ноги, тычками и свистом гонят на дорожку под тисами, всю охаживая ветками остролиста, когда он спотыкается.

Мюррей тащится им вслед, умоляет прекратить избивание, зовет Джо. Я тоже иду следом, но к моменту, когда мне удастся достичь дальнего конца дорожки, Джо и его преследователи уже скрываются во мгле, одни только голоса доносятся со стороны дороги.

Боже, теперь они запели.

Полный торжества и радости хор поднимается над воплями Джо, в которых больше не осталось ничего человеческого. Скорее, они походят на те, что издавал бы пес под ударами кухонного ножа.

Голоса постепенно растворяются вдали, меня увлекает за ними. Какое-то время я ступаю по их следам, все вокруг усыпано ошметками хвои и обломанными веткам остролиста, по снегу вереницей змеятся капельки крови. Но вскоре снег заваливает следы, и я бреду как слепой. Во всяком случае, так мне кажется. На самом же деле неведомая сила направляет меня на каждой развилке, на каждом повороте, и я не в силах ей сопротивляться, не в силах повернуть назад или избежать развязки.





Вот от проселка отходит тропинка. Вот мост через замерзшую речку. Распахнутые ворота. Темное поле. Три облезлые лошадки пугливо жмутся к стене. Их пугает нечто, чернеющее на краю белого покрова замерзшего пруда. Мертвец, наполовину погребенный непрекращающимся снегопадом.

* * *

Вот и все. Этим, собственно, все и кончилось. Случилось это так давно, что, казалось бы, легче легкого усомниться в правдивости моих воспоминаний о том дне. Но они приходят ко мне, живые и яркие, живее и ярче прочих моих воспоминаний, — особенно под Рождество.

Если я решусь пересказать их Дэвиду, он ополчится на них со своей логикой, уж я-то знаю, и ему даже доставит удовольствие просеивать мои чувства сквозь сито своего анализа и строить гипотезы на фактах, которые не получится отрицать.

И конечно, он выяснит, что Солеварная ферма действительно существует и человека по имени Мюррей Оксбарроус на самом деле нашла в постели мертвым его жена и следствие не смогло установить, намеренно ли несчастный принял столько таблеток разом. Дэвид прочитает все слухи и домыслы, связывающие Мюррея со смертью некоего Джо Гулла, чей труп был найден поблизости от фермы, но только чтобы убедиться, что все это — не более чем слухи.

Нет, Дэвид не станет отрицать, что я ездил на Солеварную ферму, но заявит, что мои воспоминания ложны,





построены исключительно на том, что я читал о ферме и ее окрестностях. Это единственный рациональный вывод, скажет Дэвид. А как насчет Крауленда? О нем нигде нет ни единого упоминания. А Хелен, та ради собственной же безопасности, должно быть, держит язык за зубами. Но тогда откуда я знаю о Крауленде?

На это Дэвид ответит, что я выдернул эту личность из какой-нибудь другой истории, которую слышал. Наш ум — тот еще барахольщик, Эд, приберегает все что ни попадая.

Но мне-то доподлинно известно, что все случившееся — не выдумки. И какие бы подробности ни отметал Дэвид как сомнительные и неправдоподобные, для меня они все равно останутся голыми фактами. И главный факт в том, что Джо Гулл уже несколько лет как был мертв, когда явился ко мне за помощью в церковь Святого Петра.

В следующие дни после возвращения с Солеварной фермы, когда я терялся в догадках, что из приключившегося со мной было реальным, пугался, что я лишаяюсь рассудка, единственное, в чем я находил для себя хоть какой-то смысл, так только в том, чтобы воспринимать случившееся как великую притчу о смирении. Или о честности. Потому что, будь я честен с собой, я бы признал, что мне хотелось, чтобы Джо больше верил мне, чем Богу. И тогда я не услышал бы зова свыше; во мне звучал бы только собственный голос. Меня потому и направили на Солеварную ферму: чтобы указать мне мое истинное место, убедить, что мне отведена роль всего лишь безгласного очевидца Божьего промысла.

Уже позже я иногда гадал, может ли быть так, что, очутившись в некоего рода чистилище, Джо узрел во мне своего посланца, свой шанс на душеспасение. Вероятно, он так



горько сожалел о содеянном, что исхитрился явиться с того света в страстном желании ухватиться за последнюю краткую возможность вымолить прощение у Оксбарроу-сов, не ведая, что Мюррей уже мертв, а Хелен давно не живет на Солеварной ферме.

А может быть, все обстояло иначе и Джо всего лишь хотел рассказать кому-нибудь о том, какая судьба его постигла и что Краулэнд со своими приспешниками убили его, вероятно сами того не желая.

Каждый год под Рождество я заставляю себя вдуматься и понять, к чему было все произошедшее, и каждый год ни к чему не прихожу. Знаю только, что те события случились в реальности.

Да, они случились. И это все, что можно о них сказать. Хотя я и сам знаю, что этого недостаточно. Сказать *«это случилось»* означает оставить простор для сомнений.

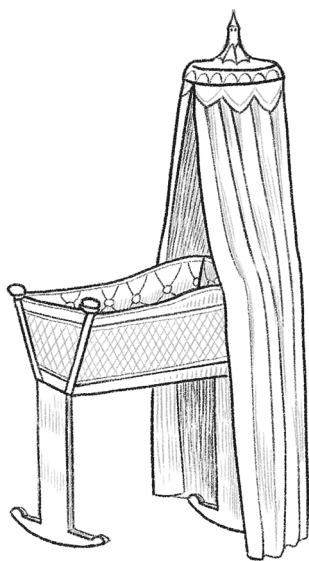
Можете себе представить, каково это — больше никогда и ни в чем не быть уверенными? Так я вам расскажу.

Только вот Дэвид ни за что не поймет, что я имею в виду.

И Господь мне тут не в помощь. Никогда и не был. Он только и делал, что выставял меня глупым мальчишкой со вздорной затеей уместить огромность небес в спичечный коробок.

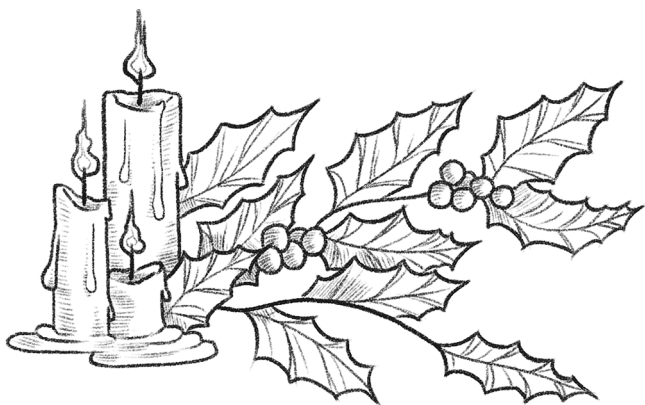
В КАРМИННОЙ КОМНАТЕ

Киран Милвуд Харгрейв



STONE HEDGE

STONE HEDGE



Я записываю свой рассказ о случившемся, как если бы это была моя исповедь перед Богом, моя молитва в уши ангелам, ибо сейчас у меня не осталось никого, кому я могла бы доверять, кроме себя самой: своему сердцу и своему перу. У меня нет привычки вести дневник, и сразу признаюсь, что все далее написанное — мои воспоминания. Однако клянусь спасением моей души: все происходило именно так, как я описываю. И до сих пор происходит.

Вам следует уяснить, притом прочно и недвусмысленно, что сегодня, 24-го дня декабря 1898 года, я, Кэтрин Элизабет Мэри Блейк, нахожусь в здравом уме и твердой памяти, что бы обо мне ни говорили. Я знаю, что я дочь Софи Мэри Уинсом и Джона Альберта Уинсома, ныне покойных, и что я уже год как состою в браке с Ричардом Артуром Чарльзом Блейком. Я знаю, что живу в Блейк-Мэнор, в двух шагах от городка Тенбери-Уэллс*, в графстве Шропшир. Я знаю, как зовут нашу королеву и нашего

* Рыночный городок Тенбери-Уэллс находится в графстве Вустершир, как раз у границы с графством Шропшир.





нынешнего премьер-министра, я могу назвать наши колонии и пределы нашей империи. Я знаю заповеди. Я опишу все в подробностях, чтобы вы так же ясно увидели, как происходило каждое событие, как это вижу я в своей памяти.

Пишу все это с единственным намерением — доказать вам, что все, во что я призываю вас поверить, есть чистая правда как она есть: что пускай тело мое ослабело, а мой разум подвергают сильным сомнениям, я не сошла с ума. Хотя когда вы узнаете все последующее, то вы поймете, почему я сама бы того желала.

* * *

Я рожала в карминной комнате. Ее приготовили уже к тому времени, когда у меня прекратились месячные. Раньше она была безликой и невзрачной, со стенами, обитыми желтым шелком, который весь изъела моль, лохмотья от выведившихся личинок мерзкого вредителя свисали с тяжелых портьер из зеленого бархата, и всякий раз, когда я отдергивала их, то начинала неудержимо чихать. И все же я любила эту комнату за вид, который открывался из ее окон.

Наше поместье Блейк-Мэнор располагается там, где лес рассекает река, на вершине холма, откуда открывается чудесный умиротворяющий вид и на реку, и на лес. Если, стоя у окна, прикрыть один глаз — или закрыть ладонью, если вы, подобно мне, неспособны жмуриться, — пред вами предстанут два очень разных мира. Первый, знакомый мне





еще с детских поездок в Массури-Хиллс*: перекаты зеленых холмов, в подножия которых врезается серебряная лента реки. Если поменять глаз, откроется второй вид: долина, одетая густыми лесами, глухими, бурыми и теневыми, точно в волшебной сказке.

При всей привлекательности местного пейзажа дом, точно повинувшись глупому детскому капризу, обратили тылом к долине.

Подъездная аллея, главные ворота и фасад смотрят в противоположную сторону, где тянется декоративный сад с квадратными, посаженными в строгом шахматном порядке розовыми кустами. Летом сад источает благоухание, а осенью — и тем паче, несмотря на свою бездушную математическую симметрию. Сад вверен ревностным попечениям Ноукса, который, как сказал мне Ричард, перешел к нам вместе с домом. Как часто бывает со старинными поместьями, Ноукс и его жена, наша экономка, сделались такой же неременной частью Блейк-Мэнор, как рояль в музыкальной комнате или само семейство Блейк.

По этой же, вероятно, причине буйную красу естественного природного пейзажа позади дома предпочитают не замечать в угоду Ноуксу с его дисциплинированными клумбами. Сама эта земля Блейкам не принадлежит, хотя они предпринимали множество попыток выкупить ее. Владельцем земли числится вдовый фермер Брайт, причем он упорно не возделывает и не продает ее. Владение землей

* Массури — город и горная станция у подножия Гималаев в Индии. Основан в 1826 году; в конце XIX века — популярное место отдыха, куда ехали пережить самые жаркие летние месяцы.





Брайтами восходит еще к «Книге Судного дня»*. Впрочем, здесь не место распространяться о Брайтах. Главное, о чем я сейчас веду речь, — это комната и привлекающий меня вид из ее окна, а также мои настояния, что ее стены непременно следует перекрасить в карминово-красный цвет.

Доктор Харман с первой же минуты резко возражал против моей прихоти. Его догмы говорили ему, что комната роженицы должна быть белой или хотя бы оттенка поспокойнее: голубенькой, как талая вода, или бледно-зеленой, цвета мха. Но я стояла на своем: она должна быть красной, — я так и заявила Ричарду, мотивируя тем, что в Бомбее у моей матушки родильная комната была именно этого цвета, когда она рожала меня. Я очень горевала, когда матушка меньше двух лет тому назад умерла, и теперь мне казалось важным, чтобы частичка ее тем или иным образом присутствовала подле меня. Ричард поцеловал меня в лоб, как он один умеет, разом смягчая меня, и только пожелал узнать, предпочитаю ли я красный, как у нас в библиотеке, или карминный. Я назвала последний, потому что само слово «карминный» нежнее перекатывалось у меня на губах, чем грубое «красный», и вызывало в памяти восковой цилиндрик моей любимой губной помады.

Огромный бак такой краски нам прислали из далекого портового города Гулля. Сам пигмент получают из крылышек какой-то мошкары и привозят вовсе не из Индии, а из Перу и уже в доках смешивают с кислотой. Когда

* «Книга Судного дня», или «Книга Страшного суда», — свод материалов первой в средневековой Европе всеобщей поземельной переписи, проведенной в Англии в 1085–1086 годах по приказу Вильгельма Завоевателя.





мальчишка-слуга откинул крышку бака, Ричард снова спросил меня, уверена ли я в своем выборе.

По правде говоря, совсем даже нет. Цвет не имел ничего общего с тем, как описывала его матушка, — тот был согревающий, глубокий и пряный, он придавал сил, как если отпить настой кардамона. Но миссис Ноукс околывалась поблизости, на ее блеклой физиономии явно читалось тайное неодобрение, и в пику ей мне пришлось изобразить довольную улыбку и заявить, что да, я уверена.

Под придирчивым взглядом миссис Ноукс я вообще была склонна многие вещи делать наыворот. Первые пять месяцев совершенно вымотали меня: щиколотки мои отекали, а корсеты, как казалось, нагло мне съеживались, когда я надевала их, но я не позволяла ей заметить, как неустойчиво меня клонит в сон, сколько неудобств доставляет мне мое состояние. То было своего рода соревнование, потому что она относилась к женщинам того сорта, что не выносят ажитации и суматохи, а я, наоборот, все это только приветствовала. Но я по своей глупости гордилась этим своим свойством и желала произвести на нее впечатление. С чего бы? Экономка, с длинным лицом, плоским и тупоносым, как лопатка каменщика или морда терьера. Если бы мне так не хотелось кричать от отчаяния, я бы при мысли о ее физиономии рассмеялась.

Ведь я должна была сказать «нет» еще в тот день, когда передо мной откинули крышку бака и показали привезенную красную краску, намешанную не иначе как по дьявольскому наущению. Показали мне цвет, который сразу навел меня на мысли о крови, ранах и разверстых свиных



тушах. Но я подумала тогда, что все будет хорошо и у меня, по крайней мере, будет вид из окна. Даже когда принесли новые бархатные портьеры глубокого пурпурного цвета, еще тяжелее прежних зеленых, я не понимала, честное слово, не понимала, что меня ждет. Не понимала, и когда устанавливали звонок, соединенный с колокольчиком в кухне, и даже когда в дубовую дверь вставляли замок, латунный, толще моего большого пальца; а запиравший его ключ, массивный, причудливой формы, бывший в единственном экземпляре, появился на кольце, которое носила на своем тощем запястье миссис Ноукс. Всякий сколько-нибудь смыслящий в подобных вещах легко поймет, почему мне так претит делиться подробностями родов, вернее, тем, что я могу вспомнить о них. Однако уверена, что обстоятельства, в коих они начались, имеют немаловажное значение.

В здешних местах бытует традиция посещать церковь в каждый из последних дней рождественского поста. И столь же традиционны в здешних местах снегопады, которые идут большую часть зимы. Конечно, я слышала о снеге и даже видела его на открытках, которые отец присылал нам из миссии в Ладакхе: белейшие шапки гор, огромные, как облака. Но, согласитесь, одно дело — знать, что такое снег, и совсем другое — получить непосредственные впечатления о нем. Видеть, как белая пелена за одну ночь накрывает собой весь свет божий, испытывать, как в него проваливаются ноги, как он набивается в ботинки, как через чулки кусает холодом ноги. И слушать эту игру звуков, когда его швыряет в окно, точно кошка, играющая с мышью, и этот пугающий хруст у тебя под ногами.





Я уже и так ходила, переваливаясь как утка, живот мой стал столь огромен, что не обхватить руками, он мешал мне спать по ночам, да и днем доставлял одни неудобства. Но такая уж здесь традиция: ходить за милую в церковь, какая бы погода ни стояла на дворе, — сообщила мне миссис Ноукс, а мне как почти что новой миссис Блейк сам бог велел этой традиции следовать.

Прежде хождения в церковь давались нам без особых затруднений, но сегодня все было по-другому. В те дни Ноукс совком расчищал нам от снега ровную, ухоженную дорожку, выводившую нас на сельскую дорогу, которая огибает внешнюю стену Блейк-Мэнор. Но сегодня случился такой сильный мороз, что едва мы выглянули за дверь, как наше дыхание заклубилось паром у наших ртов и мы увидели, что наша привычная дорожка превратилась в каток. Ричард настоял, чтобы мы срезали путь по снежной целине за домом. Миссис Ноукс принялась было спорить, но мой муж живо окоротил ее. У меня же ее гнев вызвал только радостное возбуждение, потому что сама я была тепло одета: в несколько пар шерстяных чулок и замотана неприличной толщины шарфом, от которого несло нафталином.

Мы вышли через двери оранжереи и ступили в глубокий, чуть не по пояс, нетронутый снег. И я тут же убедилась, что напаяленные на меня слои шерстяных чулок только для того и предназначены, чтобы пропитываться леденящей слякотью, но миссис Ноукс шествовала позади, и при ней я не стала жаловаться. Ричард подал мне руку, и я прижалась к нему, наслаждаясь его теплом и надежностью, а мои ноги сделались еще тяжелее и неуклюжее, чем были. Зато



на уровне глаз перед нами расстился такой прекрасный вид, что я тотчас в него влюбилась: в ясном холодном воздухе густой лес таинственно чернел под яркой белизной снежных шапок, река у подножия холмов, как клинок, сверкала на солнце кристально прозрачным льдом, и даже слышалось, как внизу, подо льдом, бурлит водяной поток. Снег хрустел под нашими ботинками, пока мы шли по пологому склону, держа путь к дороге общего пользования, которая тянулась от фермы Брайтов до самой церкви, повторяя изгибы границы между владениями Брайтов и Блейков.

Теперь я все думаю, не привиделось ли мне замешательство Ричарда у ворот, ведущих на земли вдовца Брайта. Но что-то такое я определенно почувствовала: резкий вдох, или, может быть, как слегка дрогнула и напряглась его рука, на которую я опиралась. Этого мимолетного ощущения оказалось достаточно, чтобы я отвлеклась от всепоглощающей злобы на мои промокшие ноги и посмотрела Ричарду в лицо. Красивое у него лицо, разве что его немного портит слабый подбородок, но борода удачно скрывает сей мелкий недостаток. Глаза Ричарда, безмятежно серые, обычно широко раскрытые, теперь сузились. Борода мелко подрагивала. Он напоминал учуявшего охотников лиса и выглядел испуганным.

Ричард тут же почувствовал мой взгляд и, взяв себя в руки, решительно открыл ворота, прошел в них без малейших колебаний и придержал створку передо мной, а потом перед шедшими за нами Ноуксами. Но вот чего я совсем не ожидала, так это что Ноуксы, прежде чем пройти в ворота, дружно осенятся крестным знаменем.





Ричард пропустил Ноуксов вперед, и оба они как-то скукожились, даже кособокая миссис Ноукс, и припустили быстрее, чем на то способно большинство людей их преклонных лет.

— Что это вдруг с ними случилось? — спросила я у Ричарда.

В ответ он хихикнул, чуть громче, чем позволяли приличия.

— Ты не представляешь, насколько суеверны здешние деревенщины.

Себя Ричард, ясное дело, относил к касте обитателей зажиточных пригородов.

— И в чем же они суеверны? — поинтересовалась я, из всех сил стараясь сдержать дрожь в окоченевших ногах и по той же причине кляцанье моей челюсти.

Ричард сделал свободной рукой неопределенный жест. Я проследила взглядом за его рукой, махнувшей в сторону сверкающих снегом деревьев и прятанной среди холмов реки.

— Брайт — ведьма.

— Ведьма? — Я недоуменно раскрыла глаза. — Этот вдовец?

— Не он, его жена.

— Но она же умерла.

— Потому он и зовется вдовцом.

— И почему ее здесь так боятся?

— Видишь ли, не очень-то разумно выкладывать подобные вещи даме в твоем положении. Для таких откровений вообще не бывает подходящего времени.

— Раз так, лучше уж Расскажи прямо сейчас, — настаивала я.





— Изволь, коли тебе так хочется, — пожал плечами муж, однако слегка ускорил шаг, и, чтобы поспевать за ним, мне пришлось припустить чуть не вприпрыжку. — О ней много всего разного рассказывают. В одном все здесь сходятся: ее муж раньше был сильным мужчиной, по всем статьям здоровяком, а как женился на ней, так весь измельчал.

— Разве не такая жалоба в ходу у всех женатых мужчин? — поддела я Ричарда, но он даже не улыбнулся моей искушенности в данном предмете.

— Нет, я говорю в самом что ни на есть прямом смысле. Лично я никогда его не видел, но миссис Ноукс говорила мне, что, когда в последний раз видела его, он был... — Ричард сморщил нос. — В общем, не самое приятное зрелище.

— Говори как есть, я ничуть не против.

— Весь иссохший, — продолжил Ричард. — Уверен, это самое подходящее слово. Он весь усох и скукожился, щеки впали, ноги совсем обессилели, еле его несут. Он и по сей день такой.

— Очень похоже на полиомиелит. В Бомбее мы повидали много таких случаев.

— Нет, у него не полиомиелит. И вообще никакая из земных болячек.

Я бы и дальше поддразнивала его, что он и сам, похоже, поддается предрассудкам, но уже порядком запыхалась, к тому же в душе радовалась, что мы с ним так славно беседуем всю дорогу до церкви.

— И что самое печальное, из-за того, что он усох, у него не могло быть детей. Мой отец предлагал ему прислать нашего семейного доктора, но Брайт отказался.



Что меня, признаться, не слишком удивило. Доктор Харман — человек резкий, и руки у него холодные как лед.

— Вернее, — продолжал Ричард, понижая голос, хотя Ноуксы ушли довольно далеко вперед и нас никто не мог услышать, кроме деревьев вокруг, — это миссис Брайт заставила его отказаться. Мы, ну, они верят... что она подчинила его себе. Ни любовь, ни безрассудная страсть тут ни при чем. Она прибрала к рукам его тело и душу. Завладела ими.

Я фыркнула самым непозволительным для настоящей леди образом, Ричард даже отшатнулся. У меня хватило дыхания пропыхтеть извинения, и он ободряюще похлопал меня по руке в перчатке.

— Все в порядке, моя дорогая. Доктор Харман предупредил, что в таком состоянии у тебя распалится остроумие. Как бы там ни было, Брайты завели у себя детскую ферму*.

Моему мысленному взору тотчас предстало поле, в бороздах которого, словно репки, вызревают круглощекие детские мордашки.

— Ты сама знаешь, — продолжал Ричард, — это когда маленьких детей покупают у самых пропащих матерей, кому даже в работном доме не находится места. Поначалу никто ничего не замечал, благо их ферма расположена довольно уединенно, но вскоре до местной полиции дошли слухи, что Брайты купили около дюжины ребятишек.

* Детские фермы (бэби-фармс), распространившиеся в поздневикторианской Англии, представляли собой род частных яслей или детского сада, куда родители отдавали детей за плату. Хозяйками чаще всего были вдовы женщины. На подобных «фермах» нередко отмечались случаи жестокого обращения с детьми.



— Очень великодушно с их стороны, — заметила я, ненавязчиво потирая свой выпирающий живот.

Ричард хмыкнул.

— Так-то оно так, но когда здешний детектив начал приглядываться к Брайтам, то в их доме не обнаружилось и следа детей.

К моему горлу подступила тошнота. Я не желала, чтобы он продолжал, но на меня напало оцепенение, как в ночном кошмаре, и я уже не могла заставить его умолкнуть.

— Она убивала их, — выпалил Ричард. — А потом закапывала в лесу. Большинство тел удалось найти. И ее повесили как убийцу, но многие верят, что она к тому же была ведьмой, потому что мистер Брайт, прикованный к постели своими хворями, не имел о тех детях никакого понятия. Я сразу в это поверил, как только увидел в газете зарисовку с нее. Глаза жгучие, черные, под стать ее черному сердцу.

Я снова бросила взгляд на расстилавшийся справа от меня лес. И только сейчас заметила, что Ричард подстроил так, чтобы я шла со стороны владений Брайтов, как бы заслоняя их от него. Нас окружало ослепительное сияние белизны, но толстенные ветви деревьев задержали весь напáдавший снег, и образовалась четкая, словно прочерченная пером, граница между белым и черным.

Я всегда любила запахи леса. В наших разъездах по Индии тамошние леса отдавали сладостью, острыми ароматами смолы и цветов, прокаленные жарой, затянутые дымкой, под покровом которой бродили тигры. И конечно, я знала, что английские леса пахнут по-другому. Правда, беременность выкинула странную шутку с моим обонянием: яблоки пахли для меня гнилью, а от угля,





которым у нас топились каминны, шел аромат свежее испеченных оладий.

Однако в запахах здешнего леса, пробивавшихся к моим ноздрям сквозь обмотанный вокруг горла шерстяной шарф, пропахший нафталином, присутствовало что-то глубинное и непроницаемо-темное. Да, в них проступали явственные ноты сырой земли, но также воздуха, ночного, истончавшегося над вершинами гор, отдававшего чем-то металлическим, бодрящей свежестью облаков, а может, скал. Здешний лес, как ни стесняюсь я в том признаться, пах как я, вернее, то место во мне, откуда истекали мои крови и откуда вскоре выйдет мой ребенок, то место, где входил в меня Ричард и откуда вскоре выйдет наш младенец. Знакомый мне животный запах, будораживший мою кровь.

Тени под деревьями казались мне густыми, почти рельефными. Зрение мое задрожало и расфокусировалось, неспособное остановиться ни на чем конкретном, меня обступила темнота, поле зрения свернулось в воронку, ослепленные белизной глаза заболели. Я на мгновение прикрыла их и обернулась на наш дом.

Вон он, сидит как влитой в седловине на гребне холма. Вон под снегом проглядывает оранжерея, заиндевелившие черепицы крыши поблескивают на солнце. А вон в окне карминной комнаты дрогнули тяжелые пурпурные портьеры.

— Ты в порядке?

Я прищурилась. Движение было мимолетным, как если бы кто-то на мгновение выглянул наружу проверить, какая на дворе погода. Привычное, невинное движение.



Но в карминной комнате никого не могло быть. Я знала это наверняка, потому что миссис Ноукс держала ее запертой, чтобы внутрь не забирались пыль и грязь, и в полной готовности, чтобы к началу родов оставалось всего лишь откинуть покрывало с широкого ложа. И окно миссис Ноукс держала приоткрытым, чтобы комната проветривалась. Верно, это порыв ветерка потревожил портьеру, решила я.

Разумность найденного объяснения так приободрила меня, что я отмела побочные соображения. Между тем потребовалась сила двух мужчин, чтобы повесить эти неподъемные бархатные портьеры, а к стене пришлось прибивать новые железные карнизы. Отодвинуть такую портьеру я могла, только ухватившись за нее обеими руками, такая она была тяжелая. Я снова повернулась к деревьям. Ни тени даже легкого ветерка не тревожило снежного убора верхних ветвей. Зато под ними, в густой тени прямо справа от меня, что-то внезапно пошевелилось.

От неожиданности я замерла на месте, и Ричард обернулся ко мне, в его голосе проскользнули нотки нетерпения.

— Зря я рассказал тебе о Брайтах. Ты что, сильно расстроилась?

У меня перехватило дыхание, и я не смогла ответить. Страх тяжелыми тисками сковал мне горло, лишил дара речи.

В лесу кто-то был, и этот кто-то наблюдал за нами.

Белки двух глаз. Блеснула внутренность разинутого рта, тут же закрывшегося. Послышался влажный звук глотка.

Внезапно мои ноздри затопило звериным духом, а вместе с ним подступило что-то еще, и в следующее мгновение на меня пахнуло теплом живого дыхания, хотя передо мной не было никого, кто мог бы дышать мне в лицо.





— Кэтрин!

Голос Ричарда доносился откуда-то издалека, и такой же далекой казалась мне его рука в моей руке. Мое тело словно испарилось, от меня остались одни глаза, сосредоточенные на тенях под деревьями, и обнаженное сердце, от его гулких ударов мое зрение подергивалось рябью. Между тем в лесу под деревьями снова разинулся рот, и теперь я увидела прилегающее к нему лицо, словно подсвеченное изнутри. Под кожей темнели кости, а из черного зева глотки вырвался звук, внезапный и пронзительный, точно вопль угодившего в капкан лиса. То был мой голос, мое лицо.

Ричард уже вовсю тряс меня, а я почувствовала, что во мне что-то обрывается. Я снова вскользнула в свое тело, оно все горело огнем, живот скручивался жгутом, как при судорогах.

— Миссис Ноукс! — все так же издалека донесся крик Ричарда. — Началось! Сюда, миссис Ноукс!

Я опрокинулась спиной в снег, Ричард склонился надо мной, и звериный дух заполнил мне нос и горло. Живот скручивало пуще прежнего, и я отдалась боли, уплывая из рассудка. Я даже не могла остеречь Ричарда, хоть словом предупредить, чтобы он оглянулся и увидел ее, стоящую у его плеча. Женщину со жгучими черными глазами.

День первый.

Страдание захлестывало меня, я кричала и хватала ртом воздух. Мою челюсть сжали два ледяных пальца, в рот протолкнулось что-то холодно-металлическое, затем белое





и кислое вкусом наподобие амлы*, но я знала, что никакая это не амла, а лауданум**, как знала, что если проглочу его, то снова уплыву в забытие и не смогу сказать им. Но ледяная рука, рука доктора Хармана, не давала моим губам раскрыться, и я задыхалась, а потом мои силы сопротивляться кончились.

Лауданум обжег мне горло; мое тело, точно под спудом пурпурного бархата портьер, налилось тяжестью, изнутри толкались невидимые волны боли, но такие отдаленные, что я чувствовала их лишь урывками. Зато ощущала, что в черепе ползают чьи-то пальцы, точно обшаривают изнанку моего сознания. Одурманенная, неспособная отличить явь от видений, я в тот момент поняла, что она внутри меня, с ее жгуче-черными глазами и крошечным черным сердцем. Я ощущала ее, ее запах. В следующий момент пальцы забегали по коже моей головы и крепко ухватили меня за волосы. Я пыталась вырваться, но пальцы не отпускали.

— Ну же, миссис Блейк. Давайте-ка приберем их аккуратно, не то спутаются и потом колтунов не вычешешь.

Миссис Ноукс, ее руки суетятся в моих волосах, причесывая их к родам. Я сама выбрала такой стиль: две толстые косы, уложенные вокруг головы. Но сейчас косы слишком сильно сдавливали мне череп, шпильки сильно кололись и царапали кожу. Голова у меня отяжелела и бессильно

* Амла (индийский крыжовник, эмблика) — плодое дерево, природный источник витамина С, истари используется индийскими женщинами для укрепления волос.

** Лауданум — лекарство, имеющее в составе опиум. Пользовался особенной популярностью у женщин Викторианской эпохи как универсальное лекарственное, успокоительное и снотворное средство.



моталась на шее, точно на цепи, которая не может удержать увесистый якорь. Но я собрала все силы и повернулась на ее голос. *Нет*, подумала я, необъятный ужас булыжником сокрушил меня. *Нет*.

Глаза миссис Ноукс глядели на меня двумя черными дырами.

Я отчаянно барахталась, как тонущий, в глотке которого больше воды, чем дыхания. Но только снова почувствовала на языке кислую горечь амлы, и вторая доза лауданума отправила меня в еще более глубокое забытие.

В Бомбее жара окутывала как одеяло, ласково лизала влажным языком. По утрам нас будили собаки, а засыпали мы под мерные «тук-тук» вентиляторов. Моя айя, так в Индии называют нянь-туземок, согревала мне молоко и улащала его сахаром. Она даже в амлу добавляла мне сахар, делая сладким все, что мне давали. Когда я болела, она напевала мне песни, сколько бы ни твердили ей мои матушка и отец, что я уже выросла из песенок. Когда меня всю обсыпало сыпью, она купала меня в сквашенном молоке. И теперь я отчаянно желала ее нежности, ее теплоты, ее подогретого сладкого молока и ее целебного дахи*.

Кожа на голове разрывалась, и между ногами я тоже разрывалась. Руки доктора Хармана ледышками охладили разгоряченную кожу. Я беззвучно кричала, снова и снова, и крик наконец вырвался, пронзительный и резкий. Непрерывный. Но только не из моего рта.

* Дахи — густой натуральный йогурт, приготовленный в домашних условиях, напоминающий консистенцией нежный крем; неотъемлемый ингредиент аюрведической кухни Индии.

*День третий.*

В комнате плавала отливающая краснотой темнота, точь-в-точь как у меня под веками. Я лежала неподвижно, а вокруг стояла мертвая тишина. Довольно долго я никак не могла сообразить, сплю я или бодрствую. Лауданум медленно отпускал мои члены, мой язык, и они отзывались болью, стоило мне хотя бы чуть-чуть пошевелиться. Потом пришла боль между ногами и во всем теле, боль сковала мне череп, и я поняла, что не сплю и что мир изменился. Я стала матерью.

— Проснулись, мадам? — Миссис Ноукс восседала в кресле у моей постели, освещенная газовой лампой. Глаза уже не были черными провалами, это были ее собственные острые глазки, на руках она держала сверток из хрустящих белых пеленок. — Целых два дня проспали. Доктор Харман посчитал, что вас лучше всего не трогать.

— А мой ребенок? — от сухости в горле мой голос совсем осип.

— Девочка.

— Девочка? — на моих глазах проступили слезы, и я протянула руки к свертку.

Миссис Ноукс встала с кресла и бережно поместила сверток мне в руки. Розовое личико, носик кнопочкой, идеально перламутровые веки, губки аккуратные, розовые, точно бутон, ароматы свежеевыпеченного хлеба и лаванды. Прилив любви, острой, жаркой. Моя дочка. От потрясения и радости я громко всхлипнула.

— Полноте, мадам, — проговорила миссис Ноукс мягко, к ее обычному отрывистому твяканью добавилась сладость. — Нам не велено волновать вас.



Она забрала у меня из рук мою дочь, и я невольно потянулась за ней.

— Но...

— Успеете еще натетешкаться с маленькой, — продолжала она. — Роды прошли тяжело, да вы и сами знаете. Доктор Харман предписал вам строгий постельный режим на все время вашей послеродовой изоляции. — На недоуменное выражение моего лица миссис Ноукс только фыркнула. — Таков обычай, и доктор Харман считает, это только к лучшему.

— Я никогда не...

— Вы ведь прибыли из очень отдаленных мест, откуда же вам слышать. А здесь это самое обычное дело, — сказала миссис Ноукс и, наклонившись, уложила мою малышку в колыбельку, которую Ричард еще раньше выписал из города. — Девять дней покоя.

— Девять?

— Нате-ка выпейте. — Она взяла с прикроватного столика чашку, от которой шел пар. Я проглотила жиденький бульон. — Вот и славно. Никаких волнений. Никаких разговоров. Полный покой.

— А Ричарду...

— Только через несколько дней, не раньше. Вы и малышка должны отдыхать, пока доктор не решит, что вы поправились.

Она достала из ящика комода свежую ночную сорочку. Как послушный ребенок, я подняла руки и позволила ей стащить с меня родильную, несвежую от пота, пропитанную кровью сорочку и через голову натянуть мне новую, хлопчатую и чистенькую.





— Смотрите, как хорошо держатся ваши косы, — одобрительно заметила миссис Ноукс. — Мы их и расплетать-то не будем, пускай все эти дни побудут как есть. А пока, если вам что-то понадобится — покормить маленькую или сходить в ночную вазу, — вы должны нажать вот на это.

Она указала на звонок, который починили, когда по-новому оформляли комнату.

— В ночную вазу? — слабым голосом повторила я.

— А вот тут еще лауданум, если у вас будут боли. — Она дотронулась до стеклянной бутылочки на комод. — Вам и сейчас надо принять немножко.

— Прошу вас, можно мне подержать...

— Она спит, — резко возразила миссис Ноукс. — А если она спит, то и вам самое время. Ложитесь-ка на подушки.

Я замотала головой.

— Пожалуйста, можно мне поговорить с Ричардом?

— Никаких разговоров, мадам, — отрезала миссис Ноукс. — Доктор не велел. Хотите, чтобы я привела его и он сам растолковал вам, что к чему?

Не имея ни малейшего желания видеть кого-нибудь, кроме моей малышки и Ричарда, и видя, что миссис Ноукс не поколебать, я откинулась на подушки, а она отвинтила крышечку с бутылки и налила в десертную ложку лекарство. Я, не жалуясь, проглотила его, только приветствуя усталость и слабость, мгновенно охватившие мое тело под действием лауданума. У меня родился ребенок, и я осталась жива. Далеко не все женщины могут похвастаться таким исходом.



Миссис Ноукс поправила тяжелые портьеры, звук напоминал шелест палой листвы. Холодный страх мурашками пополз по шее, но было слишком поздно. Лауданум уже вовсю действовал на меня. В замке заскрежетал ключ. Погружаясь в тяжелое забытие, я вспоминала дрогнувшие от несуществующего ветерка портьеры и чье-то дыхание на моем лице. Черные как ночь глаза, пялившиеся на меня из черных теней. Чавканье разеваемого рта.

День четвертый.

Я села в постели, в животе и ногах ощущалась слабость, как в распутанных узлах. У изножья кровати нечто бесформенное нависало над колыбелькой. У меня оборвалось дыхание. Низенькое и сгорбленное, оно, казалось, стоит на четвереньках, и я стала лихорадочно искать вокруг себя что-нибудь острое, чем можно бросить в это нечто, проткнуть эту сгорбленную спину. Ее спину.

Плавным движением я поднесла руку к волосам и вытащила длинную шпильку, вогнанную миссис Ноукс в мою туго заплетенную косу. Резь между ногами напомнила мне о наложенных швах, за которые опасался доктор Харман, и мне пришлось, как маленькой, извиваясь, подползая к краю кровати. Я все выше и выше поднимала шпильку над склонившейся женщиной.

И вдруг на ее спине по обе стороны дуги позвоночника отверзлись глаза.

Издав вопль, я в ужасе отшатнулась. Внезапно комнату залил свет, такой яркий, что прямо завибрировал вокруг меня.





— Кэтрин! — Чьи-то руки обхватили меня, оттащили от края к середине кровати. Ричард. — Кэтрин, ты должна лежать спокойно.

— Сэр, вам нельзя здесь находиться. — Доктор Харман сменил моего мужа, я ощутила его ледяные руки сначала на плечах, а потом на лице, когда он по очереди приподнимал мне веки. Его физиономия с бородкой придвинулась ко мне, а позади него я увидела, что Ричард идет к выходу. — Миссис Блейк, успокойтесь, прошу вас. Что, боли?

— Нет! — закричала я, показывая рукой на изножье кровати. — Там!

Мужчины посмотрели, куда я указывала, и Ричард рассмеялся. Он подошел к кровати с другой стороны и подсел ко мне в искреннем порыве, что я так любила в нем, и взял мою трясущуюся руку.

— Там наша малышка, Кэтрин. Ты же помнишь, да?

— Я не про это, — нервно выпалила я. Свет резал мне глаза, как тогда по дороге в церковь, когда меня ослепил резкий переход от белизны снегов к густой черноте леса. — Она здесь!

— Если ты о миссис Ноукс, то она внизу. Хочешь ее позвать — нажми на звонок...

— Да там же, вон!

Но в этот раз Ричарду даже не пришлось обрывать меня. Я и сама видела, ясно видела в лившемся из распахнутой двери свете, что никакой женщины у колыбели не было. Никто не склонялся над нашим ребенком. Лишь горбился балдахин, закрывавший лицо малышки от света. Должно быть, миссис Ноукс подняла его, чтобы девочке лучше



спалось. А напугавшие меня глаза были глазами нашей малышки. Меня все еще била дрожь при воспоминании об ужасе, который едва не случился, шпилька выскользнула из пальцев.

Тоненький писк раздался из-под балдахина. Ричард тут же вскочил, подхватил малышку и передал мне.

— Сэр, это никак не...

— Всего на минутку, — нетерпеливо перебил его Ричард. — Она расстроена, сами же видите!

— Затем и надо держать комнату в темноте, сэр, — рявкнул в ответ доктор Харман. Они наскакивали друг на друга, как пара петухов, но мне не было до них дела, потому что я держала на руках свою малышку и от любви к ней у меня мутилось в голове. Со мной она мигом успокоилась, перламутровые полукружья ее век почти не подрагивали.

Ричард пыхтел, видимо проиграв спор доктору.

— Потом зайду, Кэтрин. — Он запечатлел колючий поцелуй на моем челе и осторожно вынул из моих рук малышку. — Всего неделя, а там уже и Рождество, и ты совсем поправишься.

— Можно пододвинуть колыбельку ближе ко мне?

Ричард вопросительно взглянул на доктора Хармана, и тот прищурился.

— Обещаете не садиться в постели, чтобы смотреть на нее?

— Конечно, — легко согласилась я. — Просто мне спокойнее, когда она рядом со мной.

Доктор закивал, хотя и неодобрительно. Ричард легко поднял колыбель вместе с малышкой и балдахином и бережно поставил у самой кровати. Я со вздохом откинулась





на подушки, доктор подошел со своей ужасающей стальной ложкой, и я безропотно проглотила лекарство и призывала на память свою милую айю, и ягоды амлы, и щечку малышки, которую уже видела, и ее грудку, во сне нежно вздымающуюся и опадающую, а дверь тем временем закрыли, и комната снова утонула в красно-черной темноте.

День пятый.

Карминная комната стирала грань между днем и ночью. Пурпурные портьеры подбили какой-то непроницаемой для света тканью, и только на пятый день, разбуженная переполненным мочевым пузырем, я собралась с силами доковылять до окна.

Я осторожно повернулась на бок и заглянула в колыбель. Малышка спала так, как спала, казалось мне, почти все эти дни, туго запеленутая, виднелась одна лишь головка, идеально кругленькая, длинные ресницы слегка касались ее щечек. Я подавила порыв прижать ее к груди и, немного поелозив, сползла с кровати. В предыдущие дни мне приходилось по самому мельчайшему поводу звонком призывать миссис Ноукс, но сегодня боль немного отступила, к тому же мне не хотелось снова погружаться в сонный дурман лауданума, которым она при каждом удобном случае пичкала меня.

Я кое-как примостила себя на ночную вазу, для упора откинулась спиной на кроватную раму и тихонько похныкивала, чувствуя, как натянулись швы и горит кожа. В темноте я не могла разглядеть содержимое вазы, но в последние





дни из меня выходили ошметки крови, что считается в порядке вещей, как уверил меня доктор Харман.

Задвинув ночную вазу подальше под кровать, я заставила себя распрямиться во весь рост. В первый раз за последние дни я встала на ноги и чуть не грохнулась в обморок, потому что голова сильно закружилась от лауданума и постного бульона, которыми меня кормили, дабы снизить аппетит, что дало мне новый повод тосковать по моей милой айе, чьи рецепты изгнания из меня хворей состояли из обжаренной в гхи паратхи* и густого, почти колом стоявшего дахи, сдобренного чесноком. Здешняя же еда скорее наказывала, чем питала, здесь меня почти морили голодом, пичкали лекарствами да еще держали в одиночестве и темноте. Ну, последнее-то мы сейчас исправим, подумала я.

Казалось, ноги мои разбухли и плохо гнулись, я двигалась с трудом, точно опять пробивалась через глубокий снег, из-за чего, собственно, у меня и начались роды, к тому же в густой темноте я искала путь к окну как слепая, вытянув перед собой руки, пока не ощутила под ладонями мягкий бархат. Я ухватила за портьеры, поближе придвинулась к ним и налегла на них всем телом, слегка запыхавшаяся от усилий, которых потребовала от меня прогулка через комнату.

За моей спиной во сне вздохнула и тихонько всхлипнула моя дочка. Я тоже вздохнула в ответ, материнская любовь стрелой пронзала мне сердце, когда я с трудом отодвигала

* Гхи — топленое масло из молока буйволиц; паратха — хрустящая лепешка из пресного слоеного теста с пряностями, чаще всего готовится с начинкой. Оба блюда традиционны для индийской кухни.



тяжелую портьеру; державшие ее железные кольца тихо звякнули о металлический карниз. В проеме робко забрезжил свет, мутный и безошибочно предрассветный, и я поскорее заползла в пространство между портьерой и окном, чтобы свет не упал на лицо спящей малышки.

Глаза я полуприкрыла, чтобы дать им привыкнуть к свету, а ладони прижала к стеклу. И тут же ощутила натиск холода через тонкий оконный переплет; свежоокрашенные рамы не давали никакой защиты от английской зимы.

Я пошире открыла глаза и увидела, что на стекло напирает густой серый туман. Ночь колебалась на грани рассвета, я прижалась лбом к холодному стеклу окна, и оно тут же запотело от моего дыхания. В зеркале, образованном стеклом и густым туманом, отразилось мое лицо. Не видя вокруг него ничего, кроме мути, я призвала воспоминания о пейзаже, который так любила: вот речка, вон холмы, а там лес...

Вдруг мое отражение в окне закружилось. Я подняла руку, чтобы протереть стекло, и прямо у меня на глазах отражение моего лица раздвоилось, одно отплыло от другого, и теперь из стекла на меня смотрели две меня. В поисках опоры я снова прижала руку к стеклу, боясь лишиться чувств, но мое тело и не думало заваливаться, а стояло прямо и неподвижно, застывшее, точно его удерживали мои прижатые к стеклу руки и лоб. Отражение моего лица стало отдаляться, хотя лбом я по-прежнему прижималась к стеклу.

Только лицо больше не было моим.

Волосы растрепались и висели спутанными лохмами, хотя я по-прежнему ощущала, как голову сжимают туго





заплетенные миссис Ноукс косы, как впиваются в кожу натканые ею шпильки. Зрачки в глазах сделались огромными, белки глаз исчезли. И внезапно сквозь тонкий оконный переплет мои ладони ощутили свирепый жар.

Это снаружи к стеклу прижималась чья-то рука. Она медленно, непостижимо как начала вдавливать стекло. Я слышала, как оно скрипит, видела, как отделившееся от моего отражения лицо с растрепанными волосами и кромешной чернотой в глазах расплывается в ухмылке. Оно скалилось на меня белыми ровными зубами и дышало такой черной злобой, что сердце у меня замерло и в груди разлился холод. Она явилась навредить мне, навредить моей дочери.

Я тоже принялась давить на стекло, и она заушмылялась шире прежнего. Она тоже прижалась лбом к стеклу там, где прижимался мой, и ее лоб пылал, как в лихорадке. Я снова ощутила звериный запах леса, металла и перегноя, стекло под моими руками затрещало, разбежалось тонкими, как волоски, трещинками, те разрастались, пока не покрыли весь оконный переплет паутинами готовых осыпаться осколков.

Она вознамерилась проникнуть в комнату. Вознамерилась отнять у меня моего ребенка.

Я же совсем ослабела от родов и послеродового постельного режима, от ужаса я едва дышала, но все же умудрялась с моей стороны давить на стекло, притом с не меньшей, чем она, силой. Ее ухмылка раздалась еще шире, до ушей, точно она собралась проглотить меня целиком, глаза зияли на лице двумя глубокими дырами, ее зловоние душило меня, но я все давила и давила на стекло, рыча от усилий.



Я встретила ее взгляд и перенесла на руки всю тяжесть своего тела.

Осколки стекла брызнули наружу, ее отбросило назад, и она исчезла в серой мути за окном. Через разбитое окно в комнату хлынул туман, я отшатнулась, запутавшись ногами в портьерах, железный карниз, не удержавшись, сорвался со стены и с грохотом рухнул на паркетины пола возле меня. Но мне не было до всего этого дела, во мне горело одно желание: побыстрее выпутаться из портьер и броситься к моей малышке, которая уже криком кричала в своей колыбельке.

Я едва заметила, как раскрылась дверь, едва услышала вопль призывающей на помощь миссис Ноукс, едва ощущала, каким холодом наполнилась комната, едва обратила внимание, как изрезаны и исколоты стеклом мои руки. Я прижимала к груди мою малышку и даже сдернула с плеча ночную сорочку, чтобы кожей ощущать тепло ее нежной кожицы, так что доктору Харману и Ричарду пришлось силой отбирать ее у меня, что у них получилось далеко не сразу.

День шестой.

— Бросьте, это невозможно, — доктор Харман повысил голос в ответ на свистящий шепот Ричарда. — В лучшем случае это безрассудная глупость, в худшем — опасно и для матери, и для ребенка.

— Я ни в коем случае не позволю разлучить их, — возразил Ричард, в свою очередь повышая голос до докторовой громкости. — Чего ради? Из-за глупой случайности?





— А вы считаете это случайностью, сэр?

— Она говорит, карниз сам сорвался, и я ей верю.

— Вы, сэр, впервые проходите через это. Я имею в виду все — от женитьбы до рождения ребенка. А я сотни раз сталкивался с подобными случаями. Связанные с беременностью и родами переживания вызывают в женщинах сильные перемены. Их психический склад необратимо меняется. И ваша жена обнаруживает признаки серьезных нарушений психики.

— И что вы рекомендуете на сей счет? — Ричард перешел почти на крик, и я смогла оторвать ухо от стены, у которой подслушивала. — Еще сильнее накачивать ее лауданумом? Еще дольше держать в кромешной тьме?

— В пользу этих методов говорит наука, сэр, — отвечал доктор Харман, — равно как и традиции. Ваша собственная матушка...

— Разлучать мать с ее ребенком тоже рекомендует эта ваша наука?

Доктор Харман снова понизил голос до неразличимого шепота. Я отвернулась от стены и снова улеглась в постели. Мои руки покоились на бедрах, неузнаваемые, свыше всякой надобности замотанные бинтами, на них уже проступили желтые пятна йода, которым доктор Харман щедро попользовал мои раны, отчего руки жгло куда сильнее, чем от самих ран.

Слыша, как Ричард защищает меня, я задыхалась от переполнявшего меня чувства вины. Однако открыть ему правду не было никакой возможности. Я понимала, как они воспримут мой рассказ, понимала, что ребенка тут же отнимут, а меня накачают еще большей дозой лауданума





или, того хуже, ушлют прочь, вообще лишат права материнства.

Но столь же ясно я понимала и помнила, *что* увидела, *что* услышала и *что* обоняла. Пускай это непредставимо, но для меня факт оставался фактом: ведьма Брайт приходила за моей дочерью, и я единственная со своими слабыми силенками помешала ей. Меня против моей воли втянули в сражение за душу моей дочери. Я посмотрела на мою спящую в колыбельке малышку, насытившуюся молоком, и в сотый, наверное, раз поклялась ей, что рядом со мной она в полной безопасности. И речи никакой не может идти, чтобы нас разлучили.

Вот я и дала Ричарду самое правдоподобное объяснение, какое только смогла придумать. Сказала, что проснулась, одурманенная лауданумом, и, плохо понимая, что делаю, попыталась открыть окно, но споткнулась о портьеры и, падая, уперлась руками в стекло.

Миссис Ноукс сгребла рассыпанные по всему полу осколки, от их мерзкого звяканья по дереву у меня разболелись зубы, а Ноукс заколотил пустой оконный проем толстыми досками. Поначалу речь зашла о том, чтобы переселить нас в другую комнату, но они сочли, что это лишь сильнее расстроит мою психику. А теперь мой милый Ричард с пеной у рта настаивал, что нас нельзя разлучать и что хватит травить меня лауданумом. Что тоже было мне на руку. Ничего, если надо, я стерплю боль, тем более что мне требовалось призвать все мои умственные способности, если ведьма Брайт снова вздумает явиться к моему окну.

Доктора Хармана с позором услали прочь, но миссис Ноукс и сам Ричард решили между собой, что необходимо



оставить меня взаперти. Ричард позволил, чтобы мне дали еще одну газовую лампу, и согласился принести мне бумагу и ручку, когда я пожаловалась на скуку. Так что теперь я могла описывать все происходящее в наиболее ясных и точных выражениях.

Единственное послабление, которого я не сообразила потребовать, — это чтобы они не запирали дверь. Но я еще не отошла от пережитого ужаса и слабо соображала. Я еще верила, что замок не хуже прочего защищает нас от ползновений ведьмы Брайт. Сейчас-то я понимаю, что в этом и заключалась моя фатальная ошибка. Что нет от зла другой защиты, кроме добра. И что один только Господь Бог способен противостоять козням дьявола.

День седьмой.

Я решила, что не дам себе засыпать, причиняя боль. Я отыскала в простынях шпильку, которую раньше уронила, и, извернувшись, пристроила себе на поясницу: если начну засыпать и откинусь на подушки, она уколёт и разбудит меня. Обеим лампам я до отказа добавила света, а к звонку и вовсе не прибегала, решив, что лучше уж доставлю себе маленькие неудобства, кормя малышку и пользуясь ночной вазой, чем позволю миссис Ноукс отпереть дверь.

Не знаю, случилось ли вам бодрствовать день и ночь напролет без сна, но, уверяю вас, это почти столь же невыносимо, как пытка. Вскоре голова моя уже пылала, как в лихорадке, моча выходила из меня струей горячей, как кипятка, жгучей и кровавой. Я нашла в комодке старые



выдохшиеся нюхательные соли и вдыхала их так усердно, что у меня носом пошла кровь и испятнала повязки на руках, так что миссис Ноукс, когда в очередной раз принесла мне бульон, решила, что раны на моих руках снова закровоточили, и поменяла бинты на свежие. Теперь я постигала, что женщина — это создание, обреченное вечно истекать кровью, начиная с ежемесячных наказаний и заканчивая рождением детей и так далее, без конца и без края. Моя айя что-то такое говорила мне, но до сих пор у меня не было причин верить ей.

В то же время столкновение с ведьмой Брайт в каком-то отношении укрепило меня. Я уже один раз взяла над ней верх. Сейчас шел седьмой день моего заточения, и если я смогу продержаться без сна еще всего пару дней, то мы с моей малышкой пройдем в церкви обряд крещения и будем спасены и неуязвимы.

Конечно, не так-то легко заставить себя не спать. Особенно когда ослабела от потери крови, сидишь на одном тощем бульоне и в темноте — от этого чахнешь, как цветок без полива. Из-за чего я и прибегла к булавке на пояснице и к нюхательным солям, призвала всю свою решимость и знания, чтобы описывать все происходящее, напоминая себе, что это не страшный сон, а моя собственная жуткая реальность.

День восьмой.

Было около шести вечера, и Ричард сообщил мне через запертую дверь, что они с мистером Ноуксом отправляются в церковь, потому что и так уже пропустили несколько





служб рождественского поста. Я снова спросила, нельзя ли мне пойти с ними, но Ричард ответил, что об этом не может быть и речи, а миссис Ноукс, если мне что понадобится, внизу на кухне. Я слегка откинулась на подушку, заставляя булавку уколоть меня, и самым твердым, на какой была способна, голосом уверила его, что со мной все будет хорошо. Наша доченька рассматривала пляшущие на потолке тени от лампы, а я смотрела на нее, на влажные отблески в ее глазках, на ее длинные ресницы. И вдруг обе лампы погасли.

Так как стоял темный зимний вечер, дверь была заперта, а окно заколочено досками, в комнате настала крошечная тьма. Моя дочка захныкала, я потянулась к ней, с облегчением нашла в темноте ее гладкую щечку, почувствовала аромат лаванды от ее пеленок. Я подняла ее одной рукой и, уложив себе на живот, тихонько укачивала, пока другой рукой шарилась в поисках лампы.

Потом поняла, что откуда-то слышится свист, и недавно пережитый ужас снова вцепился в меня. Свист напоминал долгий вздох, громкий и протяжный, как будто исходивший сквозь стиснутые зубы.

В темноте я невидяще беспомощно озиралась по сторонам.

— Кто здесь?

Никакого ответа. Один только этот зловещий неестественный свист.

Я упала в простыни, чтобы шпилька кольнула меня, но шпильки не было. Я как могла широко раскрыла глаза, желая уловить хоть толику света, уверенная, что разгляжу жуткое лицо ведьмы Брайт, ее космы, жгучие



черные глаза. И тут моих ноздрей коснулся запах. То был не запах леса, не острый запах моего собственного пота и не аромат свежести детской кожи. Он был горький и, увы, слишком мне знакомый. Это из разорвавшихся ламп истекал газ.

Я чуть не разрыдалась от облегчения, все еще крепко прижимая к груди мою малышку. Потом встала и маленькими шажочками на ощупь обошла кровать, чтобы окатиться у прикроватного столика, на котором стояли лампы. Даже через бинты я ощутила остаточное тепло, исходящее ими. В памяти тут же воскресло воспоминание, как ведьма Брайт через окно тянулась ко мне, и я отдернула руку от лампы и уже обеими руками еще крепче вцепилась в сверток со своей дочкой. Запах газа усиливался, и я понимала, что лампы надо прикрутить, чтобы газ не забрался нам с малышкой в легкие.

Все еще почти ничего не видя, я бережно положила дочку на кровать и неуклюжими руками принялась искать металлические колесики в корпусе лампы. Одно сразу нашлось, и я с облегчением быстро завернула его. Свист уменьшился. Голова уже начинала кружиться, но я приказала себе не паниковать. Нашупала вторую лампу, и мои выступающие из повязок пальцы коснулись раскаленного стекла. Кожу сразу обожгло, но голова по-прежнему мутилась от газа, а я продолжала упорно шарить по корпусу в поисках колесика.

Наконец нашла и резко крутанула его, свист сразу прекратился.

— Ну вот, — сказала я себе, стараясь унять бешено колотящееся сердце. — Ну вот и все.





Я повернулась взять с кровати малышку, и тут послышался другой звук. Сопение. Оно исходило из дальнего угла комнаты, примыкавшего к заколоченному окну, и я застыла, склонившись над ребенком, а сопение слышалось все ближе и ближе.

От страха у меня застучали зубы. Вонь нечистоты вытеснила запах газа, а сопение еще больше приблизилось. Не слышалось шагов или других звуков, одно лишь сопение, тяжелое и размеренное, безошибочно узнаваемое, зловещее.

Потом я ощутила тепло на шее, малышка захныкала, и это отрезвило меня. Я схватила сверток с ней и крепко прижала к себе.

— Пошла прочь! — закричала я. — Убирайся!

Я высвободила руку и принялась бешено жать на звонок, снова и снова, а мерзкое сопение лезло мне в уши, зловоние долго пролежавших в сырой земле останков просачивалось в рот. Я принялась пинать ногами пустоту перед собой, а сама попятилась к двери. Я заколотила в запертую дверь ногами и спиной, закричала, завопила, а ведьма Брайт встала передо мной, невидимая в темноте, лоб в лоб со мной, зажимая между нами плачущую малышку.

Дверь распахнулась, и я спиной вперед вывалилась из комнаты. Миссис Ноукс вскрикнула и подхватила меня, но я попятилась от нее.

— Мадам?!

Миссис Ноукс выглядела не меньше моего напуганной, глаза выпучены, рот в изумлении разинут. Она потянулась к ребенку, а позади нее в полуосвещенной светом из двери



карминной комнате вдруг колыхнулись портьеры. Ведьма Брайт возвращалась в комнату.

Я отпихнула миссис Ноукс и со всей силы пнула дверь ногой.

— Заприте ее! — заорала я, перекрывая плач малышки. — Заприте!

— Дайте сюда ребенка, — голос миссис Ноукс дрожал.

Я крепче прижала к себе дочь.

— Ради бога, заприте дверь!

Я рванулась к кольцу с ключом на запястье у миссис Ноукс, она с воплем отпрянула назад и налетела спиной на торец не до конца закрывшейся двери, та соскочила с петель (наверное, их перекосило, когда я пыталась захлопнуть дверь), раскрылся черный зев дверного проема.

Ведьма Брайт вырвалась из комнаты.

Я бросилась бежать.

Груды у меня набухли от прибывшего молока и болели. В промежности саднило и резало. Ноги ослабели от долгого лежания и плохо слушались меня, но я бежала, прижимая к себе ребенка, потому что от этого зависело спасение наших жизней, наших душ, ее и моей.

— Миссис Блейк!

За моей спиной неуклюже поднималась на ноги миссис Ноукс, видимо намеренная броситься в погоню за мной, но ее скрючило жизнью, к тому же она сильно ушиблась при падении, я же была молода, хотя и ослабела после родов. Но сил мне придавали дикий страх и бешеная ярость самки, защищающей своего детеныша; никто, никто, пока я дышу, не посмеет причинить вред моей дочери.





Я пронеслась вниз по лестнице, деревянные ступеньки стонали под моими босыми ногами, рванулась к оранже-рее. Я увидела, что Ричард с Ноуксом этим путем вышли из дома, их следы отпечатались на свежавыпавшем снегу.

Времени накинуть пальто не оставалось, сверху уже нес-лись шаги, слишком решительные и быстрые, чтобы это была миссис Ноукс. Мысли вихрем закружились в голове. Что, если ведьма уже подчинила ее себе? Что, если в этот момент она во власти ведьмы Брайт? На свете есть един-ственное место, где мы могли бы спастись от нее.

Как была, я бросилась в холодную белую ночь. Ноги обжигало, точно я бежала по горящей огнем земле, но я рвалась через узкую полосу глубокого снега к воротам.

— Миссис Блейк! Стойте!

В дверном проеме возник силуэт миссис Ноукс. Она казалась мне огромной, патлы разметались в стороны, и вдруг она с неправдоподобной прытью ринулась за мной в ночь. Я вихрем пронеслась через ворота. Следы мужа четко виднелись в ярком свете звезд, указывая мне путь к спасению.

Я то и дело спотыкалась, моим легким не хватало возду-ха, и я не могла успокоить малышку, куда уж там дать ей понять, что только ради ее и моего спасения я бегу с ней через морозную ночь, и пришлось выносить ее плач, ее жалобные всхлипы, и каждый разрывал мне сердце.

— Стойте!

Ведьма Брайт уже не трудилась хотя бы подделаться под голос миссис Ноукс. Низкий и жуткий, он преследовал меня как звериный рев. Но я не подчинюсь ему, я не остановлюсь, я спасу душу моей малышки, пускай мне придется угробить



свое тело. Я отважилась оглянуться — о ужас, она уже догоняла меня, несясь с нечеловеческой скоростью. Справа от меня темный лес зыбился черной злобой, густые тени наполнились душами загубленных, пропащих, блуждающих без христианского погребения.

— Ты не получишь ее, — закричала я. — Не заберешь, не отнимешь!

Впереди уже показался конечный отрезок пути до церкви: расчищенная дорожка, по обе стороны уставленная горящими свечами. За рождественской елью в тяжелом снежном уборе, увенчанной серебряной звездой, высится что-то каменное, и я знаю, что оно очень важно для меня. Ах, вот что это — крест. Знак спасения. Убежище.

Служба уже закончилась, двери распахнуты, изнутри на белый снег лился теплый золотистый свет. Прихожане вереницами выходили из церкви, их тени ложились на ступеньки. Я бесцеремонно растолкала их, заставив рассыпаться в стороны, и устремилась через порог под спасительные своды.

Задыхаясь, я рухнула на колени перед алтарем. Мелькнуло застывшее в изумлении лицо священника, послышался голос Ричарда, произносивший мое имя, я почувствовала, как сильные руки, нестерпимо горячие на моей продрогшей коже, пытались отобрать у меня моего ребенка.

— Умоляю, — еле выговорила я, из последних сил прижимая к себе малышку, — благословите ее, молю вас.

Священник опустил передо мной на колени, его морщинистое лицо светилось добротой. От облегчения и холода я затряслась всем телом. Он опустил руку на головку моей малышки и мурлыкающе произнес слова благословения.





Она сразу затихла, сморщенное от плача личико разгладилось. Я стерла слезинки с ее нежных щечек, поцеловала в маленький носик.

— Спасена, — прошептала я. — Теперь ты спасена.

Ее идеально розовые веки поднялись. И в лучезарном церковном свете глаза моей малышки засияли жгучей чернотой.

* * *

Данная запись хранится в архивах психиатрической больницы графства Шропшир и городка Уэнлок.

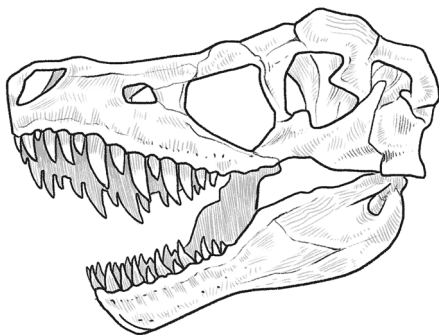
Примечание автора

Образ миссис Брайт списан с реально существовавшей личности, миссис Амелии Дайер, детоубийцы времен викторианской Англии. Симптомы слуховых галлюцинаций Кэтрин Блейк описаны отчасти под влиянием пережитой мной психотической депрессии, а также основаны на исследованиях послеродового психоза — данное состояние и по сию пору превратно истолковывают, не понимая его природы, воспринимают как нечто постыдное для молодой матери и достойное осуждения. За более подробным описанием, пожалуйста, обращайтесь к книге Лоры Ли Докрилл *What Have I Done?* («Что я наделала?»).

STONE HEDGE

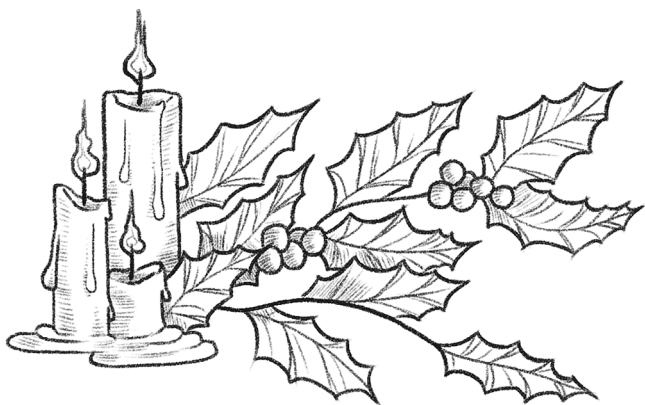
ЗАВР КРИСПА

Элизабет Макнил



STONE HEDGE

STONE HEDGE



Лайм-Реджис*, сентябрь 1838 года

Да уж, всю Британию сейчас перекапывают, думает Виктор. Дома в Лондоне у его брата черно под ногтями от перегноя, его теплицы усажены крохотными ростками деревьев для озеленения нового кладбища в Сток-Ньюингтоне. Их отец надзирает за рытьем новых каналов — они рассекут тело города прямыми, хирургически выверенными линиями, — зарабатывая на этом подряде, как он любит повторять, *довольно, чтобы засыпать золотыми сокровищами весь Риджентс-канал*. А его сын Виктор, когда-то подававший блестящие надежды, в убогом городишке Дорсете мерзнет на ветру в своем непромокаемом пальто, пока рыжеволосый мальчишка носится по берегу, надеясь высмотреть *змеиный камень* или

* Лайм-Реджис — город на западе графства Дорсет, известный находками окаменелых останков доисторической фауны, которые фактически дали начало палеонтологии. Местный ландшафт подвержен эрозии, из-за чего периодически случаются оползни и обрушения скал. В частности, в Лайм-Реджисе важные палеонтологические находки сделала Мэри Эннинг (1799–1847).





*коготь дьявола**. Вверху над ними стеной громоздятся меловые утесы, как горы высоченные, с зазубренными склонами.

— Вижу, вон, вон, — говорит мальчишка и тычет пальцем в кучу мокрого песка.

Виктор подходит, глядывается. Ничего интересного, только камешки и старые железки. Нет, это занятие, пожалуй, лучше оставить женщинам — уж они-то своими маленькими востренькими глазками сумеют высмотреть фоссилии, а мужчины вроде него потом пускай их выкапывают и классифицируют.

А мальчишка заладил:

— Там, *вон же*.

И жаркая волна гнева окатывает Виктора, он взмахивает тростью, обрушивает ее на верхушку кучи.

— Там ничего нет, — рычит Виктор, и мальчик в страхе отбегает назад.

Теперь они поспешают с берега, на ветру струи дождя бьют в них почти горизонтально, тучи висят так низко и так черны, что грозят совсем затмить чахлый дневной свет. А ведь он мог бы посиживать с женой в гостинице и угощаться толстенной лепешкой, густо намазанной взбитыми сливками, а его мокрые носки сушились бы над камином. А мог и вовсе остаться дома, в Лондоне, так сказать, в лоне цивилизации. Ох и ненавидит же он этот чертов городишко, эти съезжившиеся, точно ряды горьких пьяниц, домишки,

* Змеиным камнем называли ископаемые останки грифеи, двустворчатого пластинчато-жаберного моллюска, раковины которого напоминают формой свернувшуюся змею. Когти дьявола — похожие на наконечники стрел остатки тел белемнитов, отряда вымерших головоногих моллюсков. Оба вида окаменелостей связывают с отложениями мелового и юрского периодов, обнаруженными среди прочих мест в Дорсете.





эти холмы с их крутизной, которая собьет дыхание даже самому проворному жилистому мужчине. И этот дождь, что каждый божий день льет как из ведра, вон даже у него, невзирая на непромокаемое пальто, нижнее белье пропиталось сыростью и влагой.

* * *

Вообще-то этой поездкой в Лайм-Реджис он обязан именно себе: не сам ли прошептал это обещание в первую пору своих ухаживаний за Мейбл, когда она призналась, что мечтает увидеть океан? Тогда он вспомнил недавно попавшуюся ему в «Уайтс»^{*} газету с заметкой о Гидеоне Мантелле^{**} и его игуанодоне. Там еще упоминалась береговая полоса, где выкапывают останки самых причудливых доисторических существ. Виктор горделиво поправил свой галстук.

— Что ж, моя дорогая, мы исполним твоё желание. Однажды я отвезу тебя в эту маленькую деревушку на побережье Дорсета, — проворковал он возлюбленной и с несколько драматической аффектацией добавил: — А пока ты будешь любоваться видами моря, я прославлюсь тем, что откопаю какое-нибудь необычайное древнее чудовище и назову его в твою честь, *Prodigium Mabelius*^{***}.

^{*} «Уайтс» — старейший (с 1693 года первый имевший собственное здание и строгий устав) престижный лондонский клуб на Сент-Джеймс-стрит.

^{**} Гидеон Алджернон Мантелл (1790–1852) — британский акушер, геолог и палеонтолог, его попытки реконструировать внешний вид и образ жизни игуанодона считаются началом научного изучения динозавров. В 1822 году он совершил открытие (и в конечном счете идентификацию) первых ископаемых зубов, а затем большей части скелета игуанодона.

^{***} Мейблevo чудо или чудовище (*лат.*).





Мейбл робко улыбнулась, не открыв беленьких ровных зубок, чем убедила Виктора, что представляет ту самую женскую породу, впечатлить которую ему ничего не стоит. Перед ним девушка, безоглядно в него верящая, понял Виктор, и при такой моральной поддержке — о, он чего угодно сможет добиться!

А она глядела на него широко распахнутыми зеленовато-серыми глазами.

— Я читала, что ваш брат недавно открыл новый сорт орхидей. Этот монстр непременно придаст вам такую же значительность.

Конечно, она и в мыслях не имела ранить его гордость, сказал себе Виктор, но все равно в смятении коснулся лба, точно она стукнула его.

Ребенком он являл чудо какую талантливость. Ребенком он купался во всеобщем восхищении, раздувался от гордости, что его ожидает блестящее будущее, ибо был лучшим во всем, за что бы ни брался. Крикет, латынь, математика — он приводил в трепет и изумление своих учителей, равно как и одноклассников. Его брат подле него выглядел бледным, как увядший куст, и бредил только своими дурацкими *цветочками*. Засушивал, классифицировал, выращивал из крохотных луковок. Виктор прозвал его Маргариткой, а его редчайшими орхидеями украшал себе петлицу. «Это всего лишь *цветки*», — возмущался Виктор при виде братца, рыдающего над своими потерями. Но прошли годы, и Виктор, изумительный феномен, с какой стороны ни посмотри, *первый ученик* года, вдруг понял, что его ум непоседлив, точно запертая в клетке птица, и ни на чем не может остановиться. Он бился о решетки своей клетки, когда Виктор пробовал





себя в финансах, в политике, в торговле, так и не проявив усидчивости, чтобы создать себе мало-мальское положение.

Однажды Виктор огляделся вокруг и вдруг осознал, что его брат, который десятилетиями неуклонно изнурял себя своей единственной страстью, выбился в знаменитые садоводы. К Маргаритке за консультациями откуда только не обращались, начиная с Букингемского дворца и заканчивая администрациями новых лондонских кладбищ. Маргаритка заимел особняк в Мейфэре и загородный дом с собственной оранжереей в Ричмонде. О Маргаритке знали все, Маргаритка не сходил с уст почтенной публики. У Виктора в душе поселилась леденящая уверенность, что случилась ужасная ошибка и мир чувствует не того брата.

А потом они с Мейбл поженились и отправились в Лайм-Реджис, набрав с собой кучу дорожных сундуков и шляпных коробок, и Мейбл всю дорогу не выпускала из рук свой альбом с вырезками спаниелей и острые серебряные ножнички. Клацанье их лезвий лишь слегка досаждало ему, как и звяканье ее склянки с клеем. Он только молча улыбался ей. Мы начинаем новую жизнь, твердил он себе, пока за окнами их экипажа мелькали деревеньки, дорожные заставы и сельские пейзажи, уже тронутые багрянцем осени. Пять дней путешествия, пять ночей в плохоньких деревенских гостиницах, и только через четыре ночи он собрался с духом прикоснуться к ней, подчинить ее тело своему.

В дороге, пока их экипаж катился вперед, он пробовал читать книги о плезиозаврах и игуанодонах, которые набрал с собой во множестве. Слова плясали и перескакивали перед глазами, но в общей мешанине на странице за страницей взгляд его выхватывал два сияющих слова.



Королевское общество. Почтеннейшая институция, осеняющая золотом славы вся и всех, кто попадает в ее орбиту. Бенджамин Франклин и его эксперимент с воздушным змеем*. Плавание Джеймса Кука на Таити для астрономических наблюдений за прохождением Венеры через солнечный диск. Исаак Ньютон и его «Математические начала». Все эти выдающиеся доклады обнародованы в стенах Королевского общества, все эти прославленные ученые мужи ступали под его величественной каменной аркой. Совсем скоро, размышлял Виктор, окаменелые останки диких животных доисторических тварей сами будут попадаться ему под ноги на берегу, заваленном ребрами, хребтами и гладкими продолговатыми черепами. Воображение уже рисовало ему овалы, коими он будет вознагражден за свою находку, в душе расцветала гордость, что наконец-то он, Виктор Крисп, стал человеком науки, знаменитостью, первой величиной среди...

Его швырнуло вперед, когда экипаж резко замедлил ход перед крутым подъемом; книжка выпала из его рук, распласталась на полу.

— Все в порядке, — усаживаясь на место и отряхиваясь, произнес он, хотя Мейбл не проронила ни звука. Он чертыхался, вытирая измазанные пылью руки о штанины. — Все в порядке, — повторил он.

Ширк, ширк, ширк. Пудель с розовым бантом на шее медленно вырезался из детской книжки с картинками.

Он выглянул в окно.

— А вот и море, как ты мечтала. Мы уже почти на месте.

* Этим экспериментом в 1752 году он доказал существование молнии как электрического заряда.





Мейбл не подняла глаз от своей вырезки. Ее запястья слегка дрожали. Он мельком подумал, уж не пугается ли она его. Воспоминания о предыдущей ночи: ее молочно-белые бедра, ее тело, зажатое, едва податливое под ним, тот удивительно уютный островок темных волос (все это его не оставило) — вызвали в нем легкий укол раскаяния. Он попытался улыбнуться.

— Вот мы и приехали, — сказал он.

Дождь уже тогда начинался. Тяжелые капли шлепались на мостовую, расплывались маслянистыми пятнами. Тучи заволокли небо густой, как овечья шерсть, пеленой. Вдали кричали чайки. Виктор выбрался из экипажа и огляделся. Гостиница оказалась более дешевого пошиба, чем его заставили поверить, — тонкая изломанная трещина бежала вверх посередине фасада там, где здание медленно оседало, — он бросил быстрый взгляд на Мейбл в поисках признаков недовольства.

— Будем надеяться, ночью потолок не обрушится нам на головы, — заметил он, надеясь хотя бы развеселить ее, но куда там, Мейбл упорно не поднимала глаз от мостовой.

Их встретил хозяин гостиницы, возле него игрались двое ребятишек. Рыжий мальчик перекатывал через порог какие-то мелкие окаменелости. Черноволосая девочка укачивала завернутую в пеленки говяжью голяшку.

— Не плачь, — приговаривала она «кукле».

— Добро пожаловать, — сказал хозяин гостиницы, приглашая их внутрь. В холле на стенах обтекали сальные свечи, в воздухе стоял густой дух сырого мяса. С потолка в виде украшений свисали капканы на браконьеров, серпы и косы, их зубья и лезвия темнели ржавчиной. Хозяин повернулся





к Виктору и уставился на него с несколько странным прищуром:

— Должен вас предупредить, пока не поздно.

— Что такое?

— Поговаривают, что у нас тут водятся привидения.

Виктор рассмеялся, а Мейбл охнула.

— Совсем как в тех романах, что ты читала, дорогая, — сказал Виктор. — Уверен, нечто вроде того. Разверстые могилы, гремящие веригами монахи и прочая чушь.

— Вовсе нет, — ответил хозяин, сопровождая их по узкому коридору к отведенной им комнате. Виктору пришлось нагнуться, чтобы не задеть тупое лезвие косы. — Вещи здесь имеют свойство принимать другой, чем обычно, облик. Ну, сами собой меняются. Шотландские селки*, вы ведь слышали о них, да?

Виктор покачал головой.

— Ну как же, тюлени, которые обращаются в женщин. А женщины обращаются в тюленей. К нам частенько заглядывает призрак тюленя, он попался в сети у здешнего берега, и какие-то моряки забили его насмерть. А на следующий день там, где они бросили несчастное морское создание, нашли мертвую женщину, всю избитую.

При этих словах хозяин слегка коснулся пальцами запястья Мейбл. От взгляда Виктора не укрылось, как близко тот стоял к его жене, голова склонялась почти к самой ее шее. Как не укрылось и то, что Мейбл даже не подумала отойти. Виктор

* Селки, или шелки (от *старошотл.* selich — тюлень), — в шотландском фольклоре морские существа, добрые и нежные, с карими глазами. Они плавают в обличье тюленей и сбрасывают шкуру, выходя на сушу. По некоторым источникам, это потомки людей, изгнанных в море за свои проступки. Вот почему их так тянет на сушу.





приснул: ну и ну, в гостинице привидения, ее хозяин — сластолюбец, интересно знать, какие еще сюрпризы их ожидают? Должно быть, домовые, хором распевающие гимны?

— По ночам у нас тут свечки сами собой гаснут, — продолжал хозяин. — Это маленькая тюленичка дышит, дышит и задувает их.

Виктор снова хмыкнул.

— А еще после полуночи часто слышатся шаги, — прибавил мальчик, заходя следом за ними в их комнату.

Комнатка была так себе и тесновата, половицы с уклоном, оконце малюсенькое, как прищуренный глаз. Виктор предпочел бы двуспальное ложе, но заметил смежную комнату, видимо предназначенную для Мейбл.

— Прислушаешься — и звук вроде как плавники шлепают, — продолжал мальчик. И изобразил высокие жалобные подвывания «амх», «амх», «амх», подозрительно напоминающие женские стоны наслаждения. — А потом слизь на простынях.

— Стонущие кровати, значит.

«О-очень хорошо», — подумал Виктор. Мейбл, и та догадалась, о чем речь, потому что щеки ее порозовели.

В этот момент ему показалось, что кровать вырастает до чудовищных размеров, заполняет собой всю комнату. Пурпурные занавеси балдахина, лоснящиеся точно обрезки потрохов. На подушках вмятины, наверняка от головы предыдущего постояльца. Призраков всех, кто до них *совокуплялся* на этой кровати. Виктор нетерпеливо вертел в руках трубку, ожидая, когда уберутся хозяин и его мальчишка.

— Да вот она, сами посмотрите, — продолжал хозяин, указывая на небольшую картину над комодом. — Само





собой, до вашей красоты ей далеко. — И Виктор увидел, как хозяин гостиницы кладет руку на плечо Мейбл. Он закашлялся и сделал вид, что разглядывает картину.

Мазня мазней, разве что чуть получше, чем намалевал бы ребенок. Но сам образ, по правде говоря, растревожил его чувства. На тюленьем теле сидела голова девушки с отрешенным лицом, тюленья шкура сползала с плеч аккуратным слоем, точно спираль срезаемой с клементина шкурки. Ах, сколько женской *плоти*. Виктору вспомнились лубочные картинки, которые он прятал между страниц своей Библии: женщины с упругими грудями, между ногами сплошная мраморная гладкость, без всякого намека на подробности.

— Боже мой, — воскликнула Мейбл. — Вид у нее довольно пугающий.

— Ерунда все это, дорогая, — заявил Виктор, стараясь увести Мейбл от картины.

Но Мейбл не пожелала следовать за ним. Она склонилась к мальчику.

— Что это у тебя тут, окаменелости, да? — спросила она. — Мой муж тоже найдет на берегу невообразимое древнее создание, и тогда мы разбогатеет. Он назовет его в мою честь, *Prodigium Mabelius*.

Хозяин гостиницы издал всхлип, подозрительно смахивающий на смешок. Виктор от унижения не смел поднять глаз. Скажи это кто-нибудь другой, он решил бы, что его хотят поднять на смех. Мейбл же повторила его слова без всякой задней мысли, и спрос с нее только один: чтобы понимала, что можно говорить вслух, а о чем лучше помалкивать.

— Так мой племянник сводит вас к утесам Блэк Вэн, — сказал хозяин гостиницы, указывая на рыжего мальчика. —





У него прямо нюх на эти штуки, что у твоей свиньи на трюфели. Хотя не скажу, чтоб за последние годы тут попадались какие-нибудь разэтакие находки.

— Я с удовольствием, как только дождь кончится, так сразу, — бодро отозвался Виктор.

— Так в мокротень останки еще проще искать, они черным блестят в грязи, — чуть шепеляво выговорил мальчик. Его язык немного заплетался в дырке на месте двух верхних нижних резцов.

Мейбл повернулась к Виктору.

— Тебе ведь легкий дождик не помеха, правда, дорогой? — проворковала она. — Уверена, ты непременно отыщешь для меня невиданное доисторическое создание, если будешь каждый день выбираться на промысел.

— Но...

— Знаешь, — проговорила она, играясь своими маленькими серебряными ножничками, — среди всех твоих достоинств меня больше всего восхищает самоотверженность. Уж кто-кто, а ты найдешь, я это *точно знаю*.

Она нежно улыбнулась ему и прибавила, что, к сожалению, не сможет составить ему компанию, ах, только не сейчас, когда ее легкие еще так слабы после перенесенной три года назад инфлюэнцы.

* * *

Увы, прахом пошли его мечты о славе, мечты откопать останки неизвестного таинственного существа. Как пошли прахом мечты вообще о чем-либо, кроме разве что ужина



из холодной макрели под стакан рейнвейна, но даже сейчас он до ужаса боится снова разочаровать Мейбл — в который уже раз, — что сегодня тоже ничего не нашел. Восемь дней впустую! Только проклятый дождь. Выматывающий настолько, что нет даже сил посетить здешние танцевальные вечера. Дождевая капля пробралась ему за шиворот и змеится вниз по хребту. От холода его зубы начинают выбивать дробь, брюки вымокли до колен. Мальчишка убежал далеко вперед, Виктор едва видит его сквозь густую пелену дождя. Виктор останавливается посмотреть, над чем там дерутся три чайки, их острые клювы бьют во что-то мягкое. Вон оно что, это медузу выбросило на берег, и она растекается по мокрому песку.

И вдруг он слышит это. Как будто некий исполин прочищает горло, и следом раскатывается долгий низкий скрежет, точно что-то глубинное трещит и разламывается напополам. Зрение его мутится, словно он смотрит сквозь залепленное туманом окно; утесы на его глазах обваливаются, тонны черной земли обрушиваются на берег.

— Ради бога, — кричит он, точно увещевает кого-то — или что-то? Скалы, а может, самого Господа? Он и не подозревал, что его ноги способны настолько ослабнуть, что его зрение настолько утратит резкость. Он мало что чувствует, кроме боли в груди и резкого металлического привкуса во рту. Он пытается бежать, но поскальзывается и опрокидывается на спину во что-то рыхлое и влажное. Медуза, догадывается он, его руки покрыты мерзкой слизью, мягкой и холодной. Он парализован, он не в силах подняться, его ноги превратились в свинцовые гири, он чувствует, что земля того и гляди поглотит его. Странно, думает





он, отчего в такой момент не получается думать о чем-нибудь особенно значительном, а только о Мейбл и как прошлым вечером она сидела напротив него за обедом. Уютная картинка. Она разделывала сардинку серебряным рыбным ножиком, по одной вытаскивая тонкие, как волосы, реберные косточки. «Она моя, — подумал он тогда. — Мы принадлежим друг другу».

Что она скажет, когда узнает новость? Он представляет, как она кротко роняет слезы, а потом долгие годы преданно ухаживает за его могилой. Но кто еще придет оплакивать его? Определенно его похороны будут скромными и тихими, без пышных проводов и похоронной процессии, как ему когда-то рисовалось в воображении. Тридцать лет он прожил — и что может предъявить? Ни богатства не нажил, ни славы, как прочили ему его учителя. Сколько лет прошло с тех пор, как кто-нибудь восклицал: «Если кто и справится с этим, так только наш Виктор!»? Его имя, когда-то питавшее его гордость, стало восприниматься им как насмешка.

Над городком плывут запахи известняка, пороховой серы, сырой свежеевывороченной земли. Он смутно слышит чьи-то крики, но не может разобрать слов. Лишь протяжный низкий стон, какой могут издавать несмазанные дверные петли. Звук постепенно стихает. Он ощупывает свои ноги, бока, руки. Вроде нигде не болит. Он встает, пошатывается на нетвердых ногах, пытается стряхнуть с пальто песок, вытирает о брюки влажные ладони. Чувствует нелепость, глупость своего положения. Оползень остановился. Толстый пласт земли сползает в море. Прибрежные утесы обвалились. Надо бежать, скорее уносить отсюда ноги. Не ровен час сползет еще один пласт, весь



берег рискует превратиться в сплошную осыпь из обломков скал, земли и камней. Но он почему-то идет напрямик к оползню. Небо над ним серебрится, как внутренность перламутровой раковины, дождик вяло побрызгивает. Ему кажется, он один остался в целом мире...

Ах да, мальчик, вспоминает он. Мальчишка, у которого не хватает двух передних резцов, мальчишка, имя которого он убей не может запомнить. Мальчишка убежал вперед, его рыжая голова исчезла в густом тумане за мгновение до оползня.

— Мальчик! — кричит он, сам понимая всю бесполезность своих призывов. Тот наверняка уже мертв.

И тут он замечает это черное, глянцевитое. Оно блестит в сером предвечернем свете на верхушке холма из обвалившейся земли. Формой оно почти как череп. Виктор мигает, делает шаг вперед, потом еще один. Бежит, почти не чувствуя боли в лодыжке. Все в нем ликует и поет. Он старается запомнить этот момент во всех подробностях, точно уже готов живописать его, сохранить для истории. Момент открытия, шок от озарения. Высокий насквозь промокший малый упорно карабкается вверх по оползающему склону, прорывается к научному открытию. Какая жирная и вязкая земля! Липнет к бедрам, при каждом шаге чавкает под ногами.

С первой же секунды, едва увидев, я уже знал. Да, именно так он скажет, когда будет выступать перед многолюдной аудиторией в Королевском обществе. *Интуиция на открытия — так бы я определил это.*

Его пальцы цепляются за скалу. Каким триумфатором он, верно, сейчас выглядит! Руки, по локти в черной земле, ломит от холода. Раскаты грома над головой звучат ему громом





аплодисментов. Ослепительный зигзаг молнии освещает смурый день. Ага, вот реберный каркас. Ласт. Чудовище в первозданной сохранности. Древний исполин тысячи лет дремал в глубинах земной толщи, как будто дожидался, чтобы он, Виктор, явил его миру.

Сейчас всю Британию перекапывают, снова думает он, ликование рвется из его груди отрывистыми взвизгами восторга. Его папаша копает свои каналы. Братец копается со своими саженьцами и кладбищами. А он, Виктор, тоже в деле, он откапывает небывалое доисторическое чудовище, которое наверняка принесет ему имя и славу.

* * *

Ломовые подводы прибывают почти затемно. Еще не слышав их, он уже чувствует их запах: ворвань в фонарях воняет тухлой рыбой. Он бешено машет им руками. Вон по берегу бежит хозяин гостиницы, за ним — девочка, по-прежнему прижимая к груди куклу из говяжьей голяшки. Прилив уже подбирается, волны тяжело вздыхают, накатываясь на прибрежные камни.

— Сюда! — зовет он с вершины холма. — Сюда! Несите веревки! И лопаты, молотки! Да поживее, придется поднажать, надо спасти находку!

— Хвала небесам! — кричит в ответ хозяин гостиницы, и они с девчонкой лезут к нему вверх по склону. Хозяин вертит головой, щурится в тусклом свете. — Где он?

— Вот, — говорит Виктор. — Вы только посмотрите, какое чудо! — Длинный, вытянутый вперед череп. Черные



ласты, а может, плавники. Он предвкушает, как они изумятся, как иззавидуются его удаче.

Хозяин гостиницы впивается в него диким взглядом.

— А Уилбур? Где Уилбур?

Виктор закусывает губу. Он совсем позабыл о мальчике, позабыл, что где-то внизу, под массами черной чавкающей земли, погребено его мертвое тело.

— Мне ужасно жаль... — Виктор запинается. — У него не было ни малейшего шанса, сами же видели, что творится. Оползень сошел в мгновение...

Хозяин гостиницы делает к нему шаг. Долю секунды Виктор пугается, что тот намеревается ударить его. Но нет, руки мужчины безвольно свисают вдоль тела, челюсть расслаблена, и только боль искажает его измученное лицо. Виктор отходит в сторонку и наблюдает, как мужчина с девочкой ползут вдоль склона, выкликая имя мальчика, разгребают рыхлую землю, скребут пальцами, втыкают прутики. Он хочет сказать им, что все бесполезно, что мальчик наверняка уже мертв. Он оглядывается, видит, что вода уже подкрадывается. Сколько у него времени? Если никто не поможет, его находку унесет в открытое море — и прощай великое открытие. Слабый крик вырывается из его горла. Его шанс, единственный шанс урвать у судьбы почет и славу тает на глазах.

Он лихорадочно шарит по карманам в поиске карандаша и бумаги, кое-как царапает на листке цифры и размахивает им перед носом у двух грузчиков с мощными ручищами:

— Десять фунтов, нет, двадцать!

Они переминаются с ноги на ногу, но в конце концов кивают, и он ведет их к своей находке. Молотки звенят





о камень, веревки скрипят, натягиваются. Дождь смывает с чудовища облепившую его грязь, и Виктор видит, что скелет в идеальной сохранности, он и вообразить не мог, что такое бывает: ребра, хребет, ласты — все на месте. Они подтыкают остов кольями, закрепляют веревками, потом еще веревками, а Виктор бежит вокруг в диком страхе, как бы от их усердия находка не раскололась надвое. Лошади в нетерпении выбивают копытами комья глины, их жилы натянуты как канаты, головы в тусклом свете фонарей отбрасывают пугающие тени. Протяжный стон: то ли человеческий, то ли животный — Виктору нет дела. Волны режут, вода наступает.

— Надо возвращаться. Прилив, — кричит один грузчик, вода уже бурлит у их щиколоток. Хозяин гостиницы с девочкой покорно поворачивают к городу, бредут с пустыми руками, с поникшими головами. Виктор смотрит, как их фонари удаляются, превращаясь в крохотные точки.

Но черта с два он уйдет с берега, он хватает за шиворот грузчика, когда тот пробует тронуть лошадей. Снова вытаскивает карандаш и бумагу, царапает несусветные суммы, те двое в раздумьях щелкают кнутами, но в конце концов, слава богу, соглашаются и с жутким треском вытаскивают из земли весь скелет. Виктор приплясывает от нетерпения, пока они привязывают скелет к подводе, ее деревянное днище прогибается под невероятной тяжестью.

— Быстрее, — шепчет Виктор, потом кричит в полный голос: — Быстрее!

Приливные воды уже доходят ему до бедер, волны норовят утащить его в сторону. Вода бурлит пеной уже у самого пояса.



— Дайте сам привяжу, — кричит он этим двоим и только сейчас замечает, как они испуганы, как беспокойны лошади, белки их выпученных глаз поблескивают в неверном свете фонарей.

Они с трудом пробиваются вперед среди бушующих волн, Виктор сидит на подводе, вода бешено бьется в ее борта. Ночь, как на грех, темная и промозглая. Он весь трясется, сырой холод моря пробирает его до костей. Он в грязи с головы до ног, она застряла в его волосах, налипла на уши. Он склоняет голову и баюкает остов своего исполина, как любящая мать — младенца.

* * *

Ножи звякают по фарфору. Рыбный пирог, еще не остывший, весь утыкан костями. Виктор вытаскивает воткнувшуюся в десну тоненькую прозрачную пику рыбьей косточки и откладывает на край тарелки. Мейбл не поднимает на него глаз, не разговаривает с ним. Они едва перемолвились словом с момента, когда он ввалился в их комнату, до костей промокший, истекающий грязью. Он-то надеялся, что она побежит с ним посмотреть, как его исполина сгружают с подводы прямо на улице, у дверей лавки, а она только отшатнулась от него и замотала головой. Это он в одиночку торчал под дождем и торговался с лавочником о цене, в одиночку раздавал указания десятерым грузчикам, пока те стаскивали остов вниз по замшелым ступеням в погреб под лавкой. Будь его, Виктора, воля, он велел бы затащить драгоценную находку к ним





в комнату или устроился бы на ночлег прямо в погребке под боком у исполина.

От возбуждения у него дергается и подпрыгивает колено.

— Веришь ли ты? — шепчет он Мейбл. — Мое чудовище! Посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь его. Оно восхитительно. Оно станет величайшей находкой со времен *Plesiosaurus* Вильяма Конибира.

— Не Конибира, а Мэри Эннинг, — тихо возражает ему Мейбл.

— Прошу прощения?

— Этого *Plesiosaurus* обнаружила Мэри Эннинг.

— Не надо придинок, — говорит он. — Конибир составил его описание, ведь так? — Он похлопывает ее по руке. — Очень скоро, может, уже завтра, сюда налетят газетчики. Ученые мужи! Палеонтологи. — Глубокий вдох, от восторга у него перехватывает горло. — Королевское общество! Ох, что начнется, когда они прослышат!

— Капустки? — предлагает хозяин гостиницы, поднося им соусник с разваренными до желтизны овощами.

Виктор хлопает себя по лбу от мысли: «Что, если в погребке ему угрожает опасность? Вдруг они продадут его?»

— Капустки? — снова вопрошает хозяин гостиницы. Глаза его красны, посеревшие щеки ввалились.

— Благодарю вас, Джеймс, — отвечает ему Мейбл и смотрит на него участливо, почти с любовью. Когда он поддвигается, чтобы положить капусту ей на тарелку, его пальцы легонько прикасаются к ее. Надо же, а он весьма привлекательный мужчина, удивленно думает Виктор.

— Боюсь, уже не осилю, *Джеймс*, — говорит Виктор, похлопывая себя по животу. — С меня уже достаточно.



Мужчина с поклоном отходит от их стола. Виктор замечает, что Мейбл провожает его глазами, следит за его перемещениями по столовой. Она создание добросердечное, говорит себе Виктор; она просто сострадает ему из-за гибели его племянника.

— Уверен, это новый вид в семействе *Plesiosaurus*. Если я прав, пожалуй, назову его *Plesiosaurus V. Crispus*.

Виктор выжидательно замолкает. Его жена сосредоточенно изучает овощи у себя в тарелке. Молчит, даже не дернулась.

— Знаю, знаю, я обещал назвать его...

— И почему это мужчинам надо вечно во все соваться? — перебивает его Мейбл.

Никогда прежде Виктор не слышал у нее такого тона.

— Прости, дорогая, ты о чем?

— Я говорю: и почему это мужчины не могут оставить все как есть? Почему им обязательно надо за все хвататься и...

Он протирает губы салфеткой.

— А-а-а, так ты о мальчике, да?

Она бросает на стол нож и вилку. Он в удивлении замечает слезы в уголках ее глаз.

— Мерзкое это дело, дурное, я так считаю. И решила, что оплачу ему пышные похороны для мальчика, достойные джентльмена. С плакальщиками, настоящим катафалком...

— И это вернет мальчика? — Он в раздражении дергает себя за галстук. — Вряд ли я виноват в том, что сошел оползень. А ты смотришь на меня волком, будто я какой-нибудь убийца. — Он передергивается от своих слов. — Это всего лишь злополучие, что мальчик оказался втянут во все





это. Проживешь на свете подольше — сама поймешь, что людям частенько приходится платить за прогресс своими жизнями. Люди гибнут, когда возводят грандиозные мосты, когда колонизируют новые земли. Такое случается.

Ее рот сжимается в тонкую нитку, в уголках губ проступает кровь.

Его осеняет некая мысль, и он едва подавляет внезапный позыв рассмеяться.

— Разве это не звучит как нельзя подходяще, — говорит он, маскируя кашлем свою внезапную веселость, — что охотник за фоссилиями сам превратится в фоссилию? Сам же и угодил в их компанию, погребенный сырой землей. — У него плывет перед глазами, причудливый потолок с серпами, пинтовыми кружками и капканами раскачивается, отплывает от него, и он уже не сдерживает грубого хохота, что рвется из его груди. — Мальчишка, — еле выговаривает он между приступами смеха, шаря по столу в поисках стакана с водой, — он... сам себя... превратил... в ископаемое... Его откопают... и...

Внезапно его физиономию окатывает холодной водой.

— Какого черта... — начинает было он, но замечает пустой стакан перед Мейбл. Сузив глаза, она сверлит его таким ледяным взглядом, что он пугается.

* * *

Этим вечером он в одиночестве идет в танцевальный зал. Мейбл сказала, что у нее болит голова, и он оставил ее наедине с ее альбомом выстригать своими стремительными ножничками новые картинки с собачками.



Пока он одолевает крутой склон холма, дыхание у него совсем сбивается, перед глазами плывет туман, в боку стреляет. Улочки в этом городишке не освещены, и он без конца спотыкается о какой-то мусор: то обрывки рыбацких сетей, то разбитые раковины моллюсков — и ругает себя за то, что не прихватил фонарь. Небо по-прежнему затянуто тучами, вечер безлунный, низко над крышами домов бесшумно парит одинокая сова. Он поспешает на зазывные звуки скрипок, они плывут над улочкой, на которую он выходит.

Там, впереди, уже сияет огнями танцевальный зал. Цивилизация, радостно думает он и припускает почти бегом, спрашивая себя, отчего он раньше не заглядывал на танцы. О, зал наверняка полон курортников, и все это люди из общества, дамы и господа с понятиями о моде и вкусе. Там в свете тысячи свечей гребни из черепаховых панцирей играют и переливаются в прическах не хуже навощенных паричков. Талии утянуты корсетами на китовом усе. В ушах и на шеях рассыпаются искрами украшения из аммонитов*, отполированные до блеска, не несущие и следа черной жирной почвы, в которой их когда-то откопали.

Поначалу его приход остается незамеченным. Но вот слуга хватает и жмет ему руку. Тут как раз объявляют перерыв, танцующие собираются кучками, перешептываются, слушок перелетает по залу от кучки к кучке.

* Спиральные раковины аммонитов (или аммоноидей, подкласса вымерших головоногих моллюсков) считаются символом семейного счастья, достатка и благополучия, а в более широком понимании — бесконечности. Они приобрели популярность в Англии XVIII — начала XIX века и назывались «закрученными камнями».





— Так это вы? — обращается к нему какой-то джентльмен. — Виктор Крисп, тот самый? Кто нашел это восхитительное существо?

Виктор склоняет голову в поклоне. В его честь поднимают бокалы. Слуга вручает ему до краев наполненный стакан с пуншем. Он принимает стакан, отпивает.

— Королевское общество, уверен, с удовольствием выслушает ваш рассказ, — говорит джентльмен. — Держу пари: это величайшая находка за многие годы.

Виктор кивает.

— Королевское общество, — эхом повторяет он, но, удивительное дело, собственный голос кажется ему чужим. Он вдруг понимает, что его трясет от холода, но одновременно бросает в жар, такой сильный, что он утирает со лба капли пота. — Королевское общество, — снова повторяет он, уже громче и значительнее.

Джентльмен молча смотрит на него.

Виктор подается вперед, стараясь подавить охватившую его дрожь. Кто-то дружески хлопает его по спине. Ему надлежит улыбаться, принимать поздравления, возможно, даже произнести речь. Но почему он чувствует себя таким опустошенным, таким одиноким? Внутренности скручивает, как будто ему приспичило опорожнить кишечник. Снаружи воет ветер, бьется в окна, сотрясая рамы. Он зажимает уши. Вой усиливается, очень похожий на тот, что он слышал на берегу, когда рушились утесы; ах да, это найденное мной чудовище, неужели это оно так жутко воет, в смятении гадают Виктор, или, того хуже, это подает голос заживо погребенный мальчик?





Однако никто вокруг, кажется, не слышит этого низкого воя. Ни один из танцующих в этом рафинированном бальном зале не выказывает и тени тревоги. Неужели звук вибрирует только в его ушах? Он старается унять дрожь в руках, продолжает кивать, принимая поздравления. Сотни белозубых улыбок со всех сторон скалятся ему. В воздухе висит низкий приветственный гул, стакан выскальзывает из его пальцев, падает на пол.

* * *

Через холл под свисающими серпами и косами, вверх по лестнице. Никто не позаботился оставить ему горящую свечу. Его руки нашаривают в темноте перила, ноги ослабели и разъезжаются на стертых деревянных ступеньках. Доковыляв до своей комнаты, он с грохотом захлопывает дверь и тяжело отдувается. С картины над комодом на него пялится скидывающая шкуру не то девица, не то тюлениха. Какие у нее круглые, какие синие глаза. Глупые сказочки, думает он; ни одно существо неспособно превращаться в другое. Он хватает со стены картину и ставит на пол, лицом к стене. Со всей силы распахивает дверь женушкиной спальни.

— Кошечка моя, — шепчет он. — Моя любимая.

Вначале он упраскивает, подольщается, умоляет и все же радуется, когда она в конце концов откидывается на спину, щеки ее горят румянцем стыда, колени под ночной сорочкой плотно сдвинуты. В прежние времена он регулярно посещал одну девицу на Джермин-стрит и частенько ловил





себя на том, что сила его вожделения сама втягивает его в ее истасканное маленькое лоно — как же она возбуждала его, прямо до ужаса! Бабетта, так ее звали. Парижская девчонка из квартала Маре. Бывало, ворвется в ее комнатнушку, и тут же перед его глазами возникают ее раскинутые в развратном наслаждении ноги, ее пальчики, теребящие эту ее маленькую жаркую *штучку*, ее бедра, жаждущие прижаться к его. И как она подбиралась, готовясь принять в себя натиск его удовольствия — справляемую им нужду, вызывая в нем ненависть, пока он не начинал воображать ее в канаве, нагой и корчащейся, ее нечистый язык молит еще лизнуть, всосать, заглотать.

С каким облегчением он обнаружил, что его молодая жена относится к совсем другой женской породе. Но как она напружинилась, как зажалась, какими усилиями он вталкивается в ее тело! Он даже не решается заглянуть ей в лицо, убежденный наперекор всякой логике, что оскверняет ее. Его охватывает внезапное желание остановиться, сказать ей, что никого в жизни он не любил так сильно, как любит ее; сказать: *давай начнем все сначала*. Но ему вспоминается отец, как тот тряс его, когда он рыдал над разбитой коленкой. *Стоит мужчине потерять уважение, и конец, назад не воротишь*.

Всю эту ночь его донимают отрывочные, беспокойные сны. Чудовища превращаются в мальчишек, мальчишки — в чудовищ. Потная сорочка липнет к телу. Ему мешает свет из-под двери Мейбл, донимает чиканье ее ножничек, шорканье кисточки клея по бумаге. Задолго до рассвета за окном оживает улица: слышатся шорохи шагов, поскрипывают цепи с подвешенными на них



фонарями — это горожане по случаю отлива спешат к месту оползня.

Совсем извертевшись, он теряет терпение, встает с постели и подсаживается к столу. Берется писать письмо, давно составленное, сотню раз проговоренное в уме, из всех сил старается побороть дрожь в пальцах. Первым делом пишет адрес, в упоении выводит петельку в *R*, размахивает на две линейки извивы *S* — *Royal Society*!

Уважаемые господа, спешу известить вас о небывалом открытии, которое, как я уверен, необычайно заинтересует вас...

Письмо написано и запечатано, и теперь он берется за единственное в его корреспонденции письмо, полученное на прошлой неделе. Как всегда, в письме брата полно всякой ботанической чепухи — только и речи что о черенках, отводках да саженцах, которые он выращивает для дендрария на кладбище Абни-Парк* и которые, видите ли, рассадит в алфавитном порядке. Маргаритка расстарался даже на список видов, как будто Виктору не наплевать на все это. *Завершающим штрихом я вижу Zanthoxylum. Известно ли тебе, что зантоксилум еще называют американским зубным деревом?*

Он хватается за чистый лист бумаги, ему страсть как хочется написать братцу парочку злорадных строк. *Теперь я великий человек, Маргаритка! Королевское общество пришет своего человека подтвердить мое открытие, и тогда его впишут во все книги по истории. Я стану тем из братьев Крисп, чье имя прославится в веках!* Вот только брата этим не проймешь, еще с раннего детства соперничество и обиды

* Расположено в Сток-Ньюингтоне, части лондонского района Хакни.



между ними всегда носили односторонний характер. У Маргаритки одна страсть — копаться в теплице да навешивать ярлыки на свои драгоценные саженцы.

Стук в дверь. Виктор открывает, на долю мгновения ожидая увидеть рыжие вихры мальчика. Но на него исподлобья хмурится черноволосая девочка. Ах да, вспоминает Виктор, мальчик же погиб. Он смаргивает и опирается на дверной косяк, ища равновесия, потому что в голове его плавают туман и тонкая пленка словно отделяет его от остального мира.

— Ах, у нас снова копченая селедка, — произносит он с наигранной веселостью, разглядывая погнутый, весь в зазубринках серебряный поднос. Разваренные тушки в гангренозных побежалостях, три мутных глазка слепо глядят на него. Он указывает рукой на стол. — Пожалуйста, поставь туда.

Девчонка уже собирается удрать, но Виктор хватается за руку.

— Погоди-ка, — говорит он, вытаскивая бумажник. Протягивает девчонке толстую пачку «мзды», призванной утихомирить его совесть. — Этот мальчик, что умер...

— Уилбур. Мой двоюродный брат. Его нашли этим утром, — девчонка опускает голову.

— Вот и замечательно! — Он гадает, куда положили мертвое тело. В неверном предутреннем свете его, до носа и ушей облепленного грязью, наверняка везли на той же самой подводе.

Кажется, глаза девчонки, и без того заплывшие от слез, сужаются совсем в крохотные щелочки.

— Это еще большая удача, что тело нашли и есть что хоронить, — торопливо произносит Виктор. Он прокашливается и пихает кредитки в руку девочке. — Я желал бы



поучаствовать в тратах. И чтоб денег на похороны не жалели. Вот, наймите плакальщиков, пусть встанут у его двери. И чтобы все попышнее. Чтоб с почестями и по первому разряду, как для герцога!

Ребенок смотрит на него снизу, прижимая к груди деньги, как прижимала бы драгоценное существо. Потом сжимает их в кулаке и отступает назад. Виктор слышит ее шаги на лестнице, сначала осторожные, потом ускоряющиеся, и вот их топот разносится по всей гостиничке.

* * *

Виктор быстро одевается, бежит по улице к лавке, торопясь проведать свое бесценное сокровище. День выдался погожий, в ясном небе обрывками кружев мечутся чайки. В воздухе тянет гнилью от разлагающихся моллюсков и водорослей, сваленных в кучи, над которыми хлопотливо жужжат тучи мух. Юные девицы громяют корзинами с дьявольскими когтями и окаменелыми позвонками. «Пенни за штуку», — выкрикивают они, но Виктор расталкивает их, презрительно фыркает на их жалкую мелочевку с высоты своей великой находки. Разве он мог вообразить, какую громадину ему посчастливится откопать, какая великая слава обрушится на него. *Plesiosaurus V. Crispus*. Он берется за дверной молоток. Стучит три раза. Тишина. Его внезапно окатывает паникой, что его сокровище украли и что вот-вот продадут, выдав за свое, а его оставят с носом. Он стучит громче, потом колотит в дверь кулаком. За дверью слышится шевеление.





— Терпение, мой друг, — говорит из-за двери лавочник. Дверь открывается, лавочник разглядывает Виктора. — У вас все в порядке, сэр?

Виктор только кивает и бегом устремляется к погребу. Он ждет не дождется снова оказаться подле своей находки, коснуться холодного ластва, прижаться головой к темным ребрам грудной клетки. В сумраке мало что видно: окна в лавке занавешены, лишь из-за угла светит одинокая свечка. Он чуть не кубарем скатывается с лестницы, к ладоням липнут кристаллики рассыпанного на ступеньках сахарного песка. С потолка капает вода.

— А вот и ты, — выдыхает Виктор. Лавочник со свечкой чинно спускается следом.

Этот добряк согласился приютить чудесное создание у себя в погребе, пока — пока что? Будь сейчас сезон, в городке отдыхала бы масса ученых джентльменов и они просветили бы Виктора, как поступить с находкой, а может, даже сами подтвердили бы ее подлинность. Сам Виктор не знает, какие шаги ему предпринять; все, что ему остается, — это ждать ответа от Королевского общества, ждать их ученого посланца, они же обязательно кого-нибудь пришлют. А потом, он уверен, Общество как-нибудь устроит перевозку его громадины в Лондон, ведь только в столице может начаться настоящая работа.

Виктор велит принести ведро с водой и щетку и тут же, не выходя из душной промозглой сырости погреба, начинает очищать остов чудовища. С трудом выковыривает застрявшие между зубами остатки его доисторической трапезы, смывает грязь с треснутого края черепа. Молотком осторожно отбивает застрявшие среди позвонков камешки.



От погреба веет пороховой серой и сырой землей, это отдает свои запахи скелет, впервые за тысячелетия выставленный на свет божий. Кости почти почернели и гладко отполированы, но он все равно обмакивает тряпицу в масло и натирает их медленными круговыми движениями. Никогда еще он не прикасался к чьему-нибудь телу так нежно и трепетно. Он вспоминает, как в ночь их первого с Мейбл соития он лежал рядом с ней, а она посапывала во сне с размеренностью тикающих часов. Он все еще не мог поверить, что она теперь принадлежит ему, что отныне их соединяют нерушимые узы. Он задержал руку над ее плечом, страстно желая придвинуть ее поближе к себе, дышать ею, сжимать в объятиях. Но единственное, что он познал из любовной науки, — животный натиск. Наутро он все-таки взял свое, его тело врезалось в нее с силой поршня. Когда все закончилось, он отодвинулся от нее, распластавшись на матрасе и пытаясь побороть бурливший внутри стыд.

На протяжении дня к нему в погреб наведываются разные джентльмены. По большей части доморощенные ученые, потом является мальчишка из ведущей местной газеты, и еще другой, из местного журнала. Они притаскивают линейки и штангенциркули, замеряют длину зубов чудовища, толщину ребер, длину плавников. Один знаток соглашается, что это действительно плезиозавр, но неизвестного до сих пор вида. И да, одобрительно кивают все, поразительно, что остов в такой целости.

— Кажется, — добавляет один джентльмен, — что оно сдохло не больше года назад. И совсем недавно скелетировалось.



Виктор только кивает. Впервые в жизни он замечает, что не может подобрать нужных слов для ответа.

— Господи! Вы что, простыли? Вы весь дрожите.

— Что вы, ей очень даже тепло, — отвечает Виктор, с кончика его носа срывается капля пота.

Смех.

— Какой вы, однако, остряк. — И сразу озабоченно: — Сэр! Мистер Крисп! Ваши зубы. У вас зубы стучат.

Он чуть не подпрыгивает от неожиданности. Он и не думал острить; он решил, что гость обращается к его громадине. Лишь теперь Виктор слышит, как стучат его зубы, как больно у него в горле. Им овладевает неодолимое желание улечься на верстаке и свернуться калачиком под боком у своей громадины.

— Сэр!

Голоса доносятся до него как сквозь туман. Он пристально смотрит на громадину. На своего *Plesiosaurus V. Crispus*. Нет, звучит слишком бездушно. Надо бы добавить к нему что-то индивидуальное, вроде клички, что ли. *Уилбур* вспыхивает в его сознании, но он никак не вспомнит, где слышал это имя. Вдруг Виктор отшатывается, в страхе закрывает рукой рот. Как же он не заметил раньше?! Череп у его громадины мальчонский, размерами с детскую головку, во все стороны разбегаются тонкие, как волоски, ржавые трещинки — ни дать ни взять остатки рыжей шевелюры, вот руки есть, а вон даже тонкие мальчишеские пальцы! Кожа бледно-розовая и...

— Да что с вами такое, сэр? — Джентльмен трогает его за рукав. — Мистер Крисп...

— Черепная коробка, — в ошеломлении шепчет Виктор. — Совсем как у ребенка...



Он видит, что джентльмен бочком отходит от него, в смущении оправляя на себе одежду. Подхватывает свой кронцикуль и осторожно обращается к Виктору.

— Череп, — произносит он на удивление ровным тоном, — напоминает формой крокодилий. Передняя часть почти треугольная, височные отверстия у данного вида более узкие, чем у других, уже известных нам, нёбные кости довольно толстые. Мало что в этом черепе, — он покашливает, — скажу даже, вообще ничего нет такого, что напоминало бы черепную коробку детеныша *Homo sapiens*.

Виктор тупо кивает. Воздух застревает в его легких, он отчаянно старается не дать себе завалиться вперед.

— Да, теперь вижу, — с трудом выдыхает он, — я ошибался. — Он чувствует себя школяром, которого отчитал учитель. Он ведет пальцем по выемке в черепе своего завра, стараясь изгнать воспоминание о двух отсутствующих верхних резцах и взрослых, уже прорезавшихся, готовых вылезти из десен.

* * *

— Скоро они приедут? — чуть слышно бормочет Виктор.

— Кто?

Чей же это голос?

— Королевское... общество. — Его скручивает приступ кашля, дыхание короткими толчками вырывается из его груди.

Его поймали в ловушку, он тут взаперти, придавленный тяжелыми покрывалами и кроватьными занавесями цвета





сырого мяса. Он смутно вспоминает, как несколько мужчин тащили его из лавки в гостиницу, сильные пальцы больно врезались ему в подмышки. Ему кажется, что его держат под водой, его конечности свинцовы и неподвижны, как у утонувшего моряка. Каждый вздох дается с невероятным усилием. Руки тяжелы, словно ласты.

— Отдохните, — снова слышит он незнакомый голос. Он разлепляет веки. Черноволосая девочка встает и направляется к двери.

— Подожди, — хрипит он, но она уже скрылась.

Он вспоминает голос Мейбл тогда, за обедом, и как ее глаза избегали его взгляда.

Я говорю: и почему это мужчины не могут оставить все как есть? Почему им обязательно надо за все хвататься и...

И тут должен был наступить момент, когда он явится пред публикой в зените славы, об руку с Мейбл. Момент, когда его приглашают в великосветские дома на обеды, званые завтраки и пикники на взморье. Глаза его туманятся, слезы скатываются по вискам в уши. «Мейбл», — не то стонет, не то зовет он, но теплая рука жены не ищет его руки, мягкая губка не увлажняет его пылающий лоб. Где она? Почему не сидит у его постели? Дверь в ее келью открыта. Теперь он уже жаждет слышать быстрые чиканья ее ножничек.

Солнце уже вовсю припекает, когда его вырывает из сна всеобщий заунывный плач. Он пытается сесть в постели. Он не желает прозябать на обочине жизни; ему надо срочно выяснить, что происходит. Мир вокруг него вертится и кружится. Чтобы унять головокружение, он впивается





взглядом в металлическую кружку, отсвечивающую на столике у его кровати. На ощупь она гладкая и прохладная, внутри плавает дохлая муха. Он с отвращением кривит лицо, но делает долгий глоток и снова закашливается. Замечает, кто-то вернул на стену картину с селки.

Сначала он опасается, что когда встанет на ноги, то голова закружится еще сильнее, но ему удастся доковылять до оконца и опереться о стоящий рядом стол. Он выглядывает в окно, видит, как внизу по городу движется пышная траурная процессия. Головы черных коней украшены султанами из черных страусовых перьев. Похоронные дроги обвешаны черным крепом и богато украшены черными лентами. Сзади идет толпа горожан. Рыбачки, отблески солнца на приставшей к рукам рыбьей чешуе. Краснощекие стряпухи в испятнанных жирными соусами фартуках. Дворецкие и лакеи в затрепанных ливреях. Провожать в последний путь и оплакивать погибшего ребенка сбежался весь город.

Здесь же плакальщики, как он и велел, рты перекошены в излияниях скорби, траурные наряды чисты и аккуратно застегнуты. У каждого в руках по жезлу. Как нелепо они выглядят здесь; у престижного особняка в Мейфэре они бы, пожалуй, смотрелись хоть куда. А на этой кривой улочке они совсем не к месту.

Сколько же прошло дней с тех пор, как нашли тело мальчика, гадают он: один, два, три? Он живо представляет себе, как в городок въезжает джентльмен из Королевского общества и сразу натывается на траурную процессию. Что он подумает? Этот спектакль — этот *цирк* — только отвлечет его мысли от великой находки Виктора. Слабые подозрения





перерастают в тяжелую уверенность. Так это они нарочно, они вознамерились накрепко связать мальчика с обнаруженной мной громадиной, думает Виктор, и кончится тем, что мое великое открытие навеки свяжется с горестными воспоминаниями о смерти ребенка и о том, как его оплакивал весь город. Он все стоит у окна, от его возмущенного фыркания запотевают стекло, он уже забыл, что сам подал мысль о пышном погребении; он думает только о своем плезиозавре, который дремлет в сыром погребке лавочника, тускнеет, теряет блеск.

* * *

Теперь в мозгу у Виктора засела одна мысль: он и его громадина должны во что бы то ни стало убраться из этого городишки. Не может он больше дожидаться письма от господ из Королевского общества и их посланца, который то ли прибудет, то ли нет. Он сам доставит им свое чудовище; он отдаст распоряжения, чтобы его сегодня же морем отправили в Лондон на шняве «Юнити», чтоб укутали мягкой тканью и прочно закрепили в трюме веревками. И пусть только попробуют остановить его, пусть только заикнутся, что сначала чудовище нужно отдраить, отполировать, сделать глиняные слепки, прежде чем сдвинуть с места, — не выйдет, чудовище *его*, и он распорядится им по собственному усмотрению.

Он бредет по улице, пот градом катится по спине, щекам. Мир крутится и вертится, как при морской болезни. Вокруг себя он слышит перешептывания. Стоящая



на пороге дома женщина при виде него отступает за дверь. Девчонка, торгующая мелкими окаменелостями, шарахается от него и пускается наутек. Он сплевывает в платок вязкую мокроту.

Горожане не желают смотреть на него, упорно отводят взгляды, как будто *это он* убийца, как будто он чудовище, как будто он хотел, чтобы мальчишка погиб! Он оступается на шатком булыжнике мостовой, но ухитряется устоять на ногах, и в этот момент ему кажется, что позади мелькнула рыжая голова. Он резко оборачивается. Девочка с куклой-голяшкой смотрит на него в упор темными пустыми глазами.

Ничего, говорит он себе, слегка прибавляя шаг, завтра, уже завтра я уеду отсюда. Завтра они с Мейбл будут сидеть в экипаже, поводья — натягиваться, лошади — ржать и увлекать их все дальше от этого забытого богом городишки. В ожидании, пока лавочник отворит дверь, он поворачивается и смотрит на море, в волнах танцуют крохотные огоньки света. На берегу оживление, купальные машины* снуют туда-сюда, завозят и вывозят купальщиков из воды. Вдруг он замечает хозяина их гостиницы, тот болтается на мелководье, уговаривает какую-то даму сойти со ступенек купальной машины в воду. Он брызгает в нее, она соскальзывает в воду и смеется. Он притягивает ее к себе и целует, оставляя на ее плече влажный след

* Популярное в XVIII—XIX веках приспособление для купания на морских пляжах, позволявшее мужчинам и женщинам купаться, соблюдая правила приличия тех времен. Представляло собой крытую повозку, на которой купальщика завозили в воду при помощи лошадей, а затем повозку разворачивали так, чтобы купальщик не был виден с берега.



от нежного прикосновения своих губ. Виктор улыбается. На мгновение столбенеет от сходства дамы с его женой: та же блестящая волна каштановых волос, та же грация в движениях.

— Что такое? — спрашивает лавочник.

Виктор поворачивается.

— Мне нужно, чтобы вы срочно все подготовили. Моя находка отплывает сегодняшним рейсом «Юнити».

— Сегодняшним?

— Я хорошо заплачу, — добавляет Виктор.

В погребе он направо и налево рывкает команды с уверенностью, которой в себе не чувствует. Лавочник уже нагнал поденщиков, грубых мужиков, сноровистых в поднятии и перетаскивании тяжестей. Они качают башками, переглядываются, но все же подчиняются. Он наблюдает за их работой, слишком слабый, чтобы помогать им, и на чем свет стоит костерит их, когда они грубо обращаются с его громадиной. Даже представляет себе, как на ее нежном теле проступают синяки от их впивающихся в нее лапищ, как она вздрагивает, когда у нее трескается ребро. Саван из новой парусины служит ей одеянием, сколоченный из досок ящик — гробом. К этому времени мальчишку уже наверняка похоронили на церковном погосте.

Он никому не позволит открыть ящик со своей громадиной, пока сам не прибудет в Лондон. Он самолично вытащит каждый гвоздь, поднимет ломиком и отбросит каждую доску. Сдернет и свернет укутывающую ее мягкую ткань. Все произойдет в богато отделанном сводчатом помещении, посреди толпы восхищенных джентльменов. Сверху действие будет освещать стосвечовая люстра. Они



с громадиной будут уже далеко-далеко от этого сырого погребца, от этого сторбленного городишки, от смерти мальчика, напоминания о которой лезут здесь в глаза на каждом углу и в каждом закоулке. Его громадина уже не будет безвестным доисторическим завром. Ее внесут в каталоги, присвоят ей имя, возьмут на учет. И все разложат по полочкам, как оно и полагается, — как огнедышащего быка превращают в аккуратно нарезанные розовые отбивные.

* * *

Ему твердят, что он еще слишком слаб для тягот переезда, что у него все еще сильный жар. Что будет сущим безумием пускаться в долгую дорогу, когда он так сильно болен. Твердят, что ему требуется провести в постели еще хотя бы неделю, а может, и больше, что он часто впадает в бред, даже если в моменты просветления сам не помнит, что бредил. Слабым взмахом руки он отмахивается все настояния врачей. Ночью его раздражает кашель. Он сворачивается на потных простынях, словно креветка, словно младенец в материнской утробе. Он спит урывками, сон незаметно подкрадывается к нему и так же незаметно улетучивается. Когда часы бьют два пополудни, ему явственно слышатся шаги где-то поблизости — голые ступни шлепают по деревянным половицам. Он выбрасывает их из головы и старается заснуть. Утром, успокаивает он себя, мы с Мейбл будем уже в карете. Мы уедем. Лондон станет для нас новым началом.





Тишину нарушает внезапный чмокающий звук. Учащенное дыхание. Скрип.

Виктор садится в постели. Зубы стучат. Он вспоминает рыжеволосого мальчишку в день их приезда и с каким мрачным выражением лица он рассказывал им о привидениях.

Дышит маленькая тюленичка. Шлепают ласты.

А вот и «амх», «амх», «амх» — подвывания, о них мальчишка тоже предупреждал. Виктор переводит взгляд на картину над комодом, он готов поклясться, что глаза селки поблескивают в темноте живым блеском, что шкура плавно сползает с ее шеи.

Он с трудом встает на ноги. Кажется, звук доносится из кельи Мейбл. Долгополая ночная сорочка путается у него в ногах. Камин в его комнате еще не погас, он хватается кочергу, крадется к двери Мейбл. Дверные петли смазаны и не издают ни звука, когда он осторожно приоткрывает дверь.

В узком просвете двери он сначала не понимает, что перед ним. Огонек свечи вспыхивает ярче. Рот у его жены разинут и влажно поблескивает, глаза зажмурены. Из рта вырывается короткий стон. И вдруг он видит это — какое-то существо двигается в области ее талии. Ее ноги раскинуты. Она жадно разевает рот, ее пальцы судорожно вцепились в темный мех на его спине. Так это же хозяин гостиницы, вдруг понимает Виктор, голова его прижата к ее *штучке*, и он причмокивает. Обрывки видений вспыхивают в его сознании: распутницы, забавляющиеся на его непристойных лубочных картинках, извивающееся от страсти шелковистое тело Бабетты...





Он вспоминает день, когда впервые решился взять Мейбл за руку — маленькую и бледную, не больше, чем у ребенка! — и как она ахнула, должно быть потрясенная такой близостью между ними.

Нет, это не может быть его жена, уговаривает себя Виктор, но узнает ямочку на подбородке, мягкие очертания рта, морщинки в уголках губ. Нет, он прекрасно отдает себе отчет в том, что видит, как и в том, что видел днем на пляже: его жену в море, смеющуюся с этим — этим *существом*. Другой на его месте уже ворвался бы в комнату, вцепился хозяину в глотку, вышвырнул на улицу жену-распутницу. Но Виктор не испытывает ярости, он раздавлен, он потерян, он в замешательстве. Горло сжимается от внезапного желания разрыдаться. Руки покорно висят вдоль тела. Он отступает назад, ноги заплетаются, он чуть не падает. Бредет к столу и воровато открывает альбом Мейбл. Как она гордилась, когда в первый раз показывала ему свое сокровище! Этих комнатных собачонок и томных спаниелей, которых она так любила вырезать! Он дюжинами посылал ей открытки со всякими терьерами и волкодавами, зная, как она обрадуется, как будет дрожать над ними.

Он зажигает свечу, переворачивает толстые страницы альбома. С последних страниц на него взирают какие-то диковинные гибриды, существа, чьи тела составлены из разрезанных картинок с животными. *Монстры*. Он мигает раз, другой, подозревая, что зрение играет с ним шутки. Но нет, вот лапа котенка, куриный клюв, хвост собаки, перепончатые утиные лапы. Из всего этого слеплено некое существо, диковинное, омерзительное. Он захлопывает крышку альбома, тяжело дышит. Как это возможно, чтобы





она настолько отличалась от той Мейбл, какой, как он верил, она была, как могла быть настолько помешанной? Или этот жалкий отсыревший городишко пролез ей под кожу, заразил своей отравой?

Звуки в спальне жены становятся громче, безошибочно указывая на совокупление двух тел. И дела им нет, что их могут услышать! Ее «ах», «ах» звучит все громче — он и не думал, что ее хрупкое горло способно издавать такие звуки. Виктор хватается картину, швыряет через всю комнату, тупо наблюдает, как разлетается оконное стекло и кровоточат его ноги там, куда впились осколки. Очнувшись от оцепенения, он пятится, потом бежит. Скорее вниз, по ступенькам, через холл, только бы не задеть свисающих с потолка ржавых лезвий. Его голые пятки уже шлепают по булыжникам улицы. Он вдруг разом успокаивается. Ночная сорочка цепляется за его ноги. В этот глухой час на улицах ни души. Месяц на небе заостряет серебристые рожки. Мысли проносятся в его *полубезумном* мозгу, и все же одна кажется ему правильной, *единственно* верной. Да, так он и поступит.

Церковь маленькая, кладбище при ней размерами не больше сада. Он представляет себе великие Вальхаллы, которые его брат усадит своими деревьями в Хайгейте, Абни-Парке, Бромптоне — их Египетские аллеи*, их склепы, гробницы, вырубленные в склонах холмов, их широкие дорожки с разворотными площадками для экипажей.

* Египетская аллея есть на Хайгейтском кладбище. Это одно из семи новых загородных кладбищ (Великолепная семерка, Абни-Парк), в том числе устроенных в конце 1830-х годов, когда стало ясно, что маленькие прицерковные кладбища не в состоянии вмещать всех почивших.



А земля-то на могиле совсем свежая, замечает он, громоздится большой кучей. И надгробного камня еще не поставили. Он падает на колени и роет, роет, роет, как собака лапами, ошметки земли летят в стороны. Роет, одержимый инстинктом, беззаветной верой, что так ему и должно поступить, так надо, так *правильно*. Его руки все в царапинах и ранах, ноготь на одном пальце почти содран. Минуты текут, могильные камни обступают его как ряды гнилых зубов. И лишь звук отбрасываемой земли.

Наконец его руки скребутся по этому. Никакого деревянного ящика. Пропитанный грязью холстяной саван. Он трогает мягкие ноги мальчика, но чувствует под пальцами твердый плавник. Его воспаленное сознание принимает тоненькую детскую ключицу за гладкую ключичную кость его громадины-завра. Его обманули, его громадину подменили. Виктор стонет, в панике раздергивает саван, шарит по мертвому телу. В трюме судна, что уже огибает южные берега страны, покоится не его чудесная громадина, а тело мальчишки. Судно с великой помпой и фанфарами прибудет в Лондон, дощатый ящик вскроют, но найдут внутри никакого не плезиозавра неизвестного науке вида, а труп рыжеволосого мальчишки. Над ним будет потешаться весь Лондон! Королевское общество поднимет его на смех. В «Панче» поместят злые карикатуры на него, его жизнь обернется жалким фарсом...

Горькие слезы туманят ему глаза. Его жена превратилась в дьяволицу. Его великое открытие пошло прахом. Единственное, что не изменилось, так это его мелкая никчемная жизнь. Он выхватывает из могилы свою громадину, сжимает в объятиях. Целует голову мальчика (ему кажется, это





продолговатый крокодилообразный череп громадины), его пальцы (ее маленькие грудные плавнички). Ах, какая она маленькая в его руках, как пропиталась, бедняжка, сыростью, измазалась в земле; правда, он не может взять в толк, отчего окаменелый остов так податливо мягок, почему тяжеленная громадина кажется ему такой невесомой. Иных возможностей его больной разум не приемлет. С телом мальчика на руках он бежит к утесам, бежит на звук призыва. Колючки ежевики распарывают ему ступни. Крапива обжигает ноги. А он продирается сквозь заросли, подгоняемый желанием во что бы то ни стало достичь моря, уверенный, что только море способно отменить жуткую явь последних дней.

Я говорю: и почему это мужчины не могут оставить все как есть?

Тюлени, они обращаются в женщин. А женщины обращаются в тюленей.

Никого и никогда он не любил так, как любит Мейбл. Всю его жизнь любую привязанность, стоило ей только зародиться в его душе, безжалостно обрубали, едва она давала всходы. Отец шлепал его, когда в свои четыре года он пытался обнять его. Мать отворачивалась от него, сурово поджав рот. Что до родного брата, то единственный способ общаться с ним, которому он выучился, — насмешки и презрение. Милый, помешанный на цветочках Маргаритка.

На вершине утеса свирепствует ветер, кусает ему щеки, хлещет по голым ногам. Под ним разверстая пасть морской пучины, волны-языки шелестят взад-вперед, лижут прибрежные камни. Виктор бросается вперед, ноги скользят



и съезжают на мокрой земле, пальцы стискивают мягкие рыжие вихры трупа, ледяные посиневшие губы. Камень шатается под его ногой, и он летит вперед, раскинув руки. Ноги неистово молотят воздух. В последние мгновения до того, как его тело разбивается о каменистый берег, пока он и мертвый мальчишка еще летят в воздухе, Виктор испытывает одно лишь пьянящее возбуждение, уверенный, что именно так все и должно закончиться.



СОДЕРЖАНИЕ

Бриджет Коллинз

ЭТЮД В ЧЕРНО-БЕЛЫХ ТОНАХ 5

Имоджен Гермес Гауэр

ОБИТАТЕЛИ ДОМА ТВЕЙТОВ 35

Наташа Полли

ПОЮЩИЕ БОЛОТА 81

Джесс Кидд

ЛИЛИ УИЛТ 127

Лора Перселл

КРЕСЛО ЧИЛЛИНГЕМА 167

Эндрю Майкл Хёрли

НА СОЛЕВАРНОЙ ФЕРМЕ 203

Киран Милвуд Харгрейв

В КАРМИННОЙ КОМНАТЕ 247

Элизабет Макнил

ЗАВР КРИСПА 289

МИО∞ Проза

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА**

**НОВЫЕ ИМЕНА МИРОВОГО
МАСШТАБА**

ПРОБЛЕМАТИКА XXI ВЕКА

РОМАНЫ ВЗРОСЛЕНИЯ

КНИЖНЫЙ КЛУБ

#mifproza

Подписывайтесь
на полезные книжные письма
со скидками и подарками:
mif.to/proza-letter

Вся проза
на одной странице:
mif.to/proza



mifbooks

STONE HEDGE



*Литературно-художественное издание
Истории долгой зимы*

Однажды темной зимней ночью...

Руководитель редакционной группы *Анна Неплюева*
Ответственный редактор *Светлана Давыдова*
Литературный редактор *Елена Гурьева*
Арт-директор *Вера Голосова*
Иллюстрации обложки *Selcha Uni*
Иллюстрации блока *Анна Коваленко*
Верстка *Владимир Снеговский*
Корректоры *Елена Гурьева, Татьяна Чернова*

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
123104, Россия, г. Москва, Б. Козихинский пер.,
д. 7, стр. 2

mann-ivanov-ferber.ru
vk.com/mifbooks



STONE HEDGE



**ВОСЕМЬ МИСТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
ЧАРЛЗА ДИККЕНСА И ГЕНРИ ДЖЕЙМСА**

Долгие холодные ночи — идеальное время,
чтобы укутаться в плед, заварить ароматный чай
и погрузиться в хорошую книгу.

Здесь старинные поместья хранят свои страшные
секреты, привычные предметы оживают сами собой,
а за каждым углом поджидают призраки и ходячие
мертвецы. Но где в этой атмосфере потусторонних
тайн заканчивается сон и начинается явь?

*«Суровая зимняя погода и туманная
Викторианская эпоха связывают эти восемь
рассказов. Мрачные и зловещие, эти истории
понравятся как читателям исторической
фантастики, так и любителям ужасов».*

Publishers Weekly

#ОднаждыТемнойЗимнейНочью

Иллюстрация на обложке — Selcha Uni



МИО

mann-ivanov-ferber.ru



@mifbooks

STONE HEDGE